МИР МОЙ НЕУЮТНЫЙ

Воспоминания о Юрии Кузнецове

МИР МОЙ НЕУЮТНЫЙ

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

Выдающийся русский поэт Юрий Поликарпович Кузнецов был большим другом газеты «Литературная Россия». В память о нём редакция «ЛР» выпускает эту книгу.

- МИР МОЙ НЕУЮТНЫЙ
  - Вячеслав Огрызко. Мир мой неуютный
  - Мария Аввакумова. Последнее тепло
  - Кирилл Анкудинов. Неправильные воспоминания
  - Магомед Ахмедов. Моя поэзия — вопрос грешника
  - Владислав Бахревский. Юрий Кузнецов и наша культура
  - Николай Дмитриев. Ничего мы не знаем о смерти
  - Елена Ермилова. Придите на цветы взглянуть
  - Мамед Исмаил. И верный путь во мгле
  - Юрий Кабанков. Я в поколенье друга не нашёл
  - Диана Кан. Полёт над пропастью
  - Константин Кедров. Чаша Юрия Кузнецова
  - Вячеслав Киктенко. Китоврас
  - Владимир Личутин. Между небом и землёю
  - Ал. Михайлов. Перед бездной
  - Валерий Михайлов. Ты шла за мной по склону бытия…
  - Валерий Михайлов. Крестный путь Юрия Кузнецова
  - Геннадий Морозов. Среди смутной, рассеянной думы
  - Сергей Небольсин. Юрий Кузнецов — мыслитель
  - Священник Владимир Нежданов. Последние встречи
  - Георгий Свиридов. Я тоже за связь слова со звуком!
  - Багаудин Узунаев (Казиев). Портрет на фоне Дагестана
  - Евгений Чеканов. Мы жили во тьме при мерцающих звёздах
  - Михаил Шаповалов. И поле широко, и небо высоко
  - Приложение
    - Юрий Кузнецов. Письмо в Тихорецк
    - Краткая библиография

МИР МОЙ НЕУЮТНЫЙ

Воспоминания о Юрии КУЗНЕЦОВЕ

МОСКВА
ЛИТЕРАТУРНАЯ РОССИЯ
2007

МИР МОЙ НЕУЮТНЫЙ
Воспоминания о Юрии Кузнецове

Вячеслав Огрызко. Мир мой неуютный

Юрий Кузнецов — один из самых дерзких поэтов двадцатого века. Он очень часто шокировал публику. Даже серьёзные литературоведы не понимали: как это — «я пью из черепа отца». Может, потому, что время приучило народ практически каждое слово воспринимать буквально, мыслить на бытовом уровне. Кузнецову не могли простить и другие строки: «Звать меня Кузнецов. Я один, остальные — обман и подделка» (в ту пору издательства завалили книжные магазины сборниками Вячеслава Кузнецова, Вадима Кузнецова и других стихотворцев, занимавших влиятельные должности, но которых читать было ну просто невозможно). Многие коллеги считали поэта провинциальной выскочкой, который решил самоутвердиться в столице за счёт развенчания народных кумиров. Кузнецов покусился не только на Ахматову с Цветаевой, он посмел раскритиковать великого Тютчева и посягнуть даже на самого Пушкина. А разве такое кому-нибудь прощается.

Юрий Поликарпович Кузнецов родился 11 февраля 1941 года в кубанской станице Ленинградская. Его отец был офицером-пограничником. Спустя три года после рождения сына он погиб на фронте. Мать много лет преподавала в школе.

Первое стихотворение Кузнецов написал в двенадцать лет. В нём он рассказывал о своём родном городе Тихорецке. Второе стихотворение Кузнецов сочинил годом позже. Оно было о погибшем отце, о доме. Другими словами, в детстве Кузнецов писал о самом главном.

Впервые Кузнецов опубликовался 6 августа 1957 года в «Пионерской правде».

После школы начинающий стихотворец поступил в Кубанский университет. Однако что-то у него с учёбой не заладилось, и спустя год он загремел в армию. Служить Кузнецов попал на Кубу, где захватил Карибский кризис.

Первый сборник «Гроза» поэт выпустил в Краснодаре в 1966 году. Позже Кузнецов относился к этой книге весьма снисходительно. Он считал, что по-настоящему научился выражать свой мир уже в Москве.

Я не исключаю, что переломными для поэта оказались стихи «Атомная сказка». Эти стихи были замечены в 1969 году на одном из пленумов Союза писателей России. Кузнецов вспоминал: «Меня тогда почти никто не знал. А философский смысл стихотворения

оказался недоступен для кой-кого из партийных бонз. „Ну и что? — возразили они критику. — И Базаров резал лягушек. Это стишки для школьного капустника“. Но ведь Базаров тонет в моём стихотворении, как в народном сознании Ивана Дурака тонет весь учёный мир с его унылым прагматизмом, да и со всей цивилизацией» («Литературная Россия», 1995, 1 сентября). Мне кажется, что именно в ту пору у Кузнецова сформировалось мифологическое мышление.

Окончив в 1970 году Литинститут (семинар Сергея Наровчатова), Кузнецов оказался перед выбором: возвращаться на малую родину или продолжить покорение столичного Олимпа. Как потом он вспоминал, Наровчатов буквально вырвал его из бездны. Он сказал: «Без Москвы вы погибнете. В Краснодаре вас съедят».

Уже в ту пору Кузнецов невзлюбил разговоры о поколениях. Позже, в 1987 году, давая мне интервью, он сказал: «С социальной точки зрения моё поколение, родившееся перед самой Великой Отечественной войной, — совершенно задавленное. Нас передержали, почти лишили инициативы. Совсем другое военное поколение. Так получилось, что оно постепенно и совершенно незаметно даже для самого себя приписало себе вечную славу своих сверстников, погибших на войне. Но по свидетельству фронтовиков, на войне погибли в основном лучшие. Поэтому, допустим, у меня критическое отношение к этому поколению, поколению моего отца. Я, так сказать, предъявил счёт прежде всего отцу. В шестьдесят девятом году я написал стихи о своём сиротстве, которые заканчивались так:

> — Отец! — кричу. — Ты не принёс нам счастья.
> Мать в ужасе мне закрывает рот.

Были потом и другие стихи, обращённые к военному поколению. Но мне тут же говорили, что я, мол, пляшу на костях отца и совершаю кощунство. Но — помилуйте — какое же это кощунство, когда молодой человек хочет правды и прямо говорит об этом. Марк Соболь после одного моего замечания в адрес военного поколения так вознегодовал, что усомнился, являюсь ли я солдатским сыном. Это уж чересчур.» («Книжное обозрение», 1987, 2 октября).

Сразу после выхода в 1974 году первой московской книги Кузнецова «Во мне и рядом — даль» критика заговорила о рождении крупного поэта. Давид Самойлов, отмечая кузнецовскую подборку в июльском за 1975 год номере «Нового мира», писал: «Большое событие. Наконец-то пришёл поэт. Если

мерзавцы его не прикупят и сам не станет мерзавцем, через десять лет будет украшением нашей поэзии. Талант, сила, высокие интересы. Но что-то и тёмное, мрачное» (цитирую по второму тому «Подённых записей» Самойлова, М., 2002).

Справедливости ради замечу: позже Самойлов своё мнение отчасти изменил. Уже 27 апреля 1976 года он, рассуждая о Солженицыне, мимоходом задел и Кузнецова. Процитирую полностью его запись: «Солженицын неминуемо должен породить новый тип писателя: властитель хамских дум, божьей милостью хам. Поэт Ю. Кузнецов — первая ласточка. Хамы милостью божьей». Ясно, что это — не похвала. Тут скорее больше осуждения при признании наличия огромного таланта. Затем в январе 1982 года Самойлов после просмотра телепередачи о каком-то поэтическом вечере позволил себе поязвить. Он написал: «У Ю. Кузнецова лицо гения, изваянного из картошки». Но это не мешало ему продолжать следить за творчеством поэта. Спустя ровно год он, чуть ли не целый вечер просидев в баре Лужников вместе с Кузнецовым и Игорем Шкляревским, несмотря на осуждение своего давнего приятеля Юрия Левитанского, сделал в своих записях такую пометку, касающуюся Кузнецова: «А мне было интересно — что это за современный гений. Он не кажется умным, но какой-то напор уверенности есть. Кажется, большего, чем он написал, не напишет». Но тут-то Самойлов ошибся. Кузнецов много ещё что написал.

Юрий Кушак, разбирая как-то первые сборники Кузнецова, задался вопросом: «Что возобладает: явно бесценное для поэта и далеко не чуждое ему народно-нравственное начало или столь же явная печать индивидуализма, нравственного вивисекторства, ячности?» («Вопросы литературы», 1988, № 6). Время показало, что для Кузнецова оказались органичными оба эти качества.

В 1970-е годы скандал вызвали строки поэта:

> Звать меня Кузнецов. Я один,
> Остальные — обман и подделка.

Станислав Рассадин, например, увидел в них воинствующее самоутверждение автора, граничащее с гениоманией. И мало кто из профессионалов понял, что имеет дело с эпиграммой. Кстати, Борис Пастернак в своё время написал: «Я слежу за разворотом действий / И играю в них во всех пяти. / Я один. Повсюду фарисейство. / Жизнь прожить, не поле перейти». Но по поводу строк Пастернака никто же скандала не устраивал.

Начиная с середины 1970-х годов творчество Кузнецова постоянно вызывало шквал споров. Кто только не нападал на

поэта. Его ругали Сергей Чупринин, Станислав Рассадин, Константин Ваншенкин, Станислав Лесневский, Андрей Турков, всех критиканов сейчас и не вспомнить. Так, Татьяна Глушкова в своей книге «Традиция — совесть поэзии» (М., 1987) не могла простить поэту его фольклорное мышление. Она утверждала, будто «славянско-языческие аксессуары в стихах Ю. Кузнецова всё больше похожи на вырезной орнамент… Подобный орнамент, прилепленный к чужому телу… пестреет на постройках начала века, архитектурного стиля „модерн“». Правда, эту точку зрения тут же опровергла Лариса Васильева. В её интерпретации Кузнецов — поэт душевной боли, языческого мироощущения, который интуитивно привносит во все свои стихи дохристианский мир. «Потому так естественны в его простонародной речи, полной современных алогизмов, — писала в том же 1987 году Васильева, — явления и герои не только русских, но и античных мифов, потому народные хоры в стихах предрекают его судьбу, подобно хорам греческих трагедий:

За приход ты заплатишь судьбою,
За уход ты заплатишь душой…»

(«Литературная Россия», 1987, 23 января).

Однако самым яростным защитником Кузнецова в эпоху глухого застоя стал Вадим Кожинов. Критик полагал: «Споры о поэзии Юрия Кузнецова обусловлены, в частности, тем, что она непроста для восприятия. И не столько из-за особой сложности её художественного „языка“, но в силу того, что поэт ставит перед собой исключительно масштабные цели. Он стремится видеть и воплощать мир во всей беспредельности его пространства и времени». Кожинов, безусловно, много сделал для того, чтобы поэзия Кузнецова стала известна всей читающей России.

Хотя Валентин Сорокин был убеждён, что кожиновская «проницательная практичность, прозаическая пристальность его очков неприятно процедила и оклассичила многие стихи Юрия Кузнецова: сковала и вроде приостановила крылатость и высоту поэта, приземлила его слово и страсти отравила бесцветьем» («Московский литератор», 2003, № 1).

К слову. Сам Кузнецов долго считал: если кто из критиков и смог проникнуть в глубины его творчества, то разве что Владимир Фёдоров, много лет преподававший в Донецком университете. Кожинов, который писал о нём больше, чем кто-либо, как полагал поэт, не столько анализировал его поэтику, сколько занимался борьбой, видя свою первоочередную задачу в

том, чтобы отстоять талант поэта от всевозможных недоброжелателей.

Фёдоров писал:

> **«Всё творчество Ю. Кузнецова убеждает меня в том, что поэзия возвращает человека в его изначальное состояние. Человек, ограниченный условиями времени и пространства („условный" человек), — это только „часть" (лучше по-гречески — ипостась) человека; весь человек, целое человека и есть целое мира, со всеми его временами и пространствами. Но человек живёт реально в своём времени и своём пространстве, которые соотносятся с целым не так, как квартира с целым домом. В гости к древним грекам не зайдёшь. Иносказательность слова и является уловимым свидетельством „иносказательности" (метафоричности) самого бытия человека. Наше физическое бытиё и сопряжённые с ним другие формы „сознательной", душевной и сердечной жизни проходят в одном бытийном плане, здесь мы устанавливаем „центр тяжести" нашей личной жизни, придающей ей устойчивость <…> Поэзия Ю. Кузнецова — воплощение того свойства русского человека, которое Ф. Достоевский назвал „всемирной отзывчивостью". Утверждённость корня бытия в целом делает неустойчивым этот корень в частных временах, и это оказывается причиной несколько беззаботного отношения к ближайшему жизненному контексту (его „фатальной" неустроенности на Руси), на что с торжеством нам и указывают (а многие даже и помогают цивилизовать) наши доброжелатели»**
>
> *(цитирую по сборнику «Слово исповеди и надежды: Письма русским писателям», М., 1990).*

Но здесь пора поговорить о генезисе кузнецовской поэзии. Владимир Бондаренко в очерке «Последний олимпиец», написанном к 60-летию поэта, практически всё свёл к биографии своего героя. Он решил: «Не было бы войны — не было бы такого Кузнецова. Не было бы гибели отца, трагедии безотцовщины — не было бы и удивительных строк, открывших России и миру такого

Кузнецова. Как быстро это стало классикой:

Шёл отец, шёл отец невредим
Через минное поле.
Превратился в клубящийся дым —
Ни могилы, ни боли.

… … … … … … … … … … … … … … …

Столб крутящейся пыли бредёт,
Одинокий и страшный.

(„Возвращение“, 1972)

С тех пор с ним всегда в поэзии — образ дыма, образ пыли — образ отца, образ смерти, образ внезапной пустоты. „Отец! — кричу. — Ты не принёс нам счастья!.. / Мать в ужасе мне закрывает рот“. Получается, что гибель отца дала нам такого поэта. Изначальная точка отсчёта поэзии Кузнецова в его личной трагедии».

Я не спорю с Бондаренко. Понятно, что биография всегда во многом определяет судьбу любого настоящего поэта. Это — аксиома. Но почерк, но стиль формирует не только одна биография. И даже не столько биография. Здесь очень существенны другие моменты, которые Бондаренко не уловил. В отличие от, скажем, Татьяны Глушковой. При всём своём неприятии Кузнецова она верно почувствовала: «Ближайшие опоры мировоззрения Ю. Кузнецова во многом прослеживаются в новом искусстве, разветвлявшемся в 10 — 20-х годах [двадцатого столетия. — *В. О.*] на множество более или менее „левых“ ручейков, а особенно опознаваемы — в стихотворной советской романтике 30-х годов…».

В целом разделяя эту мысль Глушковой, уже в 2005 году критик из Майкопа Кирилл Анкудинов пришёл к следующему выводу: творчество Кузнецова восходит к направлению, которое в 1920 — 30-е годы было жёстко оборвано в русской литературе, но чрезвычайно широко в двадцатом веке развилось в литературах западноевропейских. Анкудинов назвал это направление мифо-модернизмом. Как утверждает критик: «Модернистское искусство строится на преодолении норм и установок обыденной реальности. В этом Миф — союзник модернизма, ведь он тоже стремится отменить нормы обыденной реальности (для того чтобы восстановить в своём праве законы прареальности). Рано или поздно модернисты наталкиваются на силовое поле

национального Мифа и подключаются к его энергиям. Так формируется „модернистское почвенничество“» («Новый мир», 2005, № 2).

Анкудинов в подтверждение своих идей не раз ссылается на взгляды поэта. На бытовом уровне сложилось мнение, будто Кузнецов был отъявленным славянофилом и чуть ли не реакционером. Но это не совсем верные оценки. Анкудинов пишет: «Славянофильство» Юрия Кузнецова носит странный характер.

И снился мне кондовый сон России,
Что мы живём на острове одни.
Души иной не занесут стихии,
Однообразно пролетают дни.

Качнёт потомок буйной головою,
Подымет очи — дерево растёт!
Чтоб не мешало, выдернет с горою,
За море кинет — и опять уснёт.

(«И снился мне кондовый сон России…»)

«„Сон России“ — это выражение коллективного бессознательного России. Коллективное бессознательное по своей сущности — мифологично (архетипично). Мифологическая реальность желает окончательно избыть все проявления иных реальностей, желает свести бытие России к бесконечному исполнению заданной Мифом программы. Удивительно то, что подобное будущее Россия втайне от себя готовит потомкам (речь идёт не о предках, как кажется вначале, а именно о потомках; Россия грезит не о прошлом, а о будущем). Прогресс, культура, стремление занять своё место в „сообществе цивилизованных государств“ — всё это перед ликом Мифа отпадает, как ненужная позолота. Миф — непрерывно и в любых условиях размножает себя. На протравленных кислотой пальцах вновь и вновь проступают прежние линии» («Новый мир», 2005, № 2).

Под этим углом совершенно по-другому воспринимается и скандальное стихотворение Кузнецова «Я пью из черепа отца». Когда Кузнецов впервые его напечатал, Рассадин предложил поэту первую строку заменить другой. Но тогда бы получилось, что герой пьёт из… пьяного горца… за правду на земле. А разве это возможно. Кузнецов искал что-то высокое. Его герой пил символически. А Рассадин всё понял буквально, чем и ошарашил народ. Кузнецов же, когда писал это стихотворение, думал совсем

о другом — о памяти, о чести.

Я пил из черепа отца
За правду на земле,
За сказку русского лица
И верный путь во мгле.
Вставали солнце и луна
И чокались со мной.
И повторял я имена,
Забытые землёй.

Кстати, не случайно Кузнецов всегда огромное значение придавал названиям своих книг. Эти названия похожи на своего рода поэтические манифесты, связанные прежде всего с ощущением пространства. Вспомним: «Во мне и рядом — даль», «Край света за первым углом», «Выходя на дорогу, душа оглянулась», «Отпущу свою душу на волю». Как считал поэт, категория пространства — обязательная черта русского характера.

Теперь на какое-то время от поэзии Кузнецова отвлечёмся и поговорим об отношении поэта к классике и к современным литературным кумирам. Кажется, ещё в конце 1970-х годов Кузнецов впервые огорошил писательский мир своей критикой самого Пушкина. А чуть позже он неодобрительно высказался о некоторых стихах Тютчева. Записные литературоведы тут же ударили во все колокола: мол, какой-то Кузнецов покусился на самое святое — на русскую классику. Но защитники отечественной литературы не потрудились при этом вникнуть в доводы поэта. А ведь у него были очень даже разумные замечания. Я не буду пересказывать все статьи Кузнецова, процитирую только строки от 4 июня 1985 года из письма поэту Виктору Лапшину. «Тютчев косноязычен, — утверждал Кузнецов. — Свидетельство тому стихи: „Силенциум“, где он нарушает ритм. Пигарев, который вёл семинар по Тютчеву во время моего пребывания в Литинституте, находил, что такое нарушение ритма — загадочное своеобразие поэта. Какое к чёрту своеобразие! Косноязычие. Нарушение русского мышления есть в стихотворении „Нет моего к тебе пристрастья“. Вторая строфа, где глаголы даны в неопределённом времени. Так может нарушать грамматику только чужестранец. Таких нарушений много у Пастернака: „Февраль. Достать чернил и плакать“. Стихотворение „День и ночь“ — сырое, не прописанное, спустя одиннадцать лет Тютчев переписал его — стих. „Святая ночь на небосклон взошла“. Самовластье духов? Это ты загнул, как и

Тютчев, но в другую сторону! Окстись». («Наш современник», 2006, № 2).

Позже от Кузнецова досталось уже Константину Симонову, Анне Ахматовой и Марине Цветаевой. Как-то я спросил поэта: надо ли ниспровергать безусловных кумиров. И вот что он ответил:

«Вы говорите — безусловные кумиры. Но, на мой взгляд, имена, которые вы назвали, относятся как раз к условным кумирам, особенно Симонов. Я считаю Симонова автором просто двух знаменитых стихотворений „Жди меня" и „Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…" В своё время они оказали на читателей большое влияние. Ничего другого значимого в поэзии он не сделал. Поэмы его уже канули в Лету. А что касается Ахматовой и Цветаевой, то это, конечно, поэтессы. Другое дело, критика сильно преувеличила их значение. Поэтому я позволил себе высказать о их творчестве ряд довольно резких критических замечаний. Но если бы Ахматову и Цветаеву недооценивали, я бы тотчас выступил в их защиту. Я ценю их поэзию за женственность. Обе поэтессы выразили по-своему какие-то уголки женской души, то, что никогда недоступные другому человеку. Это как раз и обогащает мой мир, мир читателя. Но мне не нравится в Ахматовой её гигантомания. Вот много говорят о её поэме „Реквием". Однако почему-то никто не заметил, что Ахматова этой поэмой ставит памятник себе. Есть в „Реквиеме" эпизоды, которые надо было писать только в третьем лице, о матери, но никак не о себе. А так получилась самовлюблённость. Это начисто убило „Реквием", превратило поэму в монумент автору. Всё это, полагаю, оттого, что Ахматова по женской слабости слишком поверила своим обожателям. И посчитала себя великой поэтессой. Такая самоуверенность до сих пор гипнотически действует на поклонников её таланта. Я вообще настроен довольно-таки категорично по отношению к женской поэзии. Считаю, что женщины не могут в искусстве

создать ни одного великого произведения. По крайней мере, за всю историю человечества им это не удалось».

Этот ответ Кузнецова я опубликовал в 1987 году в еженедельнике «Книжное обозрение». Что после этого началось?! Станислав Рассадин приобщил Кузнецова в газете «Неделя» (1987, № 47) к имитаторам. Известный философ М. Каган назвал поэта современным Геростратом («Книжное обозрение», 1987, 13 ноября). К последователям Жданова, посчитавшего Ахматову «не то монахиней, не то блудницей», причислил Кузнецова ленинградский знаток балета Поэль Карп («Книжное обозрение», 1988, 26 февраля). Своё негодование высказали также Андрей Турков («Юность», 1987, № 12), Константин Ваншенкин («Советская культура», 1987, 22 декабря) и Станислав Лесневский («Книжное обозрение»). Заклеймили позором Кузнецова (а заодно и меня, как его интервьюера) и редакции изданий «Ветеран», «Литературное обозрение» и «Журналист». Но прошло время, и всё стало на свои места. Многие убедились, что Кузнецов не так уж далёк был от истины. Просто в 1987 году наше общества к откровенным разговорам, в том числе о литературе, ещё не привыкло.

Но от теории вернусь к творчеству. В 1990-е годы стихи и поэмы Кузнецова дали основание некоторым критикам, и прежде всего Льву Аннинскому, утверждать, что фундаментальный сюжет поэта — гибель мира. Ведь не случайно же он в это время воскликнул:

Искусства нет — одни новации.
Обезголосел быт отцов.
Молчите, Тряпкин и Рубцов,
поэты русской резервации.

На рубеже 1990–2000 годов много споров вызвала трилогия Кузнецова о Христе (поэмы «Детство Христа», «Юность Христа» и «Путь Христа»). В литературных кругах ходили разговоры, будто церковь новые вещи поэта не приняла. Сам Кузнецов в беседе с адыгским романистом Исхаком Машбашем сказал:

«Это искажённые слухи. Не все иерархи читали. Да, читал и возмущался настоятель одного храма — бывший актёр. Увы, не все священники знакомы со святоотеческой литературой, и, к сожалению, они совершенно не понимают природу поэзии. Разумеется,

религия может прожить без поэзии. У служителей культа можно заметить сухость религиозную. Но если взять псалмы или пророка Исаию. Это высокая поэзия. А они не чувствуют поэзию, видимо, читают псалмы как прозу. Не дано. Это одно. Во-вторых, некоторые критики моей поэмы выступают как иконоборцы. Эта ересь была отвергнута в средние века христианства (Константинополь, Византия) — нельзя изображать Христа. Против икон, против поклонения доске. В послании иконописцу нашего святого Иосифа Волоцкого говорится, что человек поклоняется не доске и не краскам, а образу, изображённому красками. А образ этот запечатлён рукой богомаза, рукой которого руководил Бог, то есть талант. Талант ведь от Бога. Ну, разумеется, Бог неизобразим. Бога нельзя увидеть, мы видим его земное изображение, Христа. Мы поклоняемся этому изображению, а через это изображение — Богу. Есть, кстати, народное выражение: икона — это окно в тот мир. Тут уместна аналогия с литературой, в частности, с поэзией. „Твой Христос, — как мне сказал Крупин, — это литературный образ“. Правильно. Но Крупин осуждает: как так! Выходить из рамок Евангелия! Это страшно для него. Нельзя прикасаться. Если рукой поэта ведёт, так сказать, Бог, то есть талант, насколько это изображение впечатляет, сквозь это изображение в слове к Богу, чувства к Богу. То есть восхищение не моей виртуозностью, не моим мастерством, а к Богу, какая икона, Дионисия или Рублёва, как она действует. Вот о чём надо говорить. И о чём говорил Иосиф Волоцкий. А эти служители культа, на мой взгляд, совершенно необразованные люди. А какие претензии! К примеру, претензии агрессивных невежд (Переяслов, Кокшенёва): моя поэма, де, — это ересь. Им ли это говорить?! Они сами иудействующие, потому что впадают, сами того не ведая, в ересь иконоборствующих, которая с ходу ведёт в иудаизм с его запретом изображения. Это они еретики, а не я. Вот о чём нужно говорить. О культе. Но у критиков моей поэмы нет культуры».

(«Литературная Россия», 2003, № 14).

Ну, насчёт культурного уровня своих критиков, то, я думаю, Кузнецов погорячился. Нельзя же Капитолину Кокшенёву или Владимира Крупина считать людьми, полностью лишёнными художественного чутья. К тому же поэмы Кузнецова о Христе не

приняли не только они. Свои возражения нашлись и у очень интересно мыслящего учёного Кирилла Анкудинова, который до сих пор не давал повода упрекнуть его в клерикализме или ортодоксальности. Как ему кажется, «Кузнецов не смог удержаться от дописывания евангельских первоисточников. В трилогии можно обнаружить множество несоответствий по отношению к текстам Евангелий. Иногда эти несоответствия — бессмысленны, а иногда — откровенно кощунственны. Подробный анализ несоответствий почти во всех случаях позволяет сделать вывод о том, что логика Евангелий вытеснена логикой Мифа. В связи с этим неясен статус поэм Кузнецова о Христе. Непонятно, что они представляют собой — светские художественные произведения, внутрицерковные тексты или оккультно-эзотерические откровения. К сожалению, здесь Миф сослужил Юрию Кузнецову плохую службу» («Новый мир», 2005, № 2).

> Здесь мне кажется чрезвычайно важно вспомнить одно признание поэта, которое он сделал перед самой смертью: «Образ распятого Бога впервые мелькнул в моём стихотворении 1967 года — „Всё сошлось в этой жизни и стихло“. Мелькнул и остался как второй план. Это была первая христианская ласточка. С годами налетела целая стая: „На краю“, „Ладони“, „Новое небо“, „Последнее искушение“, „Крестный путь“, „Призыв“, „Красный сад“, „Невидимая точка“ и другие. После них я написал большую эпическую поэму „Путь Христа“. Это моя словесная икона. Последовавшая за ней поэма „Сошествие в Ад“ — моё самое сложное произведение. Поэма требует от читателя больших знаний и культуры. При всей своей стихийности она строго организована, и в ней чётко прослежены образные и смысловые линии».
>
> *(«Литературная газета», 2004, № 1).*

Что ещё? Кузнецов много занимался переводами. В 1988 году он перевёл, к примеру, «Орлеанскую деву» Ф. Шиллера, а в 1990 году выпустил книгу своих избранных переводов «Пересаженные цветы».

Отдельная тема: Кузнецов в быту. Я знал последние шестнадцать лет его жизни. Говорили, будто он всегда был очень угрюм. Это не совсем так. Угрюмость — это внешняя черта, скорее даже маска, за которой скрывался очень добрый и по-своему очень незащищённый человек.

Я помню, как после публикации осенью 1987 года в

«Книжном обозрении» подготовленного мною интервью с поэтом в некоторых газетах развернулась ожесточённая критика против Кузнецова. Но поэт тогда переживал не столько за себя. Его очень интересовало, что стало со мной, не гонят ли меня из редакции, нужна ли какая-нибудь помощь. Больше того, он на всякий случай подыскал мне несколько вариантов, куда бы я мог из «Книжного обозрения» перейти. Хотя я ни о чём таком его не просил. Естественно, такие вещи забыть невозможно.

Другой раз (это было летом 1991 года) мы оказались с ним и Сергеем Небольсиным из института мировой литературы в одной поездке по Дальнему Востоку. Вадим Кожинов, хорошо зная состояние поэта, очень попросил нас ни в коем случае не провоцировать его ни на какие выпивки. Как предупредил Кожинов, у Кузнецова могли отняться ноги. Но сам Кузнецов не понимал, почему это из-за него должны страдать другие. Он ещё смирился с тем, что мы вели трезвый образ в Хабаровске. А уже во Владивостоке не выдержал. Он, видимо, решил, что мы с Небольсиным не пьём потому, что закончились деньги, и втихомолку сам сходил в магазин и принёс в гостиницу бутылку и закуску, сам открыл водку, сам разлил нам с Небольсиным: мол, на меня не смотрите, пейте, а я за вас порадуюсь.

А ровно через год мы отправились уже в Приднестровье, где ещё тлела война «двух берегов». У Кузнецова была идея фикс: достать оружие. Он не верил, что московская смута закончится миром. Он считал, что кровопролития не избежать. Но у него были две дочери. Они нуждались в защите. Без оружия, как думал Кузнецов, не обойтись. В принципе эту задачу можно было выполнить или в Тирасполе, или в Дубассарах. Проблема заключалась в другом: как с таким грузом добраться до Москвы. И потом… оружие на то и оружие, чтоб когда-то выстрелить. Я уже и не помню, как тогда Поликарпыча удалось отговорить от его безумной идеи.

Весной 1994 года нужда заставила Кузнецова пойти на службу. До этого он больше десяти лет жил на вольных хлебах. Руководство поэтическим семинаром в Литинституте — не в счёт. Этим Кузнецов занимался не столько для прокорма, сколько для поддержания нужного тонуса, для формы. Но реформы съели все немалые сбережения. Кузнецова взяли редактором в издательство «Современный писатель». Работы было мало, поэтических книг издательство почти не выпускало, но директор хотел, чтоб поэт выходил на службу чуть ли не каждый божий день и сидел от звонка до звонка. Кузнецова хватило на два года. Правда, в 1997 году его уговорил уже Куняев заняться поэзией в журнале «Наш современник», разрешив появляться ему в редакции всего лишь

два дня в неделю.

Во всех командировках (а вместе мы по России в 1990-е годы поездили немало) Кузнецов был всегда удивительно обязательным человеком. Если хозяева вечером предупреждали, что в девять утра завтрак, а в десять отъезд на какое-то мероприятие, он уже за десять минут до назначенного срока стучался в номер, чтоб никто ненароком не опоздал.

Помню, в мае 2001 года собрались мы в дорогу по Колымской трассе. Кузнецов надел костюм, светлую рубашку и галстук. Другой формы он не признавал. Хотя сразу после Карамкена, это где-то в ста километрах от Магадана, бетонка закончилась и пошла такая пылища. Но Кузнецов стойко держался. Негоже, как он считал, поэту появляться перед людьми чёрте в чём. А наутро его позвали в какой-то старенький сарай почитать стихи перед уходящими на смену старателями. Сначала Кузнецов чуть не заматерился: он — не эстрадная звезда, и старатели — не красны девицы, чтоб перед адской работой выслушивать любовную лирику (они приехали на Колыму не за стихами, а за большими деньгами). Но организаторы чуть не заплакали. Может, они действительно верили, что живое поэтическое слово вдохновит работяг. В конечном счёте Кузнецов махнул рукой и пошёл читать стихи. И удивительное дело: старатели прониклись к нему доверием. А ведь он прочитал им всего одно стихотворение — «Тегеранские сны».

Вот ещё одно свидетельство страшной обязательности Кузнецова. Весной 2003 года он, Владимир Ерёменко и я летали вместе в Нальчик. Тогдашний президент Кабардино-Балкарии Валерий Коков рассказал нам о своих планах пригласить в республику шестьдесят-восемьдесят писателей и устроить выездной пленум Союза писателей России, посвятив его одной из самых наболевших проблем — переводам, и попросил нашей помощи. Кузнецов ответил, что он — не организатор, но готов на какое-то время отвлечься от одной большой своей работы и перевести строк триста кого-нибудь из кавказских поэтов. «Но чтобы стихи были на уровне Зубера Тхагазитова», — оговорил Кузнецов своё условие. Поскольку Зубера раньше переводили очень много и в России его неплохо знали, лично я хотел, чтобы Кузнецов взялся за Аскера Додуева. Все балкарцы мне говорили, что это — чрезвычайно талантливый человек, но которому очень не повезло с переводчиками и поэтому в России его имя до сих пор остаётся неизвестным. Кузнецов согласился. Уже когда мы вернулись в Москву, Юрий Поликарпович раза три звонил и спрашивал: ну где же подстрочники Додуева. Но Аскер что-то тянул. А через полгода Кузнецова не стало.

Были ли у Кузнецова принципы? А как же. Он люто ненавидел, например, Ельцина. Помнится, 24 мая 1991 года в Смоленске были организованы всероссийские торжества, посвящённые дню славянской письменности. Кузнецова пригласили выступать в какую-то библиотеку. Но ещё из гостиницы вслед за ним увязался какой-то тип с грудой плакатов в поддержку Ельцина (через три недели в стране должны были пройти выборы президента России). Ох, как же вскипел Кузнецов. Бедные библиотекарши боялись, что вот-вот возникнет драка. Кузнецов категорически заявил, что не будет выступать, пока этот тип не снимет все плакаты с изображением Ельцина и не удалится из зала. Когда больше половины страны надрывало глотки за Ельцина, Кузнецов пророчески предупреждал: ничего хорошего от бывшего руководителя Свердловского обкома партии ждать нельзя. Ну не верил Кузнецов в чистоту помыслов этого человека. И оказался прав.

Ещё один случай, связанный с принципами поэта. Однажды я задумал провести на страницах «Литературной России» обсуждение стихов одного провинциального автора. И мне очень хотелось, чтобы в разговоре принял участие Кузнецов. При разности в почерке мне казалось, что Кузнецова в книгах провинциала зацепят его оригинальные философские воззрения и необычная стилистика. Но я допустил ошибку: передавая Кузнецову рукописи, сказал, что один из сборников провинциала отметил и похвалил Иосиф Бродский. Я не думал, что упоминание имени нобелевского лауреата вызовет у Кузнецова изжогу. Ему даже расхотелось предложенные книги брать в руки. Он считал: Бродский ведёт в тупик. Я насилу уговорил его всё-таки полистать рукописи. Но настроение уже было создано. Наутро я получил книги назад с оценкой, что всё это — очень плохо.

Увы, в последние годы Кузнецов замечал и поддерживал в основном лишь своих подражателей и подхалимов. Я не очень-то разделяю многие взгляды на современную литературу одного из нынешних руководителей Союза писателей России Николая Переяслова, но, думаю, он прав, когда написал: «Будучи (может быть, даже втайне и для себя самого) интуитивным предтечей и первопроходцем российского постмодернизма, Юрий Поликарпович фактически к любому из попадавшихся ему на глаза литературных произведений относился единственно как к сырью для своего персонального поэтического творчества» («Вертикаль. XXI век», 2005, выпуск 14). Во всяком случае, доля правды в этих размышлениях, безусловно, есть.

Но это уже к быту не имеет никакого отношения.

Напоследок отмечу: в 1990 году поэту за сборник «Душа верна неведомым пределам» была присуждена Государственная премия России.

Умер Юрий Кузнецов 17 ноября 2003 года в Москве. Похоронили его на Троекуровском кладбище.

Вячеслав Вячеславович Огрызко родился 28 июня 1960 года в Москве. В 1984 году окончил истфак Московского пединститута имени В. И. Ленина. Автор историко-литературного исследования «Песни афганского похода», двухтомного биобиблиографического справочника «Писатели и литераторы малочисленных народов Севера и Дальнего Востока», других работ.

Мария Аввакумова. Последнее тепло

С ЕГО уходом для меня словно бы ушло последнее тепло. Он был — и я ощущала себя на земле богатырей. Он был — и казалось, мы даже в одиночку горы свернём. И ничто не было страшно. Ведь ЕМУ не страшно, сказавшему: «Вожди — подо мною». И я его понимала, сама умудрившаяся прожить почти целиковую жизнь с этим горделивым настроем: у вождей — своя жизнь, у меня — своя.

Между людьми есть отношения, продиктованные дружбой, влюблённостью, разными житейскими обстоятельствами. А есть что-то другое, когда сразу и не объяснишь, что вас спаяло. Но понимаешь — это драгоценно, это нельзя терять ни при каких обстоятельствах. Может, это подсказка нагоревавшейся души?

На протяжении нескольких лет я имела счастливую возможность так или иначе пересекаться с Юрием Кузнецовым: и когда изредка звонила ему в редакцию и ещё реже — домой, и когда забегала в редакцию, чтобы оставить подборку или забрать вышедший журнал. Я могла бы делать это гораздо чаще, но… Теперь жалею.

Рассказывать о Юрии Кузнецове — безусловном, первейшем поэте двух-трёх последних десятилетий русской литературы и русской истории, мне трудно: большая боль молчалива. Да и имею ли я право?.. Я в этом не уверена. На умерших, на ушедших в иные пределы, у нас ещё меньше прав, чем на живых. Может, он сам подаст знак, как это было не раз здесь, на земном плане.

Вот, например, одно из наших самых первых пересечений: 1995 год. Звонок телефона. В трубке густой мужской голос. Назвался. Приглашает зайти в издательство «Советский писатель» и взять трёхтомник Афанасьева, бесплатно, от него в дар. Я, понятно, поблагодарила, но пошла не сразу; когда пришла, стопки с томами почти истаяли. Взяла что осталось. Драгоценный труд Афанасьева по славянской культуре безошибочно поручили отредактировать именно Юрию Кузнецову. Он, понятное дело, вложил в это издание всё старание, всё внимание и потом с явным удовольствием делал эти роскошные подарки. Дарил — «чтобы прочитали»… И сам он в очень и очень многом «из шинели» Афанасьева, из его «Поэтических воззрений славян на природу». В этот раз никакого разговора между нами не было. Я взяла книги и, поблагодарив, ушла.

Следующий звонок от Кузнецова последовал только через пару лет: он начинал работать в журнале «Наш современник». Умер Геннадий Касмынин, ведший отдел поэзии в самое, думаю,

тяжёлое для патриотического журнала время (почти все отпрянули, то ли испугавшись, то ли пережидая. А мы с Олей Гречко именно тогда впервые принесли стихи в «Наш современник»…).

Внешнее впечатление о человеке тоже интересно и важно. Помню Юрия Кузнецова в оранжевом пиджаке (он не без лёгкого юмора рассказывал мне, как и по какому случаю его приобрёл). Помню в сиреневом длинном плаще, и в другой раз — у Литинститута, куда я иногда ходила на его лекции, в экстравагантном подобии бушлата, и в не менее удивительном головном уборе. Он не был чужд игры, артистизма. Жаль, что я не сразу догадалась прихватывать с собой фотоаппарат.

«В столетии я друга не нашёл», — это, такое понятное мне, признание он сделал давно. От этого чувства горько, но к нему привыкаешь и невольно сублимируешь энергию в другое, в другом направлении. «Искал я святости в душе…» — это духовный труд поэта в последние годы жизни: поэма «Путь Христа», «Сошествие в ад», одна из последних подготовленных им поэтических подборок в № 10 «Нашего современника» — замечательные стихи протоиерея Вячеслава Шапошникова из Костромы. А сам он… до последнего края крепко держался за верный посох: «Нет! Я не спился, дух мой не убит, и молится он истинному Богу».

…Но нагрузка на сердце была колоссальная. Подумайте только — почти каждый день быть чтецом потока стихов со всей России о её бедах, боли и скорбях; ведь русский поэт не способен превратить поэтическое слово в игрушку-погремушку…

Я старалась его щадить, не навязывала себя. Хотя в той полосе полнейшей изоляции от всех и вся очень хотелось просто человеческого голоса, пусть и такого, немногословного, обрывочного, не допускающего «распускания соплей», то есть не очень-то пожалуешься на жизнь. Однажды именно с этим голосом произошла казусная история. А время было такое подлое — самый разгар тёмных страстей и помыслов. В телефонную трубку можно было услышать о себе разное, да ещё и охотники за одинокими и беззащитными были всегда рядом… Как раз было средоточие такого — на меня — телефонного наступления. Услышав в трубке низкий, неразборчивый, далеко не ласковый голос, я его просто куда-то послала… А это, как оказалось, был Юрий Поликарпович. Но он, слава Богу, всё понял как надо и попросил жену перезвонить мне, а потом уж говорил сам.

Когда он взялся составить мне мою скромную книжку (стихи не выходили десять лет), тогда наше общение загустело. И отношения значительно растеплились. Я, съездив на северную

родину, привезла много фотографий. Он восхищался нашими лесными просторами. Увидев на старых фотографиях моих предков: отца, дядьёв, — тоже восхитился, назвав орлами. Никому до него здесь, в Москве, не были интересны мои предки, мои корни. Нет, он был очень внимательный, очень зоркий человек, но не всё хотел видеть.

Сейчас мне думается, что Юрий Кузнецов относился ко мне по-особенному, давал моим стихам зелёную улицу, словно грех за кого-то замаливал, словно вину чувствовал. Но его вины передо мной не было. А моя и наша — есть. Остаётся.

Готовился к 60-летнему юбилею. Предложил в нём участвовать. У меня же в таких делах практики никакой. Но отказываться — верх неуклюжести. Юбилей — это речи, подарки… Пытаюсь выяснить, какой бы подарок он предпочёл.

— Лучший подарок один — ваши хорошие стихи.

(«Ваши» — то есть всех его авторов.)

К юбилейному вечеру я готовилась, очень волнуясь. Исписала для своего выступления много страниц. Но сказала со сцены Большого зала Дома литераторов совсем другое, о чём нисколько не жалею. Жаль только, что не прочла восьмистишие, которое Юрий Поликарпович слышал от меня по телефону. Вот это:

Жизнь поэта странна и глубока.
Неотвязною рифмой казним,
Под пятою он ходит у Бога,
Но порою равняется с ним.
Жизнь поэта… До срока могила
Замечательных наших парней.
Я ведь тоже по краю ходила…
Я ведь тоже всё знаю о ней.

Выслушав это, Юрий Кузнецов ничего не сказал. Теперь, перебирая по тому или иному поводу черновые листочки, я то и дело натыкаюсь на стихи, адресованные Кузнецову в разное время. Я их ему никогда не дарила и не показывала. Наверное, зря: всё какой-никакой бальзам на детскую душу этого неповторимого в веках человека, рыцаря славянского материка. По-вагнеровски мощная фигура. Ярчайшая фигура русского космоса. В этом сложном, философском и жертвенном понятии «Русский космос» слиты воедино две мощные стихии, две крайности — русская степь и русский лес. Так полагал он. И потому, наверное, ему была так интересна душа северянина, человека из леса. Этим я в какой-то степени могу объяснить неотторжение им меня и моих литературных трудов.

Я не могу не согласиться с Евгением Рейном, сказавшим о Юрии Кузнецове самые проникновенные слова: «…та часть русской истории, о которой некогда было сказано, что Москва — есть Третий Рим, кончается великим явлением Кузнецова».

10 декабря 2003 г.

Мария Николаевна Аввакумова родилась 22 апреля 1943 года в селе Верхняя Тойма Архангельской области. Среднее образование получила в городе нефтяников Альметьевске. В 1967 году окончила журфак Казанского университета. Первые стихи с подачи Евгения Евтушенко опубликовала в журнале «Новый мир». Автор поэтических сборников «Северные реки», «Зимующие птицы», «Неосёдланные кони», «Из глубин» и «Трамвай мечтаний». В 2000 году Юрий Кузнецов помог Аввакумовой составить книгу её стихов «Ночные годы», специально для которой он написал своё предисловие. С 1984 года живёт в Москве.

Кирилл Анкудинов. Неправильные воспоминания

…Знак избранья, особая примета,
Страшный след Твоего прикосновенья.

Дмитрий Быков

I

Всё началось с альманаха «День поэзии» за 1984 год, принесённого мне отцом. Я, четырнадцатилетний подросток, открыл этот альманах и прочитал в статье критика Владимира Гусева «Видеть солнце».

«Юрий Кузнецов?

Инфернальный, безнравственный и пр. — пошли в мозгу привычные слова.

Не такой уж он безнравственный, а просто немного тоже позирует, хотя и талантлив, — хочется сказать спокойную фразу».

Слово «инфернальный» мне тогда было неведомо и потому заинтриговало. Ещё больше удивило определение «безнравственный»: что за поэт такой, которого все привычно называют безнравственным? И хотя критик пояснял, что Кузнецов на самом деле — «не такой уж безнравственный, а просто немного позирует», всё равно меня разохотило.

В этом же альманахе я увидел два стихотворения того самого Кузнецова, прочёл их — и запомнил навсегда. «Воет мартен, или воет сирена. Красные раки ползут» — эти жутко-притягательные строки всё вертелись в моём отроческом сознании, не отпуская.

Я стал собирать информацию о Кузнецове, узнал, что он — почти мой земляк (Тихорецкая, Краснодар — всё это совсем рядом). Потом, роясь в стеллажах юношеской библиотеки, обнаружил тоненькую книжечку «Выходя на дорогу, душа оглянулась» — и стал восхищённо бегать с ней, всем подряд читая стихи про «последнего эмигранта» («Прошу, моему поражению отдайте последний салют» — потом автор изменил — «моему поколению отдайте последний салют» — стало хуже), про «чёрный подсолнух».

Мёртвым светом его охватило,
Он уже не внимал ничему.
Только видел ночное светило,
Присягая на верность ему.

Незадолго до этого я сам написал в тетрадке для первых стихотворных опытов…

Мы не знаем, творим мы добро или зло.
Отчего же тогда нас так тянет творить?

Тогда Кузнецов манил *этим.* Правом на неправильный путь, правом на поражение, на нети, на верность «ночному светилу» («осквернённой святыни не надо»). В Кузнецове был соблазн неоднозначностью — а всё остальное вокруг меня было беспросветно однозначно…

На меня нашёл амок. Я искал стихи Кузнецова повсюду; находя, усердно переписывал в тетрадь…

Я встретился с промозглым стариком,
Глаза слезятся. — Что с тобой? — спросил я.
— Мне в очи плюнул тот, кого убил я,
И плачу я с тех пор его плевком.

«Как это глубоко, точно, красиво!» — зачарованно думал я.

Закончив школу, я поступил на филфак Адыгейского пединститута и на вступительных экзаменах читал наизусть приёмной комиссии стихи Кузнецова. Моя дипломная тоже была посвящена Кузнецову; и одним из героев моей кандидатской диссертации был Кузнецов (а если бы мне позволили, он был бы единственным героем моей кандидатской). Когда я напишу докторскую, в ней непременно будет идти речь о Кузнецове. Юрий Кузнецов со мной — на всю жизнь…

С первого курса института я попал в армию («перестроечный призыв»; кто был, не забудет), вернувшись через год, раздобыл домашний адрес Кузнецова и отослал ему свои стихи с сопроводительным письмом. В письме я (на своё несчастье) привёл список поэтов, которые мне нравятся. Нормальный «джентльменский набор книжного юноши» того времени — Брюсов, Блок, Анненский, Пастернак, Мандельштам; предпоследним в списке шёл Высоцкий, которого тогда любили все; незадолго до этого я прочитал стихотворение Кузнецова

«Гитара» («Смердяков гитару взял у Аполлона») и удивился «высоцким» интонациям; мне надо было прислушаться к голосу интуиции, говорившей: «Здесь что-то не так», — но я этого не сделал. Завершился список поэтом Ш., который считался «учеником Кузнецова»; я решил: «Даже если Кузнецову не по нраву Высоцкий, упоминание поэта Ш. скомпенсирует это».

Предварительно я зашёл к Литератору старшего поколения, лично знакомому с Кузнецовым, и прочитал ему своё письмо.

Литератор огорошил меня.

— Что это ты в своём списке собрал одних евреев?

— Как одних евреев?! Ну, Мандельштам с Пастернаком, ладно. Но остальные…

— Читай список.

— Брюсов…

— Еврей…

— Брюсов — еврей? Ну а Блок?

— Тоже еврей.

— Он немец.

— Значит, немецкий еврей. Кто дальше?

— Иннокентий Анненский.

— Чистокровный еврей…

Но даже после этого удивительного диалога с Литератором я не убрал список из письма. Теперь я понимаю, что допустил ошибку: писателей (равно как и всех людей) прежде всего интересуют упоминаемые персоналии, и только во вторую очередь — остальное.

Тогда я этого не знал. И надеялся на магию имени «поэта Ш.». Я просчитался.

Привожу полный текст ответного письма Юрия Кузнецова.

«Дорогой Кирилл!

Ваши стихи не выдерживают никакой критики. Сплошь литературщина. Ни одного живого слова. Видимо, серебряный век соблазнил Вас книжными призраками. Не забывайте, что это век распада. Вы хотите казаться, а не быть. Но на этот счёт уместно напомнить завет Н. Рубцова:

Давно пора понять настала,
Что слишком призраки люблю.

Вы начинаете „литературную“ жизнь с ошибок. Так Вы считаете В. Высоцкого „серьёзным философом“. Но это заблуждение. У него нет никакой философии. Нельзя же считать философией его глумливое отношение к простым людям, которое не идёт дальше лакейских рассуждений Смердякова: „Русский народ надо пороть-с“. (Надеюсь, Вы читали „Братьев Карамазовых“).

Что касается Ш. (сокращение фамилии моё. — *К. Л.*), то такого поэта в природе не существует. Он эпигон и производит суррогаты.

И таковы Ваши ложные ориентиры.

Если вы не обратитесь к реальной жизни, из Вас ничего не выйдет: не только поэта, но и полноценного человека.

Вот всё, что я могу Вам сказать.

Желаю всего доброго.

Ю. Кузнецов.

23.09.90».

Я был самолюбивым мальчиком: в ответ на это письмо я накатал пародийную поэму про агента похоронного бюро Ангела Молодцова («…Когда в конторе за столом подсчитывал гробы, на круче дьявольской узлом завязывал дубы…») — и отослал её Кузнецову. Уж не знаю, дошла ли моя поэма до Кузнецова; отклика на неё я, конечно, не получил (кажется, всё же дошла; в одном из стихотворений Кузнецова того времени мне расслышались полемические отклики на мой опус; впрочем, это может быть «обманом слуха»).

В середине девяностых годов я учился в аспирантуре Московского педагогического университета и жил в Москве. Однажды, зайдя по каким-то делам в Литинститут, я узнал, что рядом, на ВЛК, преподаёт Кузнецов — и решил встретиться с ним.

Дождался перемены. Выходит Кузнецов — такой же, как на портретах и фотографиях, и совершенно не намеренный общаться со мной.

— Слушаю.

— Юрий Поликарпович, я пишу кандидатскую диссертацию по вашему творчеству.

— Это меня не интересует. Обо мне написали столько глупостей — и хвалебных, и ругательных. Одной глупостью будет больше.

— Г-м. Юрий Поликарпович, знаете, вы — мой литературный учитель…

— Это меня тоже не интересует. Говорите, зачем пришли. Мне некогда.

Я не знал, что сказать своему кумиру, и тут ко мне явилась совершенно безумная идея…

— Юрий Поликарпович, я нашёл интересные совпадения в ваших ранних стихах и в стихах Иосифа Бродского…

Сделаю отступление на несколько лет назад.

Когда мой отец, театральный актёр, стал вести курс культурологии в открывшемся коммерческом вузе (это был 1992 год), благодарные студенты подарили ему двухтомник Бродского. Я начал читать ранние стихи Бродского — и вдруг понял, что эти интонации я встречал раньше.

…и вдруг понять, как медленно душа
заботится о новых переменах.

(И. Бродский. «Воротишься на родину. Ну что ж…»).

…Ты поразишься — тяжести в душе,
Как та сопротивляется чему-то.

(Ю. Кузнецов. «Грибы»),

Этого было мало, иногда у Бродского и у Кузнецова попадались такие аналогии в сочетаниях образов, которые — по теории вероятности — никак не могли быть случайными совпадениями.

Мы пьём золотой лимонад,
Рогатый и злобный, как роза.

О славе, любви и вражде
Трубите, победные трубы!

(Ю. Кузнецов. «Как птицы, стаканы звенят…»).

…ты стоишь на виду
на
мосту возле лет безвозвратных,
прижимая к лицу недопитый стакан лимонада,
и ревёт позади дорогая труба комбината.

(И. Бродский. «От окраины к центру»).

Поскольку стихи Бродского появились хронологически раньше стихов Кузнецова, Кузнецов был знаком с ними — я не сомневаюсь в том. Краснодарский поэт и журналист Игорь Ждан-Пушкин сказал, что лично познакомил Кузнецова с творчеством Бродского. Но это было в послеармейский период биографии Кузнецова, а первые параллели с Бродским появляются у Кузнецова в «кубинских стихах». Я думаю, что Кузнецов познакомился с «самиздатским Бродским» на Кубе, где служили ребята из разных регионов Советского Союза, в том числе из Москвы и Ленинграда. В армейской среде вполне мог распространяться «неполитический самиздат»; тем более что военный состав изображал «гражданских» («солдаты в клетчатых рубашках»), значит, были возможными послабления. Доказать это предположение невозможно. Как и то, что Бродский оставался для Кузнецова актуальной фигурой даже в последние годы жизни (я убеждён в этом).

…Возвращаюсь к своей московской беседе с Кузнецовым.

Отреагировал поэт на мою выходку так, как и должен был отреагировать…

— Ничего общего. О Бродском я не знал. Его стихи прочёл поздно. Они мне не нравятся…

И тут Кузнецов произнёс фразу, которая украсит анналы его знаменитых «кузнецовских mots» (впервые знакомлю широкую аудиторию с ней)…

— Бродский — поэт вторичный, а я — первичный.

Поскольку поэт продолжал интересоваться, для чего я пришёл к нему, мне не осталось ничего кроме признания: я пришёл показать свои стихи.

Поэт буркнул: «Давно бы так», — и ушёл, унося мою тетрадь со стихами. Через неделю мы снова встретились в коридорах ВЛК. Разумеется, мои вирши были раскритикованы в пух и прах. Кузнецов назвал их «третичными» (что по-своему радовало: я оказался одной ступенью ниже Бродского).

Больше Кузнецова я ни разу не видел.

II

Мои воспоминания о Кузнецове неправильны, неканоничны.

Но дело в том, что я вообще не встречал глубоких и информативных воспоминаний о Кузнецове (может быть, за исключением очерка ярославского писателя Евгения Чеканова

«Мы жили во тьме при мерцающих звёздах»). Всё, что попадалось мне, не выходило за рамки ракурса «выпил-закусил-изрёк», а несоответствие между интересами вспоминающих и того, о ком они вспоминают — обычно оставляет у меня от таких воспоминаний комические впечатления.

Юрий Кузнецов — совершенно немемуарная фигура.

Этому есть две причины. Первая из них связана с сомнительностью самого мемуарного жанра.

Неразумно и невежливо требовать от человека, наделённого огромным Даром, чтобы он (вдобавок к своему Дару) был бы ещё и симпатичным светским собеседником. Дар — тяжелейшая ноша, мучительная рана; талантливые люди — в большинстве — не могут справиться со своими талантами и погибают, раздавленные страшным грузом. Чем сильнее, мощнее талант, тем труднее выдержать его; сколько Бог даёт человеку, ровно столько же Он у человека и отнимает. Не думаю, что встреча с античным или библейским пророком стала бы благодатным источником для изящных мемуаров. Юрий Кузнецов был пророком — и это не метафора и не преувеличение. Я отношусь к Кузнецову соответственно — как к пророку, и потому, говоря о нём, отключил своё самолюбие: одно дело — быть побитым гопниками в переулке, совсем другое дело — быть поражённым жезлом Иеремии или Ионы.

Перехожу ко второй причине, идущей непосредственно от личности Кузнецова.

Всякий, кто знаком со стихами Кузнецова, знает: сюжет этих стихов разворачивается в двух мирах — в мире обыденной реальности и в параллельном ему мире Мифа. Первый мир — скучен и нелеп, второй — велик и грозен. «Людям снилась их жизнь неуклонно, снился город, бумаги в пыли, но колёса всего эшелона на змеиные спины сошли».

Сам Кузнецов, как и его герои, большей частью своего бытия пребывал в мире Мифа. Он жил жизнью рядового советского писателя: учил студентов, встречался с друзьями, пил водку, ездил в составе литераторских делегаций в регионы — и в данной своей ипостаси, пожалуй, был не слишком интересен. Иногда два мира — мир обыденности и мир Мифа — в его душе соприкасались; тогда от их столкновения летели искры — странные «словечки» Кузнецова, блестящие для одних, дикие и неуместные для других (вроде «я пил из черепа отца», «пень, иль волк, или Пушкин мелькнул», или «Бродский поэт вторичный, а я — первичный»). В этом отношении я бы сравнил Кузнецова с набоковским Лужиным (только вместо шахмат у Кузнецова был Миф).

Кузнецов знал это. И ещё он знал, что все его привязки к реальности настолько слабы и незначимы, что реальность не простит ему это.

Какие уж тут мемуары?..

…У Кузнецова есть короткое стихотворение — потрясающее, гениальное, страшное. В этом стихотворении Кузнецов сказал всё о себе, о своих взаимоотношениях с миром и о своей судьбе.

Начинается оно просто, почти банально…

Над родиной встанет солнце.

Вторая строка — подхватывает эту расхожую метафору, ввергая её в жутковатый мелодический водоворот, — и одновременно пародируя.

Над морем встанет скала.

А потом — Кузнецов ещё два раза прокручивает…

Над женщиной встанет крыша,
А над мужчиной — звезда.

Ошеломляет контраст между тривиальным, само собой разумеющимся содержанием — и издевательской формой, в которую это содержание облечено. Две начальных строки — девичий альбом, две следующих — и того пуще — адская шарманка, танго, рэгтайм, данс-макабр. Первая и третья строки — вообще не рифмуются, вторая и четвёртая — рифмуются глумливой рифмой «скала-звезда». Плюс дичайший залихватский логаэд в последней строке строфы («маэстро, урежьте марш!»). А смысл строфы — красив и романтичен: «над мужчиной встанет звезда». Да, встанет. Участь мужиков — отправляться в дорогу «за звездой кочевой» — из века в век. Участь женщин — ждать их под крышей…

Ворон взлетит над прахом,
А над чужбиной — дым.
И вырвет дубы с корнями
Над именем бедным моим.

«Вырвет дубы с корнями» — не ворон и не дым, как кажется (после слова «дым» стоит точка). «Вырвет» — неопределённо-

личный глагол. Само собой «вырвет дубы». Силой обстоятельств.

Всем есть место в этом мировом круговороте, в этой нескончаемой петле Мёбиуса: и женщине, и мужчине, и ворону — нет места только поэту, лишь его бедному праху и имени.

…О том же самом писал и Бродский, но как же бледны, узки, невыразительны его строки — в сравнении с орлиной речью Кузнецова! Они глядятся как картонные декорации.

> Теперь меня там нет. Означенной пропаже
> дивятся, может быть, лишь вазы в Эрмитаже.
> Отсутствие моей большой дыры в пейзаже
>
> не сделало; пустяк: дыра — но небольшая.
> Её затянут мох или пучки лишая,
> гармонии тонов и проч. не нарушая.

(«Пятая годовщина»).

Бродскому вяжут язык «культура» и «политика». Кузнецову — не до «культуры» и не до «политики»; он пишет о Мироздании. Вот уж воистину, Бродский поэт вторичный, а Кузнецов — первичный…

Повторюсь: какие могут быть мемуары там, где «вырвет дубы с корнями над именем бедным моим»? О Бродском можно писать мемуары. О Кузнецове их писать невозможно. Над бездной мемуары не пишутся…

III

А предсказал Юрий Кузнецов многое — пророк ведь.

Он предсказал даже Путина — причём в 1985-м году. Не верите? Перечитайте стихотворение «Воля».

Интуиция, не подведшая меня в случае с Высоцким, подсказывает, что и обо мне Кузнецов высказался — в одном из своих поздних стихотворений. Разумеется, я в этом стихотворении — отрицательный персонаж. Ну не совсем отрицательный, но комический, во всяком случае.

Какое это стихотворение — не скажу. Сами догадаетесь…

г. Майкоп

Кирилл Николаевич Анкудинов родился 30 марта 1970 года в Златоусте Челябинской области. Окончил Адыгейский университет и

аспирантуру Московского педуниверситета. Кандидат филологических наук. В 1996 году вместе с критиком из Вологды В. Бараковым написал и издал первую книгу о творчестве поэта «Юрий Кузнецов». Автор нескольких поэтических сборников. Живёт в Майкопе.

Магомед Ахмедов. Моя поэзия — вопрос грешника

1

Юрий Поликарпович Кузнецов — самая яркая классическая звезда русской поэзии века минувшего и века нынешнего. Мастер символов и космической тьмы, глашатай мифов и русского национального духа, в стихах которого жест — шедевр, фраза — афоризм, пауза — золото, слово — музыка.

Поэзия Кузнецова — это зрячий посох классической лиры, который будит таинственные родники, спящие в душах людей ушедших времён и сегодняшних дней.

Кузнецов — поэт в высшем, в божественном понимании таланта поэта.

«Гений, — сказал Расул Гамзатов, — это человек, который каждый день разговаривает с Богом».

Кузнецов, даже разговаривая с самим собой, ищет Бога.

Как никто другой из современных поэтов он имел полное право сказать о себе: «Моя поэзия — вопрос грешника. И за неё отвечу не на земле».

Кузнецов — очень трудный поэт, но его трудность, неожиданность, бескомпромиссность в силе духа, слова и веры, поэтому у него нет случайных стихотворений, они полны драматизма пути, судьбы и любви. Вот его «Завещание».

Объятья возвращаю океанам,
Любовь — морской волне или туманам,
Надежды — горизонту и слепцам,
Свою свободу — четырём стенам,
А ложь свою я возвращаю миру.
В тени от облака мне выройте могилу.

Кровь возвращаю женщинам и нивам,
Рассеянную грусть — плакучим ивам,
Терпение — неравному в борьбе,
Свою жену я отдаю судьбе,
А свои планы возвращаю миру.
В тени от облака мне выройте могилу.

Лень отдаю искусству и равнине,

Пыль от подошв — живущим на чужбине,
Дырявые карманы — звёздной тьме,
А совесть — полотенцу и тюрьме.
Да возымеет сказанное силу
В тени от облака…

В предисловии к своему «Избранному» Кузнецов пишет: «Свои первые стихи написал в девять лет. И долго писал просто так, не задумываясь, что это такое, и не заметил, когда стихи стали для меня всем: и матерью, и отцом, и родиной, и войной, и другом, и подругой, и светом, и тьмой».

Когда читаешь Кузнецова, понимаешь искренность и истинность этих слов, здесь вырисовывается личность поэта.

Стихи и поэмы Юрия Кузнецова похожи на минные поля. Он ставит мины на подступах к самому дорогому и святому в его жизни — к России, матери, Родине, другу, подруге, войне, свету и тьме, чтобы враги со всех сторон оставили их в покое, чтобы они со своими шкурными интересами не рвали на клочья израненную столетиями душу его Родины. И надо очень любить Россию, чтобы обезвредить эти минные поля и перейти через них к поэту Кузнецову и понять его классическую лиру.

К примеру: «Последний человек».

Он возвращался с собственных поминок
В туман и снег, без шапки и пальто,
И бормотал: — Повсюду глум и рынок.
Я проиграл со смертью поединок
Да, я ничто, но русское ничто.

Глухие услыхали человека,
Слепые увидали человека,
Бредущего без шапки и пальто;
Немые закричали: — Эй, калека!
А что такое русское ничто?

— Все продано, — он бормотал с презреньем, —
Не только моя шапка и пальто.
Я ухожу. С моим исчезновеньем
Мир рухнет в ад и станет привиденьем —
Вот что такое русское ничто.

Глухие человека не слыхали,
Слепые человека не видали,
Немые человека замечали,

Зато все остальные закричали:
— Так что ж ты медлишь, русское ничто.

Кузнецов чувствует время, самоуглубляясь и самовыражаясь, он живёт в этом времени мужественно и тревожно, предчувствуя грядущее и улавливая свой пророческий внутренний голос.

Самоотдача таких классических поэтов, как Кузнецов, ещё раз напоминает нам о том, что высокий талант улавливает небесные звуки и превращает их в бессмертную музыку слов не для того, чтобы мы так бездарно погубили поэзию и её идеалы, потеряв всякую совесть, лжесвидетельствовав перед Богом и народом ради ничтожных земных благ и собственного благополучия.

А Кузнецов всегда чувствует великую ответственность перед собой и беспощадно это выражает. Вот стихи, которые называются «Заклятие в горах»:

Когда до Бога не дойдёт мой голос
И рухнет вниз с уступа на уступ,
Тогда пускай в зерно вернётся колос
И в жёлудь снова превратится дуб.

Иному человечеству приснится,
Как вдаль бредёт мой распростёртый труп —
А на одной руке растёт пшеница,
А на другой — шумит могучий дуб.

2

Преодолевать душевный мрак — самая мужественная задача поэта, тоска поэта по совершенству, красоте, радости, по свету и добру делают стихи предельно искренними.

Недаром Блок сказал о Пушкине: «Пушкин так легко и весело умел нести своё творческое бремя, несмотря на то, что роль поэта не лёгкая и не весёлая, она трагическая».

Именно такая трагическая роль выпала на долю Кузнецова — он, иногда один, отстаивает достоинство и величие его родины и великой русской литературы.

Ведь, чтобы так написать, надо чувствовать, знать и любить свой народ и свою родину: поэт, который не любит свой народ и свою родину, — не поэт.

Ни великий покой, ни уют,

Ни высокий совет, ни любовь.
Посмотри! Твою землю грызут
Даже те, у кого нет зубов.
И пинают и топчут её

Даже те, у кого нету ног,
И хватают родное твоё
Даже те, у кого нету рук.
А вдали, на краю твоих мук
То ли дьявол стоит, то ли Бог.

Поэт, как лакмус, определяет реакцию родины на слово, он, как барометр, реагирует на колебания народа и времени, но лучше жить в долгу у вечности, чем в материальном рабстве у современности, где твою землю грызут, пинают и топчут.

Узел грома и зигзаги молнии в небе поэт распутывает и выпрямляет на земле, и ему с вечностью легче разобраться, чем с повседневной стихотворной рутиной иных ретивых современных пиитов.

Поэтому Кузнецов трагически вздыхает:

Поэзия давно легендой стала,
От бесов Болдино она свершила круг
До блоковских полуроссийских вьюг.
А мы… мы растеряли все начала.

Учения убиты образцы,
Заброшена старинная работа,
Исполненная боли и полёта.
А мы… мы оборвали все концы.

Три поколенья после Блока серы,
Соперника не родилось ему.
Кто искру даст славянскому уму?
На Западе нет вещего примера,
И сами не приходим ни к чему.

Кузнецов даёт «искру славянскому уму» и приходит к высоким поэтическим образцам, достойным Пушкина и Блока.

Мой друг поэт Николай Дмитриев очень верно заметил: «Образы пустоты пронизывают поэзию Кузнецова насквозь. Но об опустошённости не может быть и речи, ибо от стихов веет силой… Русское ничто — и сам поэт со своими сквозными и неисчерпаемыми символами, с тревожным любованием самоцветными переливаниями славянской души, с неизбывной, казалось бы, дремотой, вдруг сменяющейся порывами неукротимой энергии».

Действительно, энергии стихам Кузнецова не занимать, стихи его полны великой, живой и целительной силы, его духовный максимализм труден для обычного восприятия, но, углубляясь в его мир, мир поэта, безусловно, великого, понимаешь, что всё неслучайно и что драматический узел кажущихся противоречий продиктован лишь истинным талантом, который выводит его на орбиту духовной жизни современной России, но не красивые слова, а открытия оживляют поэзию. В поэзии же Кузнецова звук поэтической речи высок и вечен, у него даже тени прошлого горят как свечи в ночах нынешних; где идёт открытая война света и тьмы:

Мы тёмные люди, но с чистой душою.
Мы сверху упали вечерней росою.
Мы жили во тьме при мерцающих звёздах,
Собой освежая и землю, и воздух.
А утром легчайшая смерть наступала,
Душа, как роса, в небеса улетала.
Мы все исчезали в сияющей тверди,
Где свет до рожденья и свет после смерти.

«Всё связано во Вселенной: малое и большое, близкое и далёкое, старое и новое», — говорит сам поэт, являясь летописцем этой Вселенной, даже названия книг Кузнецова являются символами этой летописи: «Гроза», «Во мне и рядом — даль», «Край света — за первым углом», «Выходя на дорогу, душа оглянулась», «Отпущу свою душу на волю», «До последнего края», «До свидания! Встретимся в тюрьме», «Пересаженные цветы», «Русский узел», «Русский зигзаг», «Золотая гора», «Ни рано, ни поздно», «Душа верна неведомым пределам», «После вечного боя», «Ожидая небесного знака».

Мой учитель Ал. Михайлов говорил: «Слово родилось из огромного желания человека вырваться из гнетущего плена немоты. Вместе с великим благом, которое оно принесло человечеству, благом общения и способности мыслить, слово открыло возможности и для лжи, источения яда. Поэзия родилась

для блага, она уловила первородное назначение слова и утвердила себя как самая изящная и синтетическая форма мышления.

Она есть верховный акт мысли. Поиски наиболее концентрированного, эмоционального и эстетически эффектного воплощения мысли — вот неумирающая традиция мировой поэзии».

Вот этот «верховный акт мысли» является главным и для Кузнецова. Вот стихотворение «Книги»:

От проницательного чтенья
Вся обнажается до дна
Литература самомненья,
Где копошится злоба дня.

Где топчут бисер свиньи быта,
На ум дерзает интеллект
И у разбитого корыта,
Как вещь в себе, сидит субъект.

Но попадаются глубины,
В которых сразу тонет взгляд,
Не достигая половины
Той бездны, где слова молчат.

И ты отводишь взгляд туманный,
Глаза не видят ничего.
И дух твой дышит бездной странной,
Где очень много своего.

Это там, «где очень много своего и „дух твой дышит бездной странной“, бьётся его живая, трепетная, беспокойная мысль, которая, нарушив молчание, рвётся в глубь веков, раскатывая мир в яйцо мифа, в чудо образа, в силу символа, где чувства упрятаны в глубинах мира, мифа и символа, достигая внутреннего союза мысли и чувства».

Есть у меня в душе одна вершина
С певучим эхом… Дремлет жизнь моя,
Но чутко отзывается и длинно
На первый луч иного бытия.

Ещё душа темна наполовину,
Но властный луч иного бытия

Заставил петь и трепетать долину,
Но этот трепет слышу только я.

Это и есть поэзия умного сердца, где мысль, рождённая чувством и движимая им, ждёт и от нас более живого отклика души, а душа, по Кузнецову, верна неведомым пределам.

Кузнецов признаётся:

> «Свой первый символ я увидел воочию, и ему обязан первым воспоминанием. Мне было с небольшим два года. Помню, как долго открывал тяжёлую калитку с высоким кольцом, ту самую, перед которой недавно стоял отец.
>
> Выйдя на улицу, увидел сырой, мглистый, с серебристой голубизной воздух. Ни улицы, ни забора, ни людей, а только этот воздушный сгусток, лишённый очертаний. Конечно, такое воспоминание не случайно. Это было то самое туманное дремлющее семя, из которого выросло ощущение единого пространства души и природы. Возможно, оттуда идёт загадка „космической туманности“ многих моих строк о мире и человеческой душе».

Это очень важное признание. Здесь мы находим ключ к пониманию самой сути поэзии Кузнецова — единство пространства души и природы.

По верному определению Николая Дмитриева: «Читателям открылся космос, страшная своим безразличием к человеку бездна. Но каким бы холодом ни веяло от „космических стихов“ Кузнецова, его мужественное предстояние перед непостижимым воспринималось как заступничество за человека. „Я пришёл и ухожу один“, — сказано о себе и обо всех».

Особого разговора требуют и поэмы Кузнецова: «Дом», «Золотая гора», «Сказка гвоздя», «Змеи на маяке», «Афродита», «Красный сад», «Путь Христа», «Сталинградская хроника», где он достиг небывалых глубин и высот поэтического слова.

Зададимся тем же вопросом, что и мой друг Николай Дмитриев: «Каковы особенности поэтики Кузнецова в дополнение к тому, что уже сказано?»

Это — многозначный символ, служащий стержнем многих созданий, яркая антитеза, необычайно чёрный поэтический образ, дерзость заглядывания в самые тёмные закоулки души, умение, подобно Даниле-мастеру, быть в опасной близости от тёмной силы.

* * *

Хочу закончить блестящими стихами Юрия Кузнецова «Здравица»:

То не ворон считают соловьи —
Мы говорим о славе и любви.
Бокал обвит змеиным женским телом,
Стряхни змею! Займёмся русским делом,
Пуская из ноздрей заморский дым.
Но где же слава, Кожинов Вадим?

За горизонтом старые друзья
Слились, а новым доверять нельзя.
Твой дом парит в дыму земного шара,
А выше Дионисий и гитара,
И с книжной полки окликает Рим:
— Мементо мори, Кожинов Вадим.

Смерть, как жена, к другому не уйдёт,
Но смерти нет, а водка не берёт.
Душа верна неведомым пределам.
В кольце врагов займёмся русским делом,
Нас, может, двое, остальные — дым.
Твоё здоровье, Кожинов Вадим.

г. Махачкала

Магомед Ахмедович Ахмедов родился 13 ноября 1955 года в аварском селении Гонода. В 1979 году окончил Литинститут. Первый поэтический сборник на родном языке «Ночные письма» выпустил в 1979 году. На русский язык стихи поэта переводили Сергей Васильев, Евгений Семичев, другие очень талантливые литераторы. Народный поэт Дагестана.

Владислав Бахревский. Юрий Кузнецов и наша культура

1

Моя жена перевелась из Ленинградского Герценовского института в Орехово-Зуевский педагогический. Поезд из Ленинграда приходил очень рано, и Колька Рыжих предложил:

— Переночуем у меня в общежитии и встретим.

Так я попал в стойло Пегаса. Николай Прокофьевич делил комнату с детиной в тельняшке.

— Юрий Кузнецов! — Рука сильная, но не властная. Полуулыбка и несколько отсутствующий взгляд.

Интеллектом от Кузнецова не веяло. Грубое лицо, грубые движения. Простолюдин. Откуда-то с Кубани. Кубань сильна казачеством и сельским хозяйством, но этот, скорее всего, из работяг. А лоб-то высок, громадная лбина! И в осанке горделивость, даже вызов.

Ну, это понятно. Студент Литинститута. Не только для своей деревни, для всей Кубани редкость.

Кузнецов уступил мне свою кровать, ночевать ушёл к приятелям.

Колька сказал:

— О нём ещё услышишь. Многих удивит.

Удивил очень даже скоро: сиганул с пятого этажа. Ногу сломал: голов Бог берёг.

Даря мне одну из первых своих книг, Кузнецов написал: «На звезду нашего знакомства». Эта звезда никогда не меркла, но стояла высоко и далеко.

Публикация в «Новом мире» открыла всему Советскому Союзу большого поэта. Нежданного в повальной обывательщине эпохи Брежнева. При Брежневе большевистская идеология свелась к одному правилу — свой тянет своего, но чтоб без дуростей, говори положенное, а живи как можешь. Россия во второй раз в своей истории впадала в грех лицемерия. Первый раз при царе Алексее Михайловиче, когда слово «лицемериться» стало государственной доктриной. В церквах надо было креститься, как велено, — тремя перстами, а дома по-старому — двумя.

В поэзии Юрия Кузнецова ничего чуждого не было, она стояла особняком: не приспособить, не пригладить.

Потом был пленум, где Кузнецова намечали в литгенералы, и

стал бы генералом, не брякни, что Евгений Винокуров и ещё кто-то — поэты никакие.

Государственной премии ему тоже не дали. За язык. За дурь, по мнению степенного серого нашего начальства.

Я уехал в Крым. Доставал книги Кузнецова. Увлёк его могучей поэзией своих детей и товарищей, но своих книг Юрию Поликарповичу не дарил. Он уже в открытую почитал себя за великого, и хотя вроде бы принимал меня в круг избранных, но я великих сторонился. Впрочем, видел в его глазах интерес, да видно потому, что я теперь крымчанин. В Крыму сложил голову его отец, майор Красной Армии.

А годы летели, летели… Николай Прокофьевич Рыжих, рыбак с сейнера, издал «Избранное», уехал жить на родину в село Хлевищи Белгородской области. Встречались мы, однако, по-прежнему в Орехово-Зуеве. Время от времени Колька говорил: «Поеду поразговаривать с Кузнецовым». Меня ему как-то не случилось пригласить с собой.

Рыжих написал замечательные повести о камчатских рыбаках. Конечно, статус в литературе у него был другой, и всё-таки они были похожи. Мужицким нахрапом, который сродни интеллигентскому выкамариванью. Но нахрап от природы, а выкамариванье — от ума. Суть одна: отвоевать себе больше солнца.

В ЦДЛ Колька Рыжих приказывал официантке: «Борща. Две тарелки. Фужер водки». Как же, рыбак среди писателей, человек из моря жизни. Увидев однажды за столом под лестницей в Дубовом зале Михаила Алексеева, главного редактора «Москвы», лауреата, секретаря и прочая, вскочил с криком: «Мишка!» Сграбастал, обнял.

«Мишка» сказал несколько добрых слов о Колькиной повести, а Колька, небось, прислал Мишке посылку с красной самодельной икрой — вот и вся дружба.

Юрий Поликарпович был величав и ломать Ваньку не стал бы, его Ванька несколько иной: «Я пью из черепа отца», о Пушкине, как о ровне, огульное отрицание женской поэзии. Правда, это мнение он изменил в годы перестройки. Женская поэзия нынче намного сильнее «мужской».

2

На юбилейном вечере в Большом зале ЦДЛ Вадим Кожинов, почитавший себя «открывателем» Кузнецова, вновь допущенный ЦК КПСС пророчествовать и выстраивать писателей по рангу,

вынес приговор творчеству юбиляра:

— Мы живём в эпоху Юрия Кузнецова.

Эпоха Пушкина, Некрасова, Блока, Есенина — Маяковского… И вот — Кузнецова… В тот миг счастливого торжества русской поэзии я был согласен с Кожиновым. Но как это ни горько, теперь видишь: своеобразие эпохи Юрия Кузнецова в том, что его поэзии не знают, в народе о Кузнецове слыхом не слыхивали.

Время глухое к великому слову? Маразм обывательщины? Много хуже. Сталин убил в крестьянине дух собственничества и саму личность сеятеля, убил Микулу Селяниновича. Новая власть, вроде бы взявшаяся возродить крестьянство, закончила чёрное дело реформаторов убийством на русской земле деревни. Убила питательную среду русского языка. Убила язык. На нём говорят, но его уже не творят. Он мёртвый.

Кузнецова никогда не будут знать. Он как эпос. Необъятен, вечен, но не пригоден для жизни, где потребление — идеология. Оплывают мозги, жиреет душа. А что может быть безобразнее ожиревшей души! И главное, Кузнецова не запоёшь, как Есенина и Рубцова.

Вадим Кожинов, может, хватил лишку ради красного словца и ради своего имиджа пророка. Эпохи Кузнецова не было, но он был. Его поэзия так же достояние русского гения, как «Слово о полку Игореве», как «Житие протопопа Аввакума»…

3

В 1990 году я пригласил Юрия Поликарповича на учреждение «Общества русских, украинских, белорусских писателей». В Ялту. Декабрь, а в Ялте барвинки зацвели. Опять же проживание в Массандре, на бочке виноградного вина.

Мы ехали в одном купе: моя супруга Лена, я, Олег Тихомиров и Юра. У поэта, в эпоху которого мы жили, болело ухо, и лицом он был серый, хуже скверной туалетной бумаги. Лена ужаснулась, попыталась устроить вкусный обед, но Юра от еды отказался. И тут Олег Тихомиров достал бутылку с какой-то удивительной настойкой. Собирался дать по глоточку, на пробу. Юра могучею рукой завладел бутылкой, и целительная настойка, выпитая до дна, сотворила чудо: ухо великого поэта перестало болеть, он обрёл аппетит и даже разговорился. Вот только весело не стало. В который раз поэзия наша наступила на проклятые грабли, смертоносные.

«Союз русских, украинских, белорусских писателей» был и опережающим шагом. Крымский писатель-философ Анатолий

Домбровский торопился создать духовную опору единства славянских народов. Мы понимали, политические деятели из личных, из националистических целей предадут Советский Союз, предадут великую Россию — Америке служат. Журнал «Брега Тавриды» стал органом писательского братства. Юрий Кузнецов напечатал в журнале несколько больших стихотворных подборок. Не передавая ему номера, я видел: он не нашего графоманского племени, публикация где-то в Крыму — малость мизерная для него. А может быть, так вот они живут, бессмертные.

Всего раз наблюдал я Кузнецова борцом и даже организатором. В Московской секции поэзии в начале перестройки победила русская партия, негласная, разумеется. Другая партия, тоже негласная, не уж очень сплочённая и явная, потеряв привилегированные посты, тотчас подняла бунт — демократы по сути своей разрушители. Союз писателей разорвали на части, по-собачьи. Во главе своры стоял Евгений Евтушенко, вскоре смотавшийся в Америку. По его утверждению, работать. Вот только против кого?

Не долго походил Юрий Поликарпович в руководителях, ушёл в поэзию, слава богу.

В горной впадине речка ревела,
Мощный корень камнями дробя.
Но зелёное дерево въело
Перекатные камни в себя.

Поэзия Юрия Кузнецова «въела» в себя наше время, время утраты великого государства, время поголовного предательства всех идеалов, время нашего противостояния, духовного, сатанизму.

Последнюю книгу, подаренную Кузнецовым, я грешным делом не принял за удачу. Писать о Христе по апокрифам, выдумывать жизнь Бога, его человеческий путь — это же фэнтези. Вроде бы всего достиг? Пора с небом разговоры разговаривать.

Но такова прожитая в поэзии жизнь. Такова. Наше дело — донести всё могучее в слове Юрия Кузнецова до народа, снять его сборники с полок книгохранилищ и доставить в дома, которые теперь в основном квартиры. Дело трудное.

У нас в России бок о бок сосуществуют две культуры. Культура изысков, ведущая к уничтожению образа и, стало быть, божественного в слове. Культура, идеал которой — хаос. Мы эту культуру почему-то именуем западничеством. А ведь истоки этой культуры — Карамзин и Жуковский. Мы почитаем их за создателей русского литературного языка. И вообще литературы в

России. Свадьбы с мертвецами, взятые напрокат в Германии, бедные Лизы… А ведь у нас был Аввакум. В его писаниях жизнь Русская. Невыдуманная, Страшная жизнь, но с Богом в душе. И какое слово! Слово — Творец! Кузнецов — аввакумовского толка поэт. В силе изображения, образности, в силе верности народу, в сути творчества. Оно — частица потока жизни и одновременно птица, летящая над потоком.

Но ведь те, для кого кумирня поэзии — Пастернак и Окуджава (хотя уровень здесь несовместимый, точно так же пели славу одномерному Светлову), Кузнецова не приемлют. Не потому что не ахти какой, а только потому, что «не наш».

И другой лагерь будет отмахиваться от Пастернака. Тоже «не наш».

А жизнь одна. Сколько же будем дурить друг друга? Поэзия, если она поэзия, — это ведь счастье. Усекновенное счастье — как нынешняя Россия, урезанная происками Америки и подлостью «героев» перестройки. Урезанная Россия, урезанная поэзия — обрубки. Боль и лазарет. Но время выписываться из лазарета придёт.

Владислав Анатольевич Бахревский родился 15 августа 1936 года в Воронеже. В 1958 году, окончив Орехово-Зуевский пединститут, уехал в Оренбург. Позже строил Нурек. Автор исторических романов «Аввакум», «Смута», «Ярополк», «Никон», «Василий Шуйский» и других книг.

Николай Дмитриев. Ничего мы не знаем о смерти

17 ноября 2003 года умер поэт Юрий Кузнецов.

Для всех русских людей, не пребывающих в духовной спячке, это имя связано с высшими достижениями современной поэзии, с ожившей в поэтическом слове историей Отчизны.

Немало стихотворений Юрия Кузнецова ещё при жизни поэта стали классикой, вошли в школьные учебники и учебные пособия («Атомная сказка», «Четыреста» и другие), его творчество было удостоено Государственной премии России.

Тем тягостнее было в очередной раз убедиться в полном равнодушии средств массовой информации к взлётам и трагедиям русской духовной жизни. Поэт лежал в гробу, а на телевидении праздновали юбилей Микки-Мауса!

Государство забыло о лауреате Государственной премии! Трудно представить, чтобы комитет по Нобелевским премиям проморгал кончину своего лауреата!

Юрий Кузнецов неоднократно посещал Балашиху, участвовал в культурных мероприятиях города и района. Это мои заметки о последних днях жизни выдающегося поэта ни на что не претендуют. Просто мне кажется, что дорого каждое его слово на этой земле, каждое движение. Это я и постарался воссоздать с документальной точностью.

Три года назад моей семье достался участок земли во Владимирской области, под городом Покровом, в краю озёрном, каменистом, можжевеловом. Там почти весь XX век жила моя бабушка, родились мать, её брат и сестра. Я, можно сказать, вцепился в землю, истосковавшись по деревенской жизни, и живу теперь там с апреля по ноябрь.

Длиннющими осенними вечерами о чём только не мечталось. Например: вот приведу всё в порядок да приглашу друзей-поэтов.

К шашлыку да винному погребку уж наверняка приедут. А потом зародилась и стала мучить мечта совсем уж дерзкая: а заманить бы сюда самого Юрия Кузнецова. Да-да, того, Поликарповича, великого и прекрасного, стихи которого с 1975 года могли в любой момент выгнать меня из дома в темь и жуть. И там, никого не тревожа, читал я их лесам и полям.

Доходило чуть не до галлюцинаций, до ненаучной фантастики. А вдруг выступал в Покрове, припозднился-заблудился и сейчас, продрогший и голодный, войдет в калитку на огонёк.

Чушь, конечно! Может, решиться и пригласить? Или «в малый вентерь рыбаря не заплывает сом?!» Много ещё здесь неустроенности.

И лесные пожары каждое лето заволакивали всю округу серо-синей мглой. И грибы пропали, что для этих мест полное безобразие.

Но вот в лето 2003-е грибы полезли. Да какие! В болоте под соседней деревней Перново я набрёл на островок, где стояла добрая сотня подосиновиков. И это — на площади всего-навсего с гектар. Больше половины — переросшие. Значит, неделю, не меньше здесь не ступала нога человека.

Мчусь в Москву, выпиваю для храбрости сто граммов. Звоню Кузнецову. Так и так. Грибов намного больше грибников.

— А ты не брешешь? В понедельник, сам знаешь, в журнале работаю, во вторник — в Литинституте. А потом можно и съездить.

Ушам не верю. Перед этим жена Кузнецова развеяла надежды: «Юра на подъём тяжёл, так далеко не поедет».

Возвращаюсь в деревню навести порядок, а супругу прошу привезти дорогого гостя.

Уезжаю 23 сентября, а на 26-е жду их.

Ночью выхожу на крыльцо — мороз! Всё в инее. Известный закон сработал, гад такой! Еле дожидаюсь утра — и в лес. Вот они, сотни ярко-розовых волнушек, десятки стеклянных подберёзовиков. Припечёт солнце — и всё это побуреет, почернеет, потечёт чернилами. Ах, ты, горе-горькое! Во мху — там потеплее, там я нахожу кое-что стоящее. Но Кузнецов-то сам захочет набрать. Уж с этой стороны я его знаю хорошо.

В следующие дни в лес не хожу — больно сердцу вспоминать недавнее грибное богатство.

26-го сбывается старый сон: калитка открывается, входит Кузнецов с моей Алиной. Солнце висит на западе уже низко, как говорится, на полдуба.

— Успеем, — говорит Кузнецов. — Чаю попьём и — вперёд. Слышишь: коса косит? — Он показал на настенные часы, секундная стрелка которых и правда производит звук вжикающей косы. — Напиши об этом.

Я вздрагиваю. Перед этим жена привезла мне плащ с капюшоном, я его повесил на гвоздь снаружи бытовки, а ночевал в бане.

В утренних сумерках выхожу, забыв про плащ, и глазам предстаёт такая картина: кто-то заглядывает в окно бытовки и рядом — коса. Рассказал строителям, они хохотали: «Смерть пришла в бытовку, а ты — в бане. Так старухе и надо!»

Идём в лес. Я — понятно, с каким настроением. Вспоминаю разговор грибников, молодого и пожилого. Пожилой: «Я как найду хороший гриб, говорю лесу „спасибо“, иногда поклонюсь даже». Молодой смеётся: «Вот от этого у тебя всего четыре подберёзовика. Пока ты кланялся, я полкорзины набрал. Когда мне ничего не попадается, я лес если не матерю, то стыжу: два года грибов не рожал, а ещё владимирский! Сразу появляются».

Иду вслед Кузнецову и то кланяюсь, то ругаюсь про себя. Должно что-то помочь. И правда! Оказывается, подосиновики приноровились вырастать за день, когда мороза нет. Волнушки и к вечеру не оттаивают, а подосиновики живые, тёплые. Я это воспринимаю как чудо.

Кузнецов ворчит маленько, но кое-что находит и он. Он любит всё огромное, даже грибы. На огороде успел похвалить нашу капусту. У нас один кочан вырос килограммов на десять. Попробовал квашеной, сказал: «Спасибо, детство вспомнил».

Хочу ему напомнить его строки: «Остановись — и сквозь твои подошвы начнут буграми рвать тебя грибы», но вспоминаю, что он не очень любит шуток насчёт своих стихов. Для него поэзия — служение. Последние года два при редких встречах слышал от него постоянное (и многие, многие слышали в свой адрес): «Трудись!».

Возвращаемся в темноте, одичавшей пашней, где не сеют ничего уже лет двенадцать. Дорога рожает туман, наверное, больше прогрелась за день. Кузнецов останавливает меня время от времени: «Слышь, тишина какая? Понял? Ни хрена ты не понял.» (это его частая присказка). Один стихотворец, автор статьи о Кузнецове, жаловался: «Я его в статье гением назвал, а он мне говорит: „Ни хрена ты во мне не понял!“»

— Ты уже привык здесь, пригляделся. А посмотри: в кроне вяза сколько неба! А вот Большая Медведица. У меня с балкона никаких звёзд не видно. Тютчева помнишь: «Душа хотела б быть звездою?» Косноязычно, а как хорошо! Ищи звезду. Понял? Ни хрена ты не понял! Но поймёшь.

На Кузнецова обижаться невозможно, но я играю обиду:

— Что ж вы олигофрена заставляете кандидатский минимум сдавать?

— Сможешь, сможешь. Ищи звезду.

Алина готовит Кузнецову постель в бане (там есть жилая комнатушка и маленький камин). Мы пока гуляем по огороду. Я с удивлением обнаруживаю кругом кузнецовские предметы-символы: вот «плечист и шершав неубранный лес кукурузы», через дорогу, напротив усадьбы, стоит колодец-журавль, единственный уцелевший в деревне («а живые — над ним

пролетали и тревожно кричали вдали. Он смотрел в журавлиные дали и ведро волочил до земли»), вот — чёрные подсолнухи, пусть не в колодце, но — вокруг («Мёртвым светом его охватило, он уже не внимал ничему, только видел ночное светило, присягая на верность — ему»). Очень много было и змей, но лесные пожары их почти вывели.

Кузнецов заглядывает в колодец на огороде, который за четыре дня вырыли три богатыря из Покрова. Два Александра и Юрий. Поставили себе рукотворный памятник на века, обращённый внутрь земли. Там бьют три ключа. Кузнецов, наконец, заключает:

— Бывает глубже, но и этот хорош. Пойду на скамейку, я там ещё не сидел.

Он и правда, обошёл уже почти все уголки. Потом спросит перед отъездом: «Будешь рассказывать, что у тебя Юрий Кузнецов две ночи в бане ночевал?»

— Конечно, буду (почему я это сам не сказал, ведь думал об этом? Почему жалеем добрые слова?)

Когда разжигаем камин, спрашивает:

— Не торопился ты мой «Путь Христа» читать. Боялся?

— Боялся.

— Что плохо напишу? — В голосе Кузнецова зазвенели грозные нотки.

— Нет. А того, что в Христе много Кузнецова будет.

— А без этого нельзя. Все мы в нём какой-то частью. А он в нас. — Кузнецов вдруг улыбается, — чудно, светло, мгновенно преображаясь.

Мы с женой ждём сына с его двоюродным братом. Они должны пригнать личный транспорт для дальнейшей грибной разведки. Позже стало известно, что машина по дороге сломалась. А связи с ними не было. Я держусь, а жена испереживалась: «Дорога опасная!»

Кузнецов возмущается:

— Нельзя думать о плохом. Грех! — И разливает по рюмкам вино. Сам принимает дозу, по размерам гомеопатическую.

Наутро я договариваюсь о машине с соседом, Сибиряком (в деревне у всех клички). Ждём машину.

— Сядь сюда, — командует Кузнецов, указывая на обрезок бруса, — смотри: мой однофамилец. — Перед нами по заиневшей траве скачет поздний кузнечик. И опять Кузнецов озаряется улыбкой.

Насмешить его можно нежданно для себя. Он хохочет над анекдотом, который рассказал мне сосед, друг детства, а тому — пасечник: «Стоит мужик в пустом холодном доме на табуретке,

вешаться хочет. Видит: на грязном полу окурок. „Дай-ка покурю“. Покурил, полез в петлю. Видит: под столом немного водки в бутылке осталось. „Дай-ка выпью перед смертью“. Выпил, влез в петлю, постоял-постоял: „А чегой-то я вешаюсь, когда жизнь налаживаться стала?“». Кузнецов смеётся, а мне вспоминается его раннее стихотворение — «Хозяин рассохшегося дома» — о праве человека на простую земную радость, на жизнь среди пустынного, враждебного человеку космоса.

Сибиряк отвёз нас за десять километров, в совсем глухой лес. Он собрался со своей родственницей за клюквой, а не за грибами. Договариваемся встретиться через час, но через час заблудились и они, и мы. Мы всё же намного раньше выбрались к машине.

Кузнецов собирает на поляне отходы цивилизации, поджигает:

— Цивилизация пошла на пользу больше всего воронам и тараканам. — Ворон он ненавидит всерьёз.

— А правда, что в тютчевском Овстуге столько ворон?

— Да! Старикам их старики говорили, что так всегда было: гроздьями висели и орали. Ненавижу их.

Заблудившихся мы, наконец, выкликали из болотной чащи.

— Что ж вы так долго? — пеняю им.

Но Сибиряк — тот ещё остряк:

— Ну, знаешь, тут в туалет иногда идёшь и думаешь, что скоро вернёшься, а получается долго. А это — клюква.

Острит. Правда, смущённо.

На обратном пути Кузнецов просит остановиться у магазина, берёт бутылку коньяка и арбуз. Арбуз выбирает долго, со знанием дела, напомнив между прочим, что он — человек южный.

Продукт природы оказался недозрелым, и мне даже стало жалко великого поэта — он приуныл, как ребёнок.

Нас нещадно трясёт на ухабах.

— Вот меня всего перетряхнёт, и я из большого Кузнецова стану маленьким Дмитриевым.

Я спокойно проглатываю это, только вечером, у того же камина, напоминаю Кузнецову о его стихотворении «Воробей»:

— Воробей не может нести в клюве зерно. Только насекомое какое-нибудь. Потом, он не украл, а взял своё. К тому же он ничего не успел понять, перейдя в небытие, а человек и ветровое стекло вытер, и стихотворение сочинил о собственной гордыне.

Кузнецов внимательно слушает:

— Я этому стихотворению не придаю значения. Написалось и написалось. Здесь главное: я — и другой!

— А представьте: воробей сбивает «Боинг», набитый человеческой гордыней!

Кузнецову такой поворот явно нравится — опять добрая, непередаваемая по красоте улыбка:

— Ладно, ты чужое не додумывай…

* * *

А мне и это его стихотворение нравится. И истоки того, что кто-то где-то назвал у него гигантоманией, мне кажется, кроются в подвиге его отца, по которому поэт всю жизнь сверял свои главные поступки.

Возвращаемся на электричке «Москва — Петушки».

— Читали эту повесть?

— Читал. Там реалии всё-таки устарели. Сдача посуды, например, — спокойно отвечает Кузнецов. Я мог бы возразить, что посуду и сейчас сдают, да вижу, что ему этот разговор неинтересен.

* * *

Проезжаем Павловский Посад.

— А здесь Штирлиц жил, — говорю (актёр Тихонов).

— Здесь жил Василий Казанцев!

— И Олег Чухонцев.

— Ну и он…

Провожаю Кузнецова до его дома. Вдруг пластиковый пакет у меня рвётся, и банка с отварными грибами (стеклянная!) падает на асфальт с высоты не менее полуметра и… не разбивается!

Мы пробираемся среди городского шума и гама. А он так радовался тишине! Знал бы кто, что не пройдёт и двух месяцев, как он уйдёт в такую тишину, которая никому из живых не снилась.

Он ни на что не жаловался, лишь проходя восьмисотметровый просёлок до шоссе, остановился и минут пять стоял, без возражения отдав нетяжёлую поклажу. Тогда я понял, что зря мы ходили по горелому болоту, по лесному бурелому.

Помню, когда прочитал его строки: «Ничего мы не знаем о смерти», я испугался. Если Кузнецов не знает — кто же тогда может знать?

Пишу эти совсем незамысловатые воспоминания, скорее всего, чтобы не запамятовать то, что говорил Кузнецов — и мудрец, и простая душа одновременно. Мир сейчас опустел для всех, кто любит свою не очень счастливую Отчизну. Они рассеяны

по лику родной земли, и их голос плохо слышен.

По телевизору и в эти дни — дни чёрные, кривляются, пошлят, лечатся от ожирения живые мертвецы. Но Кузнецов назвал «мешком нытья» беспрерывный и бесполезный «критический реализм», и мне продолжать ругать «телеящик Пандоры» уже неинтересно.

«Когда умру, с моим исчезновеньем мир рухнет в ад и станет привиденьем». Не станет, потому что великий русский поэт Юрий Кузнецов не исчезнет.

Николай Фёдорович Дмитриев родился 25 января 1953 года в Подмосковье. В 1973 году окончил Орехово-Зуевский пединститут. Автор поэтических сборников «Я — от мира сего», «О самом-самом», «С тобой», «Тьма живая», «Между явью и сном», «Ночные соловьи» и других книг. Скончался 13 мая 2005 года в Балашихе.

Елена Ермилова. Придите на цветы взглянуть

Это лёгкий образ рая…

(А. Блок)

И долго озирался я кругом,
И всюду открывалась мне дорога,
Ведущая в обетованный Дом,
Где вещи мира источают Бога.

(Ю. Кузнецов)

Сразу хочу пояснить, что речь не пойдёт о незаконченной поэме Кузнецова «Рай»; в ярких начальных строфах поэмы самого «Рая» нет ещё: есть рассказ о движении, трудном пути («Плач покаяния есть возвращение в Рай») и чуть намеченный просвет: «Всё засияло. Мы стали в пространстве другом». Но у Кузнецова — особенно в поздней лирике — есть удивительные стихи, к которым и хочется отнести вынесенную в эпиграф блоковскую строчку: «лёгкий образ рая» — отсвет, отблеск небесного сияния на вещах земных.

С начала до конца в поэзии Кузнецова отчётливо прослеживается идея связи: связь поколений, связь времён, связь земного и небесного, поэта и его народа. На этой, последней — вечной, наверно, в русской культуре теме «Поэт и народ» — следует остановиться чуть подробнее: очень уж любили наши критики писать об индивидуализме и гордыне Кузнецова. Мы со школьной скамьи знаем, какой это важный момент в самоопределении русского поэта:

И неподкупный голос мой
Был эхо русского народа.

(А. Пушкин)

Я призван был воспеть твои страданья,

Терпеньем изумляющий народ.

(Н. Некрасов)

Именно «призван», потому что это как бы уже и не вполне зависит от сознательного выбора и воли поэта: это призвание, поручение, задание. Попробуем внимательнее прислушаться к разъяснениям самого Кузнецова: «Я родился в прозаический XX век… И в нём оказался только один богатырь — русский народ. Но это богатырь, так сказать, рассредоточенный. Его нужно было сфокусировать в слове, что я и сделал. Человек в моих стихах равен народу» (здесь нет гордыни, ведь не только с величием народа соединяет себя поэт, но и с моментами его тяжелейшего духовного распада: «Я уже не поэт, я безглавый народ»).

У Кузнецова своё видение «призванности»: когда «враги и друзья ударили в сердце народа» — они попадают в поэта:

Над бездной у самого края
Шагает от ветра народ.
В нём рана зияет сквозная,
И рана от ветра поёт.

«Неподкупный голос» народа — теперь же открытая рана, которая поёт «от ветра», — то есть ненамеренно, как бы сама собой.

Может быть, не случайно так вышло, что во время армейской службы Кузнецов был связистом. И уже точно неслучайно в его поэзии возникает образ «связиста»: именно бывший связист передаёт нашим поколениям наказ «отцов»: «Спасите наши имена! Спасите наши времена!.. Одни вы — не спасётесь!» (стихотворение так и называется — «Связь»). Другой связист (из «Сталинградской хроники», 1995 г.), который замыкает своим телом оборванную связь полка, предстаёт для поэта высоким символом: в восстановлении разорванной связи горнего и дольного он видит высший смысл и назначение своей поэзии:

Был бы я благодарен судьбе,
Если б вольною волей поэта
Я сумел два разорванных света:
Тот и этот — замкнуть на себе.

Может быть, в этом и есть призвание поэзии вообще и высшее

достижение поэта: восстановить «связь», не дать угаснуть отсвету небесного в вещах земных. Это ставили сознательной целью символисты, но, видимо, у каждого подлинного поэта живёт тревога об омертвении, остывании земного, лишённого «подпитки» «высших смыслов». Эта тревога пронизывает поэзию Рубцова:

Боюсь я, боюсь я, как вольная сильная птица,
Разбить свои крылья и больше не видеть чудес.
Боюсь, что над нами не будет таинственной силы,
Что, выплыв на лодке, повсюду достану шестом,
Что, всё понимая, без грусти пойду до могилы…

Если «над нами» не будет «таинственной силы», под нами — земной глубины, тогда остаётся «всё понимая, без грусти» брести в обессмысленном мире (ужас бездуховного «понимания» перекликается с «улыбкой познанья» кузнецовского «дурака», разъявшего тайну («Атомная сказка»).

Поэтому так притягателен для Рубцова образ Дионисия, узревшего «что-то Божье в земной красоте».

Общее для многих поэтов чувство «связи» у Кузнецова усугубляется его особой — глубокой и упорной — верой в поэтическое слово, в его право и власть, в том числе в реальность победы слова над злом («Всех затворил словами крепче замков и тут, Вот они, на бумаге, вот они, тут как тут!»). Рыцарской защите поэзии, её права и правоты, посвящено одно из самых последних стихотворений Кузнецова «Поэт и монах». «Монах» категорически утверждает изначальную греховность искусства («Искусство — смрадный грех»), «Поэт» вступает в спор, имея на своей стороне всё то же чувство «связи», отражение небесного в земном:

Но Богу дорог каждый злак,
Ведь каждый злак — улыбка Бога.

Отрицая «осязательность», монах, по мнению поэта, отвергает Боговоплощенье. Впрочем, Кузнецов в каком-то смысле снимает глубокую, сущностную антиномию: монах-то оказывается в конце концов и не монах вовсе, а скорее некая бесовская сила, и расточается в прах при имени Христа, «…и ходит страшным ходуном свистящий прах перед поэтом».

Нужно внимательно всмотреться в творческий путь Кузнецова, чтобы ясной стала закономерность его итога — того глубочайшего открытия, которое и позволило поэту решиться на

подвиг, — поэму о Христе. В поэме и в ряде поздних стихотворений явственно ощущается глубокая потрясённость человека своим личным открытием, как итогом трудного пути. Отсюда настойчивость его призыва и право на него:

Полюбите живого Христа,
Что ходил по росе
И сидел у ночного костра,
Освященный как все.
А без этого —
Ваша вера суха и темна,
Вы разрыв, а не связь.

Мотив «связи» настойчиво возникает на всём протяжении его творчества.

Соотнесённость земного и небесного чаще воплощается в трагические чувства: «Это снова небесная битва отразилась на русской земле» (93-й год). И подвиг солдата как бы совершается одновременно в двух планах:

Там, на небе, меж злом и добром
Дух твой светлый рванул напролом
На мятежное вражье светило.
А на нашей на грешной земле
Твоё тело внизу на земле
Тот небесный рывок повторило.

Один из любимых образов-символов Кузнецова — «вздох» — по сути тоже образ «связи»:

Все вздохи и стоны возносятся к Богу,
Все вздохи и стоны твои.

В стихотворении-притче «Молитва» умирает последний старец, от него остаётся только вздох, но «как прежде, молится сей вздох сквозь дождь и снег».

Мотив «покаяния» усиливается в поздних стихах Кузнецова («Стыд и скорбь моего окаянства / Стали тягче небес и земли») и его покаянный вздох следует тем же общим путём:

Покаяния вздох покидает
Эту землю для горних высот,

Где, быть может, архангел поймает
И до Бога его донесёт.

(Собственный «вздох» поэт позволяет себе сопроводить лёгким оттенком шутки.)

Нельзя не заметить в некоторых поздних стихах Кузнецова сгущающуюся смертную тень. А вместе с тем — всё отчётливей проступает образ светлой печали — уже как бы за гранью и природных бурь, и гражданских битв, а если воспользоваться его замечательным образом-оксюмороном — «после вечного боя» (название одного из его сборников). Это как бы просветление «по ту сторону боли» (так определял Б. Поплавский общую ноту поэтов своего крута): это не значит, что боль изжита и преодолена, она продолжает жить в душе и обостряет чувство подлинного, «должного» бытия, «где вещи мира источают Бога».

Взгляд поэта медлит, останавливается на самом хрупком и преходящем в земной красоте — на цветах и юности. Поэт как будто выполняет обещание, данное раньше: «И легко и звонко запою», он создаёт свою сказку, а это, в сущности, просто мир,

Где веют прекрасные лица,
И платья метут по цветам.

Поэт не придумывает свой «рай на земле», но, стирая наслоения, восстанавливает подлинную красоту мира. Этот «лёгкий образ рая» просвечивает в стихотворениях «След человека», «Косынка», «Девичий смех», «То не лето красное горит», «У рубежа», «Пыль солнца земля отряхает», «Узоры» и др.

У Кузнецова есть чудесное (по-моему, лучшее из поздних) стихотворение «Анюта» с таким эпиграфом:

Придите на цветы взглянуть,
Всего одна минута!
Приколет розу вам на грудь
Цветочница Анюта.

Забытая песенка.

* * *

Это самое печальное и самое светлое стихотворение — из тех,

что создаются «по ту сторону боли», «после вечного боя». Здесь «память смертная» овеяна чистым и лёгким светом случайного и таинственного женского образа: «Где она, весёлая Анюта? Я и не видел никогда». Жизнь даёт только знаки её присутствия («Это не Анютины ли глазки / В чистом поле смотрят на меня?»), а встреча с ней происходит уже по ту сторону жизни:

Я лежу, усыпанный цветами,
Запах розы издали ловлю:
Он сулит мне скорое свиданье
С той, кого не ведая, люблю.

Песенка возвращается в конце, замыкая круг:

Придите на цветы взглянуть,
Всего одна минута!

Только теперь:

Положит розу мне на грудь
Та самая Анюта.

Вечная женственность? «Донна Анна в смертный час твой встанет»? — Да, в облике юной девушки из русского городского фольклора, конечно, — «Та самая Анюта»!

Особняком стоит маленькая поэма «Красный сад». Где-то «за тридевять земель» существует этот сад. «И творит певучие молитвы / Тихий хор его благоуханий».

Здесь именно и только цветы — герои поэмы.

Тот, кто хорошо помнит общий тревожный и суровый колорит большинства его стихотворений, царившие в них резкие звуки и образы, будет поражён тем, как мог поэт с таким пристальным вниманием и с таким умилённым восторгом разглядеть душу каждого цветка в этом таинственном саду: каждый из них неповторимо своеобразный, особенный, а вместе они — как самое прекрасное, что даёт земля, — обращены к небу и получают его отклик.

Боголюбно лилия сияет
Среди роз таинственных и разных.
Белый столп сияния восходит
Прямо в купол вечного сиянья

И сливается с дыханьем Божьим.
Всё сияет: ангелы и звёзды,
И деревья, и кусты, и травы.
Все цветы, как ангелы, сияют,
И сиянье это несказанно!
Всё благоухает: близость Бога
И тепло Его прикосновений,
И благоуханье несказанно!

«Красный сад» служит прообразом Райского сада, как бы возмещая незавершённость начатой Кузнецовым поэмы «Рай».

Думаю, что это большая радость для читателя, что с нами остался вот этот Кузнецов, человек, остановленный «таинственной силой» у самого края бездны — бездны отчаянья — и сумевший на этой грани так воспеть хвалу миру и его Создателю.

Елена Владимировна Ермилова родилась 22 марта 1934 года в Москве. В 1956 году окончила МГУ. В 1959 году защитила кандидатскую диссертацию. В 1989 году выпустила книгу «Теория и образный мир русского символизма».

Мамед Исмаил. И верный путь во мгле

Светлой памяти большого русского поэта Юрия Кузнецова.

Я не поверил своим глазам, это было немыслимо, невозможно. Слёзы душили меня. Дочь моя Пользар всего месяц назад гостила у них в Москве. И сам Юрий Кузнецов, и спутница жизни его Фатима-ханум встретили-приветили гостью выше всех моих лучших ожиданий. Они проговорили о том очень далеко за полночь. Пользар, видевшая Юрия у нас в Баку ещё малолеткой, после московской встречи взахлёб рассказывала о своих впечатлениях: «Как же может один человек излучать столько положительной энергии! Слушаешь его — не наслушаешься! И каждая фраза как открытие, откровение, опрокидывающее всё и вся. Словно ему нисходит внушение свыше, и всё это происходит у тебя на глазах…»

Моя дочь повторяла мне то, что я знал. Действительно, общение с ним заряжало всё твоё существо внутренней энергией. Невольно мне вспомнилась наша последняя встреча с ним в девяносто девятом году, в Москве, когда я направлялся на 200-летний юбилей Пушкина. Он выглядел таким бодрым… Правда, тогдашнее состояние России очень тревожило его. Вообще, судьба Отечества, оказавшегося в руках загребущих, проходит через его поэзию пронзительно-свербящей нотой. О злокозненных играх, учинявшихся над Россией, можно догадаться по его стихам, но для этого надо постичь сокровенный душевный код его поэтического языка.

Несколько дней кряду я не удосуживался прослеживать Интернет. Когда время от времени я «наведывался» в сайты, обязательно «посещал» и Юрия Кузнецова, — что у него нового, где что опубликовал, какая книга увидела свет, кто и что о нём пишет. На сей раз, глянув на дисплей, я обмер. При виде некролога в «Литгазете», подписанного ведущими писателями России — В. Распутиным, В. Беловым, Е. Исаевым, Г. Горбовским, Ст. Куняевым, А. Прохановым, В. Крупиным и другими, — я не поверил глазам своим. «…Сегодня Россия прощается со своим величайшим сыном и гражданином, поэтом Юрием Кузнецовым…» «Однажды в свой черёд умрём, оставив в память весть о смерти…»

Говорили, что, похоронив мать, он часто вспоминал тютчевские слова: «На роковом стою черёде»… Пришёл и ему черёд. Он покинул мир спящим, тихо и неслышно. И в эти тяжкие

для меня минуты я почему-то чаще вспоминал не последнюю встречу, а первую. Ибо та, первая, была необыкновенной встречей. Быть может, предначертанной провидением, и всё началось с той самой встречи. И в памяти всплыли одно за другим видения двадцатипятилетней — от первого знакомства до прощального визита — дружбы, отрадные и горестные.

С детства у меня возникло ощущение: то, что приходит мне на ум, часто происходит со мною и в жизни. Порой неожиданно мной овладевает какое-то наитие, предчувствие, и я проникаюсь верой в то, что это мечтательное предвосхищение обязательно сбудется. По сути, стремление к мечте и достижение её — это и есть счастье.

В 1973 году я отправился в Москву на Высшие литературные курсы. Друзей, пришедших провожать меня и малость сетовавших на мой выбор (а как же семья, дети?), я оптимистически заверял: мол, еду не из прихоти, вот увидите, какие горы сворочу… В те времена у всех на слуху были Е. Евтушенко, А. Вознесенский, Р. Рождественский. Я, хоть не заикался об этом, строил иллюзии насчёт своих стихов, озвученных на русском языке этими знаменитостями. Но при всем при том мои замашки можно было прочувствовать по самоуверенно «растеньяковским» заявлениям: «Я покорю Москву». «Поживём — увидим», — усмехались в усы друзья, привыкшие к моей наивной вере в благосклонность Фортуны.

Первая встреча…

В нашей группе на курсах собралось сорок человек из разных республик — Туркмении, Узбекистана, Казахстана, Киргизии, Башкирии, Татарстана и других регионов, известные писатели, не имевшие литературного образования. Я оказался самым молодым среди них.

Многие представляли тюркский мир, но немногие имели представление о тюркстве.

Но был среди них один человек, которого вспоминаю с благоговением и почтением: большой карачаевский поэт, незабвенный Муса Батчаев, переживший горечь ссылки, хлебнувший лиха в студёной Сибири и казахстанских степях и вернувшийся на родину года три-четыре назад. Мне повезло, что судьба свела меня с Мусой на курсах. Русский язык он знал не хуже родного. Но родной карачаевский — язык малочисленного народа — был для него самым красивым языком на свете. Муса, может, после мытарств ссылки, осознавал, сколь большое

духовное пространство тюркского слова открывается за родной речью, являющейся частью этого пространства. И вот в достославной славянской столице Москве сошлись пути-дороги двух ревнителей тюркского мира. Денно и нощно разговоры велись об этом заветном родстве и общности. Я посещал семинары по поэзии, Муса ходил на прозу. Жанры «разлучали» нас лишь на день, остальное время проводили вместе. Получилось так, что и наши комнаты в общежитии были напротив друг друга, дверь в дверь.

Не случайно, что Муса стал связующим звеном в моих заметках о Юрии Кузнецове. На исходе моего второго «московского» месяца, как-то вечером в коридоре общежития я повстречался с двумя посетителями, один был моих лет, другой — постарше. Спрашивали Мусу. А мы стоим напротив его дверей. Кажется, гости были «навеселе». «Он ещё не вернулся», — сказал я. Они нехотя повернулись и поплелись по коридору, будто некая сила пыталась удержать их. (Может, этой силой было мое безотчётное нежелание расставаться с ними?!). Уловив их колебания, я воодушевился: «Друзья Мусы — и мои друзья. Милости прошу ко мне. Посидим. Подождёте. Муса, где бы ни был, должен прийти».

И… мы проговорили до поздней ночи… Собеседник помоложе показал на своего спутника: «Наверно, многажды слышал его имя: критик-философ Вадим Кожинов». Я кивнул, хотя это имя мне тогда ничего не говорило.

Впоследствии я узнаю о «раскрученных» авторах, издающихся миллионными тиражами, увенчанных незаслуженными лаврами, за которыми стоят не их таланты, а связи в высоких кабинетах и кумовство…

Правду Вадима Кожинова мне предстояло постичь позднее.

В той беседе он, в свою очередь, представил своего спутника, правда, в немногих словах: «Поэтическая звезда России». Я предположил, что к скупости этих характеристик причастно выпитое.

Внешность у обоих была неординарна. Не будь они под шафе, я бы уподобил их вещим дервишам из старинных дастанов, возвращавшим больным здоровье, отчаявшимся — надежду. Но и тогда я сердцем почувствовал, что, кто бы ни были эти люди, они неспроста встретились мне, и в этой, казалось бы, случайной встрече есть некое знамение, перст судьбы. Естественно, я тоже, в меру поворотливости своего русского языка, представился им. Муса так и не появился. Убедившись, что ждать бесполезно, гости на ночь глядя исчезли так же неожиданно, как и появились. Я проводил их до стоянки такси. Сели в машину и истаяли в

заснеженной Москве.

Наутро на занятиях, встретившись с Мусой, я рассказал о визитёрах.

— Везучий ты человек, — отреагировал Муса. — Вот тот, который Юра, — из соседних с нашим краёв — с Кубани. Очень серьёзный поэт. Я-то оставил поэзию, но тебе в будущем знакомство с таким поэтом пойдёт впрок… А Вадим Кожинов — это становой хребет русской литературной критики. Не прерывай с ними связей, помни, что в любой случайности есть необходимость, и их приход, знакомство с тобой — не преходящий казус.

Естественно, я верил словам Мусы, но мне показалось на миг, что искать нечто судьбоносное во встрече с людьми, о которых я не слыхивал, — несколько наивно. Не прошло и нескольких дней, как в «Литгазете» начались дискуссии по поводу книги Юрия Кузнецова «Во мне и рядом даль». Чуть ли не первые полосы отводились критическому разбору и откликам.

Иных критиков выводило из себя стихотворение, начинающееся такими строками:

Я пыл из черепа отца
За правду на земле,
За сказку русского лица
И верный путь во мгле.

Критики середины семидесятых годов ломали копья и голову, пытаясь понять нравственную направленность, заряд этого стихотворения. Были и публикации в защиту Юрия. По мнению Евгения Рейна, в строке «Я пил из черепа отца», в своё время ставшей мишенью критики, — не позор, не эпатаж, а гениальная метафора. «Осиное гнездо» разворошила статья Вадима Кожинова. Это ломание копий продолжалось битый год. Евтушенко даже посетовал в кругу друзей, мол, столько статей не посвящалось нашим шестидесятникам, вместе взятым. Впоследствии Евтушенко составит перечень поэтов — служителей Аполлона. В этот перечень он включит, помимо себя, Кушнера и Бродского, а затем — «представителя патриотического лагеря» Кузнецова. И, таким образом, в моём представлении обозначатся портреты Евгения Евтушенко, с которым я чаял познакомиться, и Юрия Кузнецова, поэта милостью Божьей, с которым меня свела судьба. Ответ Кузнецова можно было предвидеть: «Звать меня Кузнецов. Я один. Остальные — обман и подделка». Придирчивый взгляд усмотрит в этих словах эгоцентрическую позу. Но кому дано знать меру внутренней убеждённости и искренности поэта?

Как ни хотелось литературным оппонентам, но Юрий Кузнецов вскоре выдвинулся в ряды известнейших поэтов тогдашней страны. Руководителем отделения поэзии ВПК был признанный и почитаемый Александр Межиров. Один день на неделе посвящался обсуждению стихов. На последних порах во время семинаров всё чаще звучало имя Ю. Кузнецова. После долгих просьб слушателей курсов Межирову удалось уговорить Юрия Кузнецова прийти на встречу с нами. Хотя многим из нас он приходился ровесником, он с первых минут дал почувствовать, что не является «членом коллектива». Смолоду отличавшая его уверенная манера держаться, даже чуток самоуверенная, будет сопутствовать ему до конца жизни. Он был незауряден и осознавал эту незаурядность. Юрий Кузнецов отличался не только своей тяжеловесной угловатостью, весь его облик, упрямо сжатые губы, жёсткий проницательный взгляд говорили об этой отличительности. Как заметил Валентин Распутин, есть очень редко встречаемые лица, чьи черты напоминают как бы обобщённый образ внутреннего состояния, настроения, покоя или болезненности, и мы невольно сопоставляем себя с ним. Об этих людях говорят: «У него одно лицо, и это лицо — зеркало его жизни». Действительно, у Юрия Кузнецова было необычное, неповторимое лицо. Лицо ведуна, явившегося из степного предгорья, цепкий взгляд, видящий, кажется, насквозь, редко встречающаяся печать одухотворённости, провидческой гениальности, орлиными крылами сходящиеся, но не смыкающиеся брови, и с переносицы круто взлетающая по просторному челу морщина, проницательные голубые, заглядывающие в душу глаза… И божественная гармония внешнего облика и внутреннего существа… Невидимая работа мысли, тлеющая лирическая эмоция… Казалось, его «лирическая лаборатория, где не было признаков жизни и смерти, заперта снаружи амбарным замком его сжатых губ». Всё это являло вещие знаки, показывающие отличие представшего вам от вас, смертных людей… Бывало, в разговоре хмурил брови и в раздумчивых паузах разминал горло. Люди тянулись к нему по воле неведомой силы, многие могли только мечтать об общении с ним. Была в этой его притягательности некая непостижимая энергия, стоявшая за пределами чисто поэтической харизмы…

Его суждения, исторические познания, мифологическое мироощущение, доведённые до слушателей ВЛК, подтверждали неординарность его как художника-мыслителя. По завершении встречи к нему, как мухи на мёд, устремились слушатели, обступили гурьбой. Однако он, не изъявляя желания продолжить общение с аудиторией, обратился ко мне: «Мамедик, пойдём». И,

взяв меня под руку, повёл к Тверскому бульвару, повергнув в замешательство моих коллег, да и меня самого.

Ведь я был, пожалуй, самым пассивным участником этой встречи. Очевидно, причиной оказанной мне чести был наш единственный разговор двух-трёхмесячной давности в общежитии, обнаруживший какие-то точки соприкосновения. Между тем, я не ожидал, что могу запомниться этому, уже знаменитому человеку. И вот, поди же, шествуем оба-два, рядом, как старые знакомцы. «Брось это всё, — сказал он. — Бессмысленные вещи. Пойдём-ка, отведём душу…» И это отведение души длилось чуть ли не до рассвета. Расставаясь, обменялись телефонными номерами и изредка названивали друг другу, справлялись о делах, о самочувствии; чаще я, иногда он.

Юрий Кузнецов с тех времён действительно был в центре всеобщего внимания. Многие поэты нуждались в его духовной индукции, — как магнит не может проявить свои качества без соприкосновения с железом, так и они — без него. При всей молодости, он ворвался в поэзию как буря, со своим кредо, голосом, почерком; он вовлёк в сферу своей гравитации не только одногодков, но и поэтов постарше. Даже стихи у многих тех, кто нынче в Азербайджане ходит в поэтах-новаторах, при внимательном прочтении обнаруживают знакомые следы кузнецовских «Тридцати лет» и «Зеркала»…

После встречи с ним в нашем общежитии произошло трагическое событие: в своей комнате покончил с собой слушатель ВЛК, учившийся с нами на одном курсе, на одном семинаре, тёзка и однофамилец именитого поэта — Юрий Кузнецов-Курутов… Трудно судить о мотивах этого самоубийства. Но, думается, в этом роковом решении сыграло свою роль отчаянное сознание невозможности тягаться с недосягаемым и знаменитым тёзкой и однофамильцем.

Божья длань

В «Молодой гвардии» готовится к изданию мой второй сборник. Рукопись получила положительную рецензию. После публикации части этих стихов в журнале «Молодая гвардия», одобрительного отзыва Ал. Михайлова в «Литературной газете» рукопись дали на перевод поэту, не очень компетентному в переводческом деле. После озвучания стихов на русском языке рецензировали переводную рукопись. Рецензент расточал похвалы переводчику, и создавалось впечатление, что всеми достоинствами будущая книга обязана только ему. Между тем

книга была включена в план на основе представленного подстрочного перевода. Рецензию прислали мне в Баку. По прочтении переводов, обнаружив, что они не имеют ничего общего с подлинником, я отправился в Москву. Встретились с тогдашним завотделом издательства поэтом Вадимом Кузнецовым. Вернул ему переводы: «Эта книга не моя, а переводчика. Если хотите издать, напечатайте под его именем. Я не хочу издания *такой* моей книги». Вадим Кузнецов реагировал раздражённо: «Поэты из Азербайджана приезжают бить челом, чтобы издать книгу, из кожи лезут вон, чтоб напечататься хоть в альманахах; мы вот издаём твою вторую книгу, а ты артачишься. Раз так, тогда в этом издательстве впредь твои книги не будут издаваться». «Мне не нужны одолжения, — ответил я, — я хочу быть представленным русскому читателю, как есть».

Завотделом, не ожидавший такого ответа, убавил тон: «Ладно, кого ты хочешь видеть переводчиком своих стихов? Но, если кто-то возьмётся за это дело, должен выполнить работу за месяц-другой. Мы тоже хотим, чтобы у тебя вышла добротная книга».

Я хоть и не был готов к такому предложению, что-то подтолкнуло меня: «Назови Юрия Кузнецова». Ответ удивил заведующего отделом: «Но он ведь ничего не переводит. Возьмётся ли? Если и вправду согласится, дайте нам знать».

Выйдя из издательства, я позвонил Юрию и объяснил ситуацию. (Естественно, пока не заикнулся о своём желании, чтобы он взялся за перевод моих стихов.)

«Может, тебе так кажется, — проговорил он. — Те переводы, может, и не слабые? Я завтра схожу в „Молодую гвардию“, возьму, погляжу, а после поговорим».

Позвонив через пару дней ему, я услышал: «Это же убожество! Хорошо, что ты не согласился, а то был бы стыд и срам. Но не тужи. Я забрал в издательстве и твои подстрочники, хороших стихов множество. Постараюсь перевести их за два-три месяца. — И он повторил излюбленную, по-державински мудрую строку, как всегда при трудных обстоятельствах: „За успех безнадёжного дела“…»

Я воспрянул духом. Я знал, скольким титулованным нерусским поэтам он возвращал рукописи. А теперь, без просьбы с моей стороны, он взвалил на себя такое тяжкое бремя. Это была милость судьбы.

Ту книгу Юрий перевёл не за три-четыре, а за восемь-девять месяцев — вместе с поэтом Володей Бояриновым. Должен заметить, что Кузнецов, как правило, не занимался переводом, а если брался, то превращал перевод в факт русского

литературного языка, то есть эти переводы читались как оригинальные стихи…

И мне предстояло испытать ещё одну радость — за ту книгу (которая выйдет в свет) получить премию имени Н. Островского на конкурсе, в котором примут участие 430 авторов. Если б я ради издания книги смирился с неудачными переводами, наверняка не отличился бы и на следующем конкурсе. Наш Союз писателей Азербайджана и республиканский комсомол представили на этот конкурс мой «совписовский» сборник «Зёрна спелого граната» (представленный и на соискание республиканской премии комсомола). Позднее мне стало известно, что некоторые литературные вершители судеб убрали меня из числа претендентов на республиканскую комсомольскую премию ради угодного им человека. Расчёт был прост: если в Москве не премируют, скажут: с какой стати нам включать его в соискатели, а в случае, если получит, то книгу вычеркнут под предлогом, что две премии для неё будет многовато…

Но судьба распорядилась иначе. Когда объявили результаты всесоюзного конкурса, там в списке победителей я увидел вместо «Зёрен…» название ещё не вышедшей «Пашни над морем». Отправившись на церемонию вручения в Москву, я узнаю, что, когда жюри решило отметить меня премией, генеральный директор «Молодой гвардии» заменил мою «совписовскую» книгу на «молодогвардейскую», — во-первых, из ведомственного патриотизма, во-вторых, в переводчиках этой книги значился такой известный к тому времени поэт, как Юрий Кузнецов. Это, так сказать, земные причины, а по сути мне видится во всём перст судьбы, Божья воля.

Когда Аргентина стала чемпионом мира по футболу, решающий мяч в ворота англичан закатил Марадона, и все видели, что он подыграл себе рукой. Все, кроме судьи, засчитавшего гол, забитый рукой… Впоследствии Марадона отвечал на упрёки: «Это была не моя, а Божья рука…»

«Тень Низами»

…И таким образом наши пути с Юрием Кузнецовым стали перекрещиваться на различных этапах и изломах жизни.

После окончания ВЛК я каждую зиму проводил отпуск в подмосковных Домах творчества и получал возможность вдосталь пообщаться с Юрием Кузнецовым. Юрий Кузнецов, до мозга костей русский человек, с юности был связан и с тюркским миром. Родился он в роковом 1941 году на кубанской земле, у

северокавказского приграничья. Рос, вбирая в глаза и душу видения увитых туманами гор, ослепительными клиньями пронзающих небо, и манящих, и грозных; и необъятную пьянящую степную ширь, летящую за горизонт, как удалая казацкая песня… Эти два измерения, два вектора зрения обозначат его будущую поэтическую судьбу. Вообще Кавказ играл значимую роль в жизни великих русских поэтов, в пристрастиях «всемирно отзывчивой русской души…»:

Издревле русский наш Парнас
Манило к незнакомым странам.
И только ты один, Кавказ,
Звенел загадочным туманом…

Пушкин, Лермонтов, Есенин, Маяковский… и в наши дни — Кузнецов… Случаен ли этот пристальный интерес? Это свидетельство длящегося на протяжении истории взаимовлияния Руси и Поля, Азии и славянства. Как говорилось в прощальном слове, подписанном ведущими творцами русской литературы, Юрий Кузнецов «соединил в своём творчестве необъятные просторы Востока и Запада, вывел на свет недосягаемые пласты истории. Он беседовал с великими тенями минувших эпох как равноправный пассажир одного поезда. Его собеседниками были Кант, Паскаль, Шекспир, Данте, Низами…» Имя мудреца из Гянджи произнесено в этом высоком ряду не случайно, — одно из своих самых знаковых и значимых стихотворений Юрий Кузнецов посвятил нашему устаду: «Тень Низами». И, читая его, я возвращаюсь памятью в восьмидесятые годы минувшего века. В 1981 году в Азербайджане шла подготовка к 840-летнему юбилею со дня рождения Низами Гянджеви. На торжества приглашались мастера слова из разных союзных республик и стран мира. Считая, что в ряду приглашённых вполне мог занять достойное место и Юрий Кузнецов, я обратился к соответствующим чиновным лицам. Говоря по правде, столоначальники, не видевшие дальше своего носа, не хотели включать его в список гостей, отдавая предпочтение тем, кто был в фаворе и облечён «полезными» для них литературными полномочиями. Они не хотели уразуметь, сколь значимо участие в юбилее такого гениального художника-мыслителя России, как Кузнецов. Сам Кузнецов дал согласие участвовать в юбилейных мероприятиях после моих настойчивых уговоров, — он, по сути, не рвался к участию в таких массовых торжествах; я был свидетелем, как он отказывался даже от заманчивых предложений выехать в зарубежные страны. «Не стоит тратить время на такие вещи, —

говорил он. — Разве Бог отпустил нам столько жизни, чтобы мы убивали время в праздных коллективных прогулках, вместо того, чтобы писать произведения?..»

Юрий Кузнецов приехал-таки в Баку, поучаствовал в юбилее, в Гяндже, перед памятником великому Низами, прочитал стихи. Стояла душная жара. Как позднее метафорически написал Юрий, люди, спасаясь от жары, стремились спрятаться в тени Низами… Только он один из пришедших под эту тень знал, чья эта тень, и что она значит.

Мы совместно поучаствовали в юбилейных мероприятиях — сперва в Баку, потом в Гяндже. Затем Юрий Кузнецов остался ещё на недельку в Азербайджане. Я хотел, чтобы он, по возможности, прочувствовал облик и дух нашей земли. Из многошумного и плечистого Баку мы махнули в древнюю Шемаху, оттуда поехали в заповедные кущи Исмаиллинского района, в Габалу, Огуз, Шеки, а дальше держали путь в Тауз, внушивший мне первые песенные строки. То была полная впечатлений, прекрасная, незабываемая поездка.

Тюрки — вестники солнца

Спутничество с Юрием Кузнецовым, дорожное собеседование с ним, даже молчаливое созерцание меняющихся картин — особая тема. Очарование видов, открывающихся с серпантина, ведущего в горы — Габалу, Огуз, — хоть и не озвученное словами, читалось в голубых глазах моего гостя. А больше всего впечатлил его старинный Ханский дворец в Шеки… В Таузе у нас случились импровизированные, заранее не запланированные прекрасные встречи. Когда мы из райцентра двинулись в горы, у околицы моего родного села Асрик нас встретил-приветил оповещённый о нашем приезде Рагим-ами, он хотел даже, по обычаю, заколоть жертвенного барашка у наших ног. Но Юрий решительно запротестовал. Мой ами (дядя), задетый отказом, обиженно отвернулся. Юра, заметивший это, сказал мне: «Глянь-ка на дядюшку. — Рагим созерцал восход солнца, ещё не забыв нечаянную обиду. — Нигде в мире люди так благоговейно не смотрят на восход солнца… Это свойство более всего присуще тюркам. Шатры древних тюрок разбивались лицом к солнцу. И поза дядюшки — сегодняшнее продолжение этого древнего обычая…»

Мы направились во двор моего осиротевшего отчего очага.

«Ты смотри, какое благоухание исходит от дома!» — сказал Юрий, как бы желая удивить меня. Только сейчас я уловил

аромат знаменитой яблони, росшей в нашем садике. Мои родичи собрали прошлогодний урожай яблок в подполе нашего дома. Яблоки-то давно были съедены, а вот их запах въелся в камни, в стены, запах, который уловить дано не каждому. «Жилища тюрок источают аромат золотых яблок, — говорил Юрий. — Это у них в крови…»

Хоть и не скоро и не сразу, обиду Рагима-киши удалось унять. Жертвенного барашка закололи в одном из живописнейших уголков асрикских кущ — в урочище Чачан. И на лесной поляне, на широком пне постелили скатерть, уставили снедью. Этот пень послужил нам «круглым столом». Впоследствии Юрий в письмах ко мне не раз вспомнит эти благоговейные леса, этот ломившийся от яств пень на поляне…

Когда мы возвращались в село, Юрий, показывая на пенящуюся на перекатах речку Асрик, на тропы, карабкавшиеся между скалистыми кручами, и деревья, вцепившиеся корнями в каменистые склоны, сказал: «Будь я на твоём месте, написал бы стихи об этом пейзаже, — окинул взором лесистые кручи. — Из этой теснины два пути выхода: горный и речной. Кто по кручам выберется, кто по речке выплывет. А вот эти деревья, изо всех сил ухватившиеся за эти склоны, пустившие корни, останутся здесь жить. Ты должен стать поэтом этого самостояния…»

Ещё шёл 1981 год. Мне и в голову не могло прийти, что в его душевной памяти уже тогда кристаллизовались и обозначились детали, которые скажутся в предисловии к моему будущему «худлитовскому» томику. Откровенно говоря, в 1989 году, услышав, что предисловие к книге написал Юрий Кузнецов, я был приятно удивлён. Потому что он, вероятно, был самым скупым человеком на свете по части писания предисловий.

По прочтении удивление моё перешло в изумление: с каким проникновенным осмыслением Юрий перенёс на бумагу впечатления о моих стихах, о первоистоке моих вдохновений — родном таузском крае, селении Асрик — колыбели моей… Это кузнецовское слово — самое важное для меня из множества сказанного и написанного о моём творчестве.

По возвращении в Баку ему пришлось раз-другой переночевать в моей двухкомнатной квартире. В ту пору две из моих дочерей были крошками. От внимания домочадцев не ускользнули частые перекуры Юрия на балконе, — хоть и выпивший, он курил только там, в отличие от наших людей, которые дымили за столом, не считаясь с присутствием малых и старых. Он восхищённо глядел на моих дочурок, ворковал им ласковые слова…

Бакинские встречи оставили в его душе неизгладимый след.

Через некоторое время после возвращения в Москву я получил коротенькое письмецо:

> «Дорогой Мамед! Я исполнил обещание: написал азербайджанские стихи. Можешь их предложить в „Литературный Азербайджан“ и куда угодно. И про Низами — какому-то вашему учёному, который собирает материал о современном влиянии Низами.
>
> Как дела?
>
> *С приветом,*
>
> *Ю. Кузнецов 21.05.83 г.»*

Естественно, Юрий был не из тех, кто пишет стихи по заказу. «Тень Низами» написалась и не по моему хотению, — она родилась из самой встречи со страной Низами.

Во время моих побывок в Москве он непременно звал меня к себе домой, и в таких случаях подавал знак жене Фатиме, мол, ты-то хорошо знаешь восточное гостеприимство. Выкладывай, чем богаты. Не довольствуясь этим, сам «шуровал» в холодильнике, таскал оттуда всё, что подвернулось, на стол, будто пытался доказать, что северяне ничуть не уступают в радушии и хлебосольстве южанам. Разговор заходил о встречах в Азербайджане; он умилённо говорил о чёрных бровях, чёрных глазёнках и застенчиво-робких взглядах моих дочурок. У него у самого дома подрастали две по-восточному черноглазые дочери, рождённые тюркской женой — казашкой Фатимой… После его смерти фраза в сообщении одной из московских газет вывернет душу: «Над его могилой проливали слёзы три женщины с чёрными платками на голове, чьи восточные лица омрачало горе».

«Твоя боль — моя боль»

В 1974–1990 годах я виделся с ним по меньшей мере раз-другой ежегодно. Встречи эти происходили преимущественно у него дома, на проспекте Олимпиады, а порой — в ресторане ЦДЛ. У него был скромный рабочий кабинет. На письменном столе всегда замечалось орлиное перо. Быть может, и не перо, а стрела, вытащенная из чела Аполлона — покровителя муз… Каждая из этих встреч — неповторимая память, живущая в душе моей. Рассказывать обо всех этих встречах здесь нет возможности. Но было бы уместно вспомнить некоторые из них.

Все интересовались им, стремились познакомиться, пообщаться с ним. Никогда мне не забыть: мы встретились с Юрием в самый разгар ресторанного писательского общения в ЦДЛ. В этот момент в зале появился Александр Кушнер. Увидев меня в компании с Юрием, Саша попросил меня познакомить его с Кузнецовым. В ту пору Кушнер был не менее известен, чем мой визави. И он был движим отнюдь не желанием засветиться в лучах чужой славы, а уважением к большому таланту. Что может быть приятнее, чем представить друг другу двух именитых поэтов, к тому же взявших на себя труд переводить тебя?!

Я представил Сашу Юре. Эти два незаурядных поэта, искренние и душевные при общении со мной порознь, почему-то тут не «состыковались» и не выказали особого удовлетворения состоявшимся знакомством.

…Как-то поздней ночью мы с Видади Лаптевым (увы, так рано ушедшим из жизни), выйдя от Кузнецова, собирались направиться в гостиницу. У него мы до полуночи, по образному выражению, бытующему в нашем народе, «переплавили долы в горы, а горы в долы». Юра вышел проводить нас, и тут я увидел пересекавшего двор старого товарища по ВЛК Вадима Ковду. Я знал, что он живёт с Юрой в одном здании. Вадим при виде нас очень обрадовался. Отведя меня в сторонку, сказал: «А что, если прихватим Юру и поднимемся ко мне. Давно хочу познакомиться с ним, то случая не выпадает, то сам он уклоняется». Я передал Юре пожелание Вадима, добавив положительные эпитеты бывшему сокурснику и робкий намёк, что надо бы уважить просьбу, хотя по горькому опыту предвидел её обречённость. Но я ошибся. Он, хоть и без энтузиазма, вместе с нами поднялся к Ковде. Наши посиделки продолжались всю ночь напролёт, и за выпивкой «были решены» все мировые проблемы.

Как-то я в шутку подзадорил его: «Ну что ты бахвалишься, я получше тебя поэт, я знаю твой язык, читаю тебя в оригинале, а ты можешь понять написанное мной только по подстрочнику. Потому мне лучше знать, кто из нас большой поэт». Губы его тронула редко появляющаяся улыбка: «Ну ладно, ну брось!»

В одной из бесед я сказал ему: «Советская власть обязательно падёт». «Откуда ты знаешь? Кто тебе это сказал? Это дело невозможное. Произойди такое, это для России будет началом конца. Как тебе взбрело в голову такое?» Я ответил: «То, что приходит мне в голову, — всегда и происходит со мной. Никто мне ничего такого не говорил. Насмотрелись мы за свои годы на глобальные события, каких не видывали и за два-три века. Не может быть так, чтобы я покинул мир, как сын закабалённого, расчленённого народа… Я непременно увижу независимость

Азербайджана, убеждён в этом». Он в ответ: «Какая же сила свалит Советскую власть?» «Какая — и сам не знаю. Какая отняла свободу у народов, та, наверно, и вернёт…»

«Понимаю твою естественную тоску, осознаю, каково ощущать себя сыном нации, чьи отечественные земли разъяты на куски… Будь я тоже азербайджанцем, может, тоже желал бы падения Советов, восстал бы против них… У тебя в душе надежда на воссоединение. Но я русский, и ваше воссоединение станет началом нашего распада… — с этими словами Юра достал из книжного шкафа роман Баграта Шинкубы „Последний из могикан“. — Вот, возьми и внимательно прочти».

В романе с великой сердечной болью повествовалось об исходе убыхов, восставших против царской России, в Турцию, их исчезновении, о предательстве князей, которым они верили безоглядно… Позднее мне доведётся увидеть, что и этот жест Юрия оказался пророческим. И убедиться ещё больше в прозорливости Юрия, когда я стану свидетелем продажности руководителя моей нации, которому народ верил больше всех. Наверное, сердцем прочувствовавший боль нашей расчленённости и разобщённости, он так впечатляюще озвучил на русском языке мое стихотворение «Гранат»:

Держи его, как слово братства,
Разрезан надвое гранат
Текучим лезвием Аракса,
И полушария горят…

Так перевести мог только гений, всем существом, духом своим постигший национальную трагедию переводимого поэта.

…Мои предчувствия сбудутся, Советский Союз мало-помалу распадётся и рухнет. И наша злосчастная страна, в отличие от бывших союзных республик, вступит в дни своей свободы в потоках крови. Армяне, заранее осведомлённые о будущих событиях, заложат основы этого развала и развяжут смертную борьбу во имя того, чтобы оторвать от Азербайджана Нагорный Карабах — исконную нашу землю… Таким образом, мы, азербайджанские тюрки, чистосердечно уповавшие на справедливость и милость центральной власти, оказались застигнутыми врасплох в борениях эпохи. Юрий Кузнецов был, наверное, одним из тех, кто горше всех переживал распад Советского Союза, ибо эти события предопределили начало тех бед, которые выпали на долю любимой им больше жизни России. Может, по этой причине никто из близких мне московских поэтов, кроме Юрия Кузнецова, не поддержал нас в нагорно-карабахских

событиях, ибо он лучше других знал, что значит рубить по живому, чем чревата опасность для Отечества. Он стоял за правду и потому занял не сторону армян-христиан, а тюрок-иноверцев.

> «Дорогой Мамед. Получил журнал („Гянджлик“. — М. И.). Весьма признателен. Рад тому, что меня не забываешь. Я-то часто тебя вспоминаю. Вспоминаю пень, вокруг которого мы сидели. Славное, незабываемое время!
>
> Моя семья жива-здорова. А Родина погибает. Но знай: моё сердце — на твоей стороне. Твоя боль — моя боль.
>
> Будем живы — не помрём.
>
> Даст Бог, свидимся.
>
> Поклон твоей семье.
>
> *Твой Юрий Кузнецов*
>
> *27.02.92 г.»*

Это письмо, как явствует из даты, было написано до начала событий в Чечне.

Но в Баку уже произошла январская бойня. Армяне, пользовавшиеся поддержкой внешних и внутренних сил и начавшимся развалом Союза, прибегали ко всевозможным козням, вероломству, насилию и террору для захвата нашей исторической земли — Карабаха. Только таким гениальным провидцам, как Юрий Кузнецов, было дано понять, что эти события не завершатся только расчленением Азербайджана, распадом Союза, а сулят новые бедствия самой России… Юрий Кузнецов, истинно православный человек, написавший три превосходные поэмы о Христе — спасителе и вероучителе, занял место не в рядах «христианских братьев», а на стороне справедливости, причём не из каких-то дружеских симпатий и личной солидарности.

Он предвидел угрозу, нависшую над его Отечеством. Он жил жизнью титанической, которая знавала высокие взлёты и трагические разочарования. И, быть может, поэтому советская история была для его великого ума неотъемлемой частью памяти России, и крах Советов означал для него крах исторической миссии России, стремившейся создать под своим державным крылом «союз нерушимый республик свободных», свободных не декларативно, а воистину…

Я уже говорил, что Юрий Кузнецов неохотно и редко брался за переводы. У него были свои мерила, вкусы, пристрастия, и никто, кроме него самого, не ведал параметров и мотивов его предпочтений. Он любил нас. Любил Восток.

Стихи великого акына казахских тюрок Абая в кузнецовских переводах звучали столь же прекрасно, как в оригинале.

Помнится, в начале восьмидесятых годов Намизед Халидоглу (позднее известный как Годжа Халид) перевёл несколько стихотворений Кузнецова. Мы опубликовали их в журнале «Гянджлик» с подобающей имени автора подачей. Впоследствии этот номер журнала отозвался приведённым выше письмом. Намизед, отправившийся в Москву, вручил журнал нашему далёкому другу, и знакомство с Кузнецовым открыло ему путь на Высшие литературные курсы. В ту пору на ВЛК принимали только россиян. Но Юрий Кузнецов уже был профессором Литинститута, вёл поэтический семинар на ВЛК, и слово его было решающим. Намизед Халидоглу — Годжа Халид, с благословения Юрия Кузнецова поступивший на курсы, высоко держал «планку».

Во время работы над этими заметками в поле моего зрения попала «Литературная Россия» (за 9 ноября 2004 года) со статьёй «Испепеляющий взгляд поэта».

Сотрудник газеты поэт Александр Ананичев, учившийся на ВЛК вместе с Халидом, вёл речь о Юрии Кузнецове: «Да, строг был Поликарпыч (Кузнецов. — *М. И.*), раздавал бесценные знания, его любимцем был в то время наш сокурсник Годжа Халид — поэт и сельский учитель из дальнего горного села, переводивший на азербайджанский язык поэзию Тютчева, Фета, Есенина, Тряпкина, Передреева, Соколова, Рубцова и самого Кузнецова… Не скрою, я рад, что во время учёбы в стенах Литинститута опубликовать помог Годже Халиду первую книгу стихотворений на русском языке „Дождь воспоминаний“, куда вошли десять переводов Юрия Кузнецова…» И ещё деталь: «Однажды, войдя в роль обучаемого, он предложил разобрать собственные переводы стихов Годжи Халида».

Он всегда и везде был на стороне таланта. Он был праведен и в жизни, и в поэзии. Это — от любви. Любви, внушённой Богом и возвращённой Богу.

Поэтическая трилогия, написанная им к концу жизни и посвящённая жизни и заповедям Христа, была встречена неоднозначно. Многие служители веры стали выступать против него. Кузнецов ещё при жизни давал вескую отповедь ортодоксам. А «Вхождение в ад» явилось истинным событием в мировой

литературе. В поэме немало и спорных мест. Русская литературная критика и литературные круги уже изрядное время ломают голову в стремлении выявить моральную направленность этой поэмы. Кабы нам суждено было встретиться, и у меня нашлось бы, что сказать незабвенному другу.

Встретили тень. Она билась в падучей, как бес.
То был пророк от небес, но от тусклых небес.
Тёмной гордыне его поклонялись арабы,
И почернел от грехов белый камень Каабы.
Он из-под камня издаст им свой вопль боевой —
Тысячи в пропасть бросаются вниз головой.

Я бы возразил против этих строк, подразумевающих Пророка Мохаммеда: «Стоит ли, возвышая одного пророка, показывать другому язык?»

Но ответ на этот вопрос остался за последней чертой…

В некрологе, посвящённом его памяти, сказано: «Русская поэзия XX века началась вершиной Александра Блока, завершилась вершиной Юрия Кузнецова…»

Наш вечный современник

Я уже говорил, что его необыкновенность, незаурядность как личности почувствовал со дня первого знакомства. Он воздействовал на собеседника молчанием больше, чем речью. Эту особенность позднее часто будут отмечать, о ней я прочитаю в воспоминаниях многих, знавших его.

Главный редактор «Нашего современника» поэт Станислав Куняев пишет: «Невозможно сказать всё об этом гениальном поэте. Будущее скажет то, чего мы ещё не смогли сказать. В пору нашей долголетней совместной работы в журнале „Наш современник“ Юра часто повторял: надо вступить в XXI столетие, обязательно пожить в нём. Юрий Кузнецов своим великим творчеством, бессмертными творениями вступил в XXI век и превратился в вечного гражданина грядущих веков». Нельзя не согласиться с этим мнением.

Во время Карибского кризиса Юрий Кузнецов по долгу армейской службы находился на Кубе. Тогдашнее опасное противостояние двух держав подвигло его написать гениальную «Атомную сказку».

В восьмидесятые годы, когда я участвовал в поэтическом форуме в Белграде по линии СП СССР, нам показали последний

номер журнала «Литература». В номере было опубликовано двадцать различных переводов кузнецовской «Атомной сказки», выполненных сербскими поэтами. Можно сказать, почти весь номер был посвящён переводам одного стихотворения и его анализу. Это было уникальное, быть может, беспрецедентное событие для тех лет. Пушкин говорил, что о произведении поэта надо судить по законам, принятым им самим. В этом смысле у Кузнецова были свои, принятые, даже установленные им самим законы, и судить о нём надо на этой основе…

Трудно, горько осознавать, что Юрия Кузнецова уже нет на свете. Это ощущение невосполнимой потери разделяют все, кому дорога истинная литература: «Россия давно не теряла такого гения».

Эти заметки хочу завершить последними строками недописанной поэмы Юрия Кузнецова «Дорога в рай», обращёнными к Поликарпу Маркину, но, по сути, как нельзя лучше относящимися к самому незабвенному певцу России:

Каждое слово его как, звенящая медь!
Каждое слово сбылось! Или сбудется впредь!

Мамед Исмаил — азербайджанский поэт. В 1975 году окончил Высшие литкурсы в Москве. В переводе на русский язык выпустил поэтические сборники «Зёрна спелого граната», «Пашни над морем» и другие книги. В начале 2000-х годов преподавал в университете «Чанаккала», близ Стамбула.

Юрий Кабанков. Я в поколенье друга не нашёл

Невольная фотовспышка

Это было так давно, что кажется неправдоподобным. Году примерно в семьдесят третьем старший матрос N-ской береговой базы подводных лодок Тихоокеанского флота угодил на гауптвахту, где его поместили в одиночную камеру «без окон, без дверей», а главное — без возможности сидеть и лежать: бетонный пол, стены да потолок. Этим матросом, понятно, был я — дерзкий, «красивый», но ещё далеко не «двадцатидвухлетний».

На ночь «для спанья», «при хорошем стоянии» (то есть ежели ты не ломился в дверь, не орал, не пел отчаянных и крамольных песен вроде «Не жалею, не зову, не плачу…»), выдавали «вертолёт» — четыре нешироких доски («десятки»), сбитых двумя поперечинами.

Старший матрос не ломился и не орал, но, стиснув зубы, ночами бубнил себе под нос: «Я лежу на жестоком одр*е* из досок, / неуютный кулак подогнав под висок».

Я не знаю, откуда взялись в моей отчаянной голове эти строчки, написанные, как потом оказалось, Юрием Кузнецовым во время Карибского кризиса, участником которого он был «вплотную и непосредственно» («Я стоял на посту, / на котором стреляют на шорох, / если желают живыми вернуться домой», «Я видел рожденье циклона / на узкой антильской гряде»).

В то время память моя никак не запечатлела такого обыденного, «непоэтического» имени (чай, не Вознесенский, не Рождественский!). Видимо, в гарнизонной библиотеке имелись «толстые» журналы, и строчки про жестокий одр из досок сами собой угнездились в сознании, когда я пролистывал поэтические подборки.

Через пять лет, когда я поступил в Литературный институт, на первой же лекции по истории русской критики преподаватель обратил на меня внимание (не только своё, но и всей аудитории) особым образом. Медленно проходя между рядами, после слишком долгого, «томительного» молчания он вдруг вскинул на меня указующий перст (как Ленин на памятнике) и громко, разделяя слова, повышая голос после каждой паузы, произнёс: «На этом месте… [пауза] сидел… [пауза] гениальный русский поэт… [пауза] Юрий Кузнецов [три восклицательных знака]». И,

повышая голос до фальцета: «А ты кто такой?» (с ударением на «ты»; далее — «гробовая тишина», «немая сцена» и т. п.) Я ничего не нашёлся ответить, кроме как: «А он что — умер?» (Театральная ремарка: «Громовой смех сотряс стены аудитории»).

До слёз смеялся удивительный человек, своеобразный и любимый всеми преподаватель Михал-Палыч Ерёмин, автор замечательной, хотя и «непролазной» для первокурсника книги «Пушкин-публицист», открывший нам помимо всего прочего (как, вероятно, и ранее — Юрию Кузнецову) смысл названия пушкинской статьи «Об обязанностях человека» (а не только о пресловутых «правах»!).

Так состоялось моё заочное знакомство с Юрием Поликарповичем, которое со временем намагничивалось всё более, покуда не вылилось в грубоватый (с его стороны) телефонный разговор: «Почитай на ночь Гомера, Данте, Шекспира, Гёте (с придыхательным южно-русским „г“), а потом приходи!» Понятно, я не пришёл.

Речь шла о возможной моей публикации в альманахе «День поэзии», главным редактором которого в тот 1980-й год был Юрий Кузнецов. Тогда «прорыва» не произошло; зато повезло моему тогдашнему другу и сокурснику Мише Попову, ныне автору многих известных, вышедших в Москве, прозаических книг. Через несколько лет, обнаружив в «Новом мире» невольные инсинуации Ирины Роднянской на тему «…и та же самая рука (т. е. Ю. Кузнецова) вывела многие строчки Юрия Кабанкова», Миша Попов написал шуточное стихотворение в мою защиту, которое заканчивалось так: «Он не похож на Кузнецова, / но кажется порою мне: / он Мандельштама и Кольцова / соединил в себе. Вчерне…»

Юрий Поликарпович и забавлялся, и раздражался подобной постановкой вопроса. Забавлялся (солидаризируясь с И. Роднянской) потому, что, по его глубокому убеждению, «вы все выползли из черепа Юрия Кузнецова, как девятнадцатый век — из „Шинели“ Гоголя» (как хочешь, так и понимай сию черепно-мозговую контаминацию: тут ведь и череп Олегова коня, и «Я пил из черепа отца» — вплоть до «бедного Йорика»). А раздражался он потому, что терпеть не мог Мандельштама, не признавал его вообще как поэта, искренне обижался за Кольцова, которого «вструмили» в такое «непотребное соседство». Когда я указывал (а словечко «суггестивность» вызывало в нём тяжёлую скептическую меланхолию) на «густоту» поэтических образов у него и у Мандельштама, он заявлял: «Ваших Мандельштамов не читал и не собираюсь!»

Конечно же, у меня были какие-то заимствования и перепевы,

от которых вряд ли возможно уберечься. Да и нужно ли? Тут были и прямые посылы вроде «А край, — он известно, — за первым углом», или: «…И покуда степь не затянуло ржою, / всё кружился он над пажитью чужою, / всё посматривал, как в мельницах дозорных / расщепляются стремительные зёрна… / Знал подлец, что этот гром свинцовый / не примстится даже Кузнецову!» Этот кузнецовский гром со всеми сопутствующими атрибутами иногда обнаруживает себя и в недопечённой моей поэме «Мирская хроника»: «Гром прошёлся по краю вселенной, / встал отец, удручён и небрит: / „По грязи, средь забытых селений / путь лежит на восток“, — говорит…»

Так что «нет дыма без огня» и не будем открещиваться от каких-либо влияний и перетеканий, поскольку «чистота бесплодна, на ней ничего не растёт, даже любовь». А любовь — в её исконном смысле — была; любовь, прежде всего, как доверие, любовь, которая «долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, […] всё покрывает, всему верит, всего надеется, всё переносит…» (1 Кор. 13-4-7). Потому-то, в отличие от многих «супротивных», меня не раздражали ни его «гигантизм» (как это явлено у С. Чупринина), ни его провоцирующие заявления вроде «Звать меня Кузнецов, я — один. / Остальные — обман и подделка». Ну, я не знаю, в какой такой сто первый раз нужно напоминать, что поэта потребно судить «по законам, им самим над собой признанным» (Пушкин)!

Я не стремился навязывать ему своё присутствие, бывал у него нечасто, наши встречи можно пересчитать по пальцам. Так что поводов для собственно «воспоминаний» у меня не слишком много. Ну, «выпивали» вместе (а кто сейчас скажет, что не «выпивал с Поликарпычем»?). Правда, в первый раз у меня это произошло «по настоятельной необходимости». Юра Доброскокин, тонкий лиричный прозаик, «молившийся» на трёх «несоветских» богов — Юрия Казакова, Андрея Платонова и Кнута Гамсуна, частенько «выручал» Кузнецова по утрам, когда «глаза б мои на неё не глядели!» Он-то однажды и попросил меня отнести «Поликарпычу» то, что наутро называется «для поправки здоровья».

Батима, как и положено заботливой супруге, всячески старалась препятствовать сему, но, как говорится, что написано пером, не вырубишь на скале. Кстати, «семейные тылы» Юрий Поликарпович чтил высоко, хотя и молчаливо. Но я помню, как однажды в день рождения Батимы (в самом конце восьмидесятых) он бурно восхищался — ну, не угадаете! — её шеей. (Женщины

знают, *что* скорее всего выдаёт их возраст.

Когда вышел в свет «Русский узел» (в 1983 году), я, переждав волну эйфории и чествований, напросился в гости «конфиденциально» — чтобы избежать хоровых и сумбурных словоизлияний. Хотелось поговорить спокойно и трезво. Первое наполовину удалось, со вторым вышла заминка. Несмотря на это (или «благодаря» сему), беседа наша затянулась до вечера — покуда не вернулась с работы Батима и сигаретным блоком «БТ», как палицей, не разогнала нас, то есть, скорее, — меня (Юрий Поликарпович курил тогда только дефицитные «БТ»). Это было моё единственное длительное общение с «Поликарпычем» с глазу на глаз. Понятно, что глубина сего общения никак не сравнима с той, о которой у Кузнецова сказано: «Нас только двое, остальные — дым. / Твоё здоровье, Кожинов Вадим!»

К слову сказать, это наше затянувшееся собеседование стало возможным, скорее всего, потому, что Вадим Валерьянович на обсуждении в ЦДЛ очередного «Дня поэзии», редактором которого был уже Валентин Устинов, обратил внимание Кузнецова на моё стихотворение «В поезде», где «…спят россияне в вагоне общем. / А над котомкой старуха стынет, / на остановках к окошку тянется. / „Сыне! Что ж ты не пишешь, сыне?“ / Никто не встретит её на станции…»

Понятно, что речь у нас шла, прежде всего, о поэзии, и рефреном звучало фамусовское «вы, нынешние, — ну-тка!». Однако более основательно завязался разговор, как ни странно, о женщинах — не анекдоты о безголовых блондинках, а разговор, я бы сказал, житейский, «практический», что ли. Основанием разговора (а я через несколько лет и книгу свою назвал «Разговор») можно считать знаменитое кузнецовское «Двуединство»: «Орёл парил. Она блуждала, / Не видя в воздухе ни зги. / И, ненавидя, повторяла / Его могучие круги».

Сюда же следует добавить (ежели печатная площадь позволяет) не менее трагические, почти скандальные для того времени строки:

«Ты женщина — а это ветер вольности, / Рассеянный в печали и любви, / Одной рукой он гладил твои волосы, / Другой — топил на море корабли»;

«Дай мне прежние ночи стряхнуть! / Я забыл, что рассвет неминуем, / Твою круглую терпкую грудь / Забирая одним поцелуем»;

«Кровь дышала жадно и глубоко, / И дымилась страсть из-под ногтей. / И летал то низко, то высоко / Треугольник русых журавлей»;

«Ты выдержал верно упорный характер, / Всю стёр — только

платья висят. / И хочешь лицо дорогое погладить — / По воздуху руки скользят»;

«С глаз долой! — я себе говорю, — / И привета не жди ниоткуда, / В это лоно ты крикнул люблю, / Улю-лю — ты услышал оттуда»…

Это всё — из «Русского узла», и, конечно же, далеко не всё.

Главное здесь: «Ты зачем полюбила поэта / И его золотые слова?» (Тютчев: «Не верь, не верь поэту, дева, / Его своим ты не зови / И пуще пламенного Гнева / Страшись поэтовой любви!»)

Я тогда только-только развёлся с женой, и Кузнецов смотрел на это довольно мрачновато: «Как жить-то будешь без тыла?» Я грубовато пошутил: мол, было бы корыто, а свиньи найдутся! Весомый его ответ: «Ты ж не мышиный жеребчик на ходулях. Русскому человеку непристойно без жены». (Через несколько лет это отозвалось в моих виршах: «Оторванный от жён и пашен / Державу не окинет взглядом. / Но страшен взгляд! А если страшен — / то и окидывать не надо?»).

Я показал ему только что написанное стихотворение «Когда Нева сжигала фонари…» и, пояснив, что во Владивостоке у меня слишком давно «миленький ты мой, возьми меня с собой!», попросил разрешения позвонить в эту «даль светлую». «Звони, только пожарь яичницу с салом, а то закусывать нечем». А сам удалился из кухни с моим листком в руках.

Покуда я звонил, сало сгорело напрочь, чад стоял, как в кочегарке. И пока я проветривал, Юрий Поликарпович, закашлявшись в этом чаду и матерясь несусветно, разобрал моё стихотворение по винтикам, как механическую игрушку. Нашёл явные параллели, о которых я и подумать не мог (рубцовские строчки, озвученные Ю. П., вряд ли были тогда опубликованы): «Поэт, как волк, напьётся натощак, / И неподвижно, словно на портрете, / […] сидит на табурете, / и всё молчит, не двигаясь никак». (И это притом, что — в Литинститутском общежитии: «Не многовато ли двух гениев на одну кухню?» Это потом, через годы, он уважительно скажет: «Молчите, Тряпкин и Рубцов, / Поэты русской резервации!» Из современников, на тот момент, Юрий Поликарпович признавал равным себе лишь Николая Тряпкина).

Так вот, фраза «и неподвижно, словно на портрете», оказывается, целиком вписывалась в моё стихотворение: «И открывалась просветлённость дня, / и ты, легко отбросив покрывало, / сухой листок с календаря срывала / и пристально смотрела на меня, / и зажигала спичку о стекло, / и молча подносила к сигарете, / и неподвижно, словно на портрете, глаза твои светились тяжело». А концовка («От Ладоги — до самой Уссури, / вдоль полотна, на каждом километре, / стоишь,

ладонью заслонясь от ветра. / И вьюга задувает фонари»), уж «без всяких сомнений», была «содрана» у самого Кузнецова («Ничего не сказала на это — / И мгновенно забыла меня. / И ушла по ту сторону света, / Защищаясь рукой от огня»).

Когда через три года после сего мы с Еленой поселились на станции Чернь Тульской области, Юрий Поликарпович был сдержанно рад этому, и в знак своего «благословения» подарил нам книгу Мирослава Крлежи «Баллады Петрушки Керемпуха» со своими переводами «с хорватскосербского». Надпись была краткой: «Юрию Кабанкову и его Елене на веселие духа. Юрий Кузнецов. 25.08.86».

Это его сербохорватское «веселие», честно сказать, оказалось жутким; разве что пир во время чумы сравнится с разгулом сего бесовски-отчаянного «веселья» (то ли автора, то ли переводчика). Строки, завершающие книгу, таковы: «В винном погребе, в холодной / непроглядной темноте / было слышно, как свободно / воет ветер в пустоте, / и с кровавыми ногтями в сердце, в лёгких, гол и бос, / я завыл, как перед смертью одинокий старый пёс». По всей вероятности, этот пёс и сидел у меня в голове, когда я впоследствии писал: «И впрямь ничтожен ты в своём предназначенье, — / мне голос был, — и в чём твои мученья? / Голодный зверь и тот достойней встретит смерть! / Вовек достало б вам и радости, и хлеба — / когда б не эта ваша чёрная потреба, / затмившая сияющую твердь…»

В последний раз мы виделись с Юрием Поликарповичем во Владивостоке, куда его занесло с каким-то «писательским десантом», а меня — тогда же — на эту мою «малую родину» — наше бегство от чернобыльской радиации. Среди застолья (на квартире приморского поэта Владимира Тыцких, тогдашнего «ответсека» местного отделения СП) Кузнецов как-то загадочно прошептал мне на ухо: «Ночь… Опасайся мыслей / с пёсьими головами» (понятно, строчка его стихотворения, но всё же…).

Эта встреча произошла в августе 1991 года — аккурат накануне грандиозного переворота (как говорил киношный Попандопуло, «накануне грандиозного шухера»), а лучше сказать — «разворота», что в старославянской огласовке звучит как «разврат», в результате которого мы все оказались нежданно-негаданно в другом, доселе неведомом нам государстве. Хотя слишком понятно, что Россия православная (Святая Русь) была и остаётся при любом государственном раскладе.

О подобных материях у меня с Кузнецовым разговоров никогда не велось. Но однажды я присутствовал при его «горячей беседе» с художником Юрием Селивёрстовым, немногим ранее оформлявшим его «Русский узел». Это был нелицеприятный

разговор двух «язычествующих» в своём творчестве художников о путях преодоления художественной и душевной расхристанности.

Будем надеяться, что преодоление всё же произошло, и мы «на всю оставшуюся жизнь» имеем возможность для усердной молитвы об упокоении их смятенных и, в конце концов, просветлённых душ. Правда, я не думаю, что это просветление явлено в «христианских» поэмах Юрия Кузнецова: здесь эстетический и душевный непокой не оставляет места для духовной тишины. Но твёрдо уверен, что в душе Юрия Поликарповича «преодоление фрагментации» было динамическим, «неостановимым», а порукой тому — хотя бы его стихотворение «Голубь», где сказано:

Так, значит, есть и вера, и свобода,
Раз молится святая простота
О возвращенье блудного народа
В объятия распятого Христа.

P. S. Елена, для которой феномен Юрия Кузнецова всегда чётко делился на «книжку» (стихи) и «Поликарпыча» (вживе), прочитав этот текст, на мой вопрос «ну, как?» ответила иронично и кратко: «Сало жалко!»

Владивосток

10 августа (28 июля) 2007 г.,

Смоленской иконы Божией Матери «Одигитрия» (Путеводительница)

Юрий Николаевич Кабанков родился 21 июля 1954 года во Владивостоке. В 1983 году окончил Литинститут. Первый сборник стихов «Кто служил ветром…» выпустил в 1986 году. Одна их лучших книг писателя — сборник его статей и трактатов «Одухотворение текста», выпущенный в 2003 году во Владивостоке.

Диана Кан. Полёт над пропастью

«Не говори с тоской: их нет, но с благодарностию: были!» Тем не менее несмотря на то, что с момента смерти моего учителя, каковым считаю Юрия Поликарповича Кузнецова, прошло уже несколько лет, я доселе как-то не могу по-настоящему уразуметь, что Кузнецова нет среди живущих. Что я никогда не увижусь с ним, никогда не прочитаю новых его стихов, что он никогда не прочитает моих… Жизненная текучка-бегучка худо-бедно отвлекает от ежеминутного осознания невозвратности случившегося. Вот так бегаешь-бегаешь и вдруг словно наткнёшься на невидимую преграду. И задохнёшься… Но опять отгонишь от себя страшную мысль. И где-то на задворках сознания попытаешься утешиться — что уж там, разве что-то так кардинально изменилось? Годами, будучи «невыездной» (не по политическим, по материальным причинам) далее собственной новокуйбышевской околицы, не виделась я с Юрием Поликарповичем, не вижусь и сейчас. Что изменилось? Между тем, изменилось ВСЁ.

Начать с того, что с уходом Кузнецова кардинально изменилось русское литературное поле. И без того оно агрессивно уничтожаемо последние десятилетия плотоядной «одноклеточной» масс-культурой. Но пока живут и работают русские писатели-классики, то как-то ещё остаётся надежда на возрождение некогда могучего русского духа… Кузнецов в моём его восприятии был — само олицетворение этого духа.

Последний раз, помнится, в мае 1998 года свиделись с ним в стенах редакции журнала «Наш современник», минут пятнадцать поговорили о том о сём… А следующее моё «свидание» с Кузнецовым состоялось на Троекуровском кладбище, когда в январе 2004 года принесла на его могилу погребальные белые розы. Положа руку на сердце, если бы не смерть Юрия Поликарповича, когда бы ещё вырвалась я в Первопрестольную?..

До сих пор не могу простить самарским своим коллегам-писателям, что, ослеплённые ненавистью к моим литературным успехам, они в апреле 1998 года скрыли от нас с Евгением Семичевым то, что в Тольятти приезжает со своим творческим вечером Юрий Поликарпович. Самарские писатели решили тогда сделать всё от них зависящее, чтобы не допустить нашей встречи с Кузнецовым. Что ж, английский принцип «рул энд дивайд» («разделяй и властвуй») был последние десятилетия в Самаре одним из ключевых в управлении писательской организацией со стороны немолодого, но подающего надежды прозаика,

литфункционера Евгения Лазарева. При скудных наших с Евгением Семичевым семейных достатках наших хватило бы ещё на поездку в Тольятти, но никак не хватило бы на поездку в Москву. А ведь тогда, в апреле 1998 года, в Тольятти, это была, как оказалось, последняя возможность встречи моей с Юрием Кузнецовым. Это я поняла, когда уже стояла у его могилы…

Около могилы-то я стояла… Но всё равно — не верила! Укоренившееся во мне в последние годы сознание того, что где-то там, далеко, Юрий Поликарпович пишет стихи, думает, грустит, радуется, общается с друзьями и учениками, ухаживает за женщинами, в общем, живёт — такое сознание морально поддерживало меня в минуты грусти и печали. Да и разве ж для того, чтобы чувствовать духовную близость другого человека, надобно надоедать ему своим присутствием?..

На эти воспоминания, в жанре которых я, признаться, не сильна, меня сподвигла издатель журнала «Нижегородская провинция», писатель Любовь Петровна Ковшова из города Сарова. Она прямо спросила в письме, почему бы мне не попытаться вспомнить, каким был «мой» Юрий Кузнецов. Потому что у каждого из нас он — свой. Эти немудрящие заметки — результат этого предложения. Они не в коей мере не претендуют на исследование кузнецовского наследия. Это просто заметки кузнецовской прилежной ученицы — наверняка пристрастные, в силу того, что ученица Учителя почти боготворила. Впрочем, пристрастно (со знаком плюс или минус) почти всё, что сегодня пишут о Кузнецове. Для меня он был своеобразным поэтическим и жизненным ориентиром. В трудные моменты жизни я всегда мысленно спрашивала себя, если я поступлю так — что сказал бы об этом Юрий Поликарпович? Эта привычка мысленно «советоваться» в трудных вопросах с Кузнецовым сохранилась у меня и поныне… А тогда, в ноябре страшного 2003 года, узнав, что Кузнецов умер, я в какой-то момент поняла: для того чтобы выжить и творчески не сломаться, надо жить так, словно он и не умирал. Не знаю, насколько мудрым можно назвать такое моё «страусиное» решение, но тем не менее тогда оно спасло и поддержало меня.

Говорят, гордость — не очень хорошее чувство, но я горда и счастлива, что могу назвать Юрия Поликарповича Кузнецова своим Учителем, хотя он и не признавал в русской поэзии ученичества как такового и школ как таковых, называя всё это «французскими штучками». Что ж, это его право прижизненного классика, как и моё творческое право ученика считать своим учителем того или иного поэта. Главное даже не в литературе как таковой, ею я занималась и до встречи с Юрием Поликарповичем.

Писала стихи о неразделённой и вследствие этого такой огромной любви. Говорят, что стихи были талантливые. Но что-то меня мучило, лишая душевного покоя.

И тут это оказавшееся для меня судьбоносным совещание молодых писателей в Москве в январе 1994 года. И я (повезло так повезло!) попадаю в семинар к «тому самому» Юрию Кузнецову, который «пил из черепа отца», многие стихи которого старательно, за неимением его книг, ещё в юности переписаны мной в заветную тетрадь. «Нет, я с тобою говорить не стану. / Вернусь домой и верный нож достану. / И в стол всажу… И верному ножу / Я про твою измену расскажу…» У каждой молодой девицы есть такая заветная тетрадь-исповедница, и я не исключение из правил.

Кузнецов немногословен, сдержан с нами, семинаристами, держит дистанцию и слегка отстранён. Неужели это он, такой спокойный на вид, автор обжигающих строк о леди Макбет: «…За то, что вам гореть в огне / На том и этом свете, / Поцеловать позвольте мне / Вам эти руки, леди!» Даже не верится! Молодые поэтессы-семинаристки (практически поголовно «лабающие» под Ахматову) шепчутся меж собой, что взрослели с книжками Кузнецова под подушкой… Им повезло больше, чем мне: ухитрились купить-достать кузнецовские книги. Признаться, я не любительница литературных сборищ. Но этот семинар-совещание — первый, последний и единственный на моём литературном пути — я не забуду никогда. Именно на нём произошло долгожданное осознание мной жизненного призвания. И именно Юрий Кузнецов, сам того не зная, помог мне в обретении того, без чего телесная жизнь, даже вкупе с попытками лирической самореализации, пуста и никчёмна. После встречи с Кузнецовым я поняла, что поэзия — это отнюдь не частное дело (что это «не вздохи на скамейке», я понимала и раньше), поэзия даже не столько литература, сколько один из видов СЛУЖЕНИЯ России, поле духовной брани за неё.

Именно тогда, проводя семинарский разбор наших «поэтических полётов», Кузнецов, устало вздохнув, словно обращаясь ни к кому и одновременно ко всем, уронил такую фразу: «Россия в пропасть летит, а о чём пишут молодые поэты?..» По причине молодости и проистекающей отсюда патологической занятости исключительно своим богатым внутренним миром, мы, естественно, писали преимущественно о любви, перемежая свои писания поэтической экзотикой в виде «брабантских кружев», «тосканских канцон» и т. д.

Думается мне сегодня, что именно эта эгоистическая сверхозабоченность собой и своими переживаниями стала

причиной того, что иные из нас, кузнецовских семинаристов (и я в том числе!), по итогам семинара не обнаружили себя в списках принятых в Союз писателей России. Не буду кривить душой, для меня это был удар в самое сердце. Не потому, что — не приняли, а потому, что — именно Кузнецов! Тогда казалось, что после такого творческого фиаско я уже не оправлюсь. Мой оренбургский земляк-поэт Демурин, также бывший участником этого совещания, но в другом творческом семинаре, и, в отличие от меня, принятый там в Союз писателей, отечески-снисходительно посочувствовал: «Ну вот, уж так радовалась, что к Кузнецову попала, а тут такое… Лучше б ты к нам в семинар попала, у нас бы тебя приняли…». В молодой, оскорблённой в лучших чувствах запальчивости, я заявила земляку-поэту что-то в том духе, что пусть меня лучше не примет Кузнецов, чем примет кто-то другой…

Как ни странно, именно после этого фиаско я железно решила, откинув все сомнения творческого и материального характера, ехать на Высшие литературные курсы. Именно к Кузнецову. Многие мои оренбургские земляки, кои были посвящены в перипетии моего неудачного вступления в Союз писателей России, увидели в этом моём решении ехать на ВЛК к отвергнувшему мои стихи поэтическому «авторитету» безумную попытку «прыгнуть в пасть тигра». И добавляли что-то там ещё о моём непомерном гоноре. Но всё было гораздо проще и гораздо сложнее, чем просто моё уязвлённое творческое самолюбие. Недолгое пребывание на кузнецовском семинаре открыло вдруг передо мной то, к чему неодолимо потянулась мятущаяся душа. Я стремилась на ВЛК не столько для того, чтобы доказать Кузнецову свою творческую состоятельность, хотя и это стремление по молодости лет наверняка присутствовало. Я ощутила, что общение с ним нужно мне для того, чтобы стать настоящим поэтом, взорвав изнутри ту лирическую камерную скорлупу, в которой я давно уже задыхалась. И никто не мог помочь мне это сделать, кроме этого «жестокосердного» Кузнецова, как я его тогда в душе окрестила. Так я оказалась на ВЛК.

Увидев меня среди своих семинаристов, Юрий Поликарпович, как мне показалось, меня не узнал (мало ли молодых поэтов в России, и все на ВЛК к нему рвутся!), но позже, уже в процессе учёбы, я поняла, что он меня помнил, потому что как-то по-доброму сказал мне, что я «настырная». Я тогда не поняла, огорчаться мне или радоваться этому кузнецовскому определению. Но «настырность» моя на самом деле была просто непреодолимым желанием общения с Мастером, перед которым я

творчески преклонялась ещё со времён своего подросткового возраста. Эта «настырность» была не что иное как страстное желание творческого общения, какого я не имела и не могла иметь в Оренбурге.

Как-то, уже после смерти Юрия Поликарповича, я наткнулась на афоризм, поразивший меня: «Злой человек может вредить двояко — делая зло и делая… добро». Мне вдруг открылось в тот момент, насколько добрым и человечным по своей природе был Юрий Поликарпович! Ведь он, даже казалось бы причинив мне зло (не принял в Союз!), в итоге сделал этим «злом» мне добро. Прими он меня в Союз писателей с первой же попытки, кто знает, поехала ли бы я, умиротворённая «признанием», в Москву на ВЛК? Наверняка так и осталась бы в Оренбурге и в конце концов попросту задохнулась в тамошнем безвоздушном пространстве… Именно поэтической оренбургской камерности я боялась больше всего, словно одержимая клаустрофобией. Как теперь понимаю, я боялась её даже больше сурового взыскательного Кузнецова, перед которым трепетала.

А первопричиной, по которой я отважилась «прыгнуть в пасть тигра», была та кузнецовская фраза про летящую в пропасть Россию и равнодушных к этому полёту над пропастью молодых поэтов. Эта фраза вошла в меня гвоздём (и наверняка не в меня одну!). Показательно и то, что такие и похожие слова я частенько слышала в Оренбурге от тамошних писателей, но эти слова оставляли меня почему-то равнодушной. Видать, имеет большое значение не только то, ЧТО сказано, но КЕМ сказано. Я часто вспоминала эту мельком, без всякого дидактизма, удручённо оброненную Кузнецовым фразу, вернувшись в Оренбург. И по мере того как я размышляла над ней, всё в моей неприкаянно-взбалмошной жизни стало вставать на свои места. Служение Родине для меня, дочери кадрового советского офицера, выросшей в военном городе-гарнизоне, не было отвлечённым понятием, хотя имело в детстве осознание не литературного, но военного наполнения. Понемногу жизнь моя стала обретать очертания и вектор. Во внезапно открывшемся мне наконец-то долгожданном смысле бренной моей жизни поэзии отводилась совсем иная роль — не светской салонной барышни, развлекающей эстетствующих «ценителей», но — защитницы и воительницы России. И всё последующее общение с Юрием Поликарповичем только укрепляло меня в этом открытии такой простой, казалось бы, истины. Но ведь на то они и простые вечные истины, что каждый из нас должен выстрадать их самолично.

Вот об этом, к сожалению небольшом по времени, личном

былом общении с Юрием Поликарповичем Кузнецовым мне и хочется немного рассказать.

* * *

Во время перекура между занятиями на творческом поэтическом семинаре Высших литературных курсов, когда нависла затянувшаяся пауза, которую никто из нас, кузнецовских семинаристов, не решался прервать в присутствии Кузнецова, я неожиданно для самой себя расхрабрилась и сказала:

— Юрий Поликарпович, у нас вчера Владимир Демурин (оренбургский поэт, мой земляк и однокашник по ВЛК. — *Д. К.*) женился.

— В который раз? — с короткой усмешкой остудил мой оптимизм Кузнецов.

— В третий… — слегка растерялась я, а стоящий тут же Владимир Демурин не без гусарства меня поправил:

— Вообще-то, в четвёртый!

— Эх, молодёжь! — скептически хмыкнул Кузнецов. — Не хватает ума жениться раз и навсегда.

— Юрий Поликарпович, не всем так везёт, как вам, — не без обиды, поскольку в то время как раз только что вышла замуж во второй раз за однокашника по ВЛК Евгения Семичева, сказала я.

— При чём тут везение? — улыбнулся Кузнецов. — Дело не в этом, просто время на женитьбы терять — всё равно что шило на мыло менять.

* * *

Первое семинарское обсуждение на поэтическом семинаре ВЛК — всегда обсуждение судьбоносное. Оно спускает тот глянец гениальности, с которым практически каждый второй (если не первый!) вээлкашник приезжает в Москву. Это обсуждение расставляет акценты и делает дальнейшее общение сокашников более конструктивным. К первому своему обсуждению на ВЛК я готовилась, можно сказать, загодя — перестала спать за неделю до оного, так волновалась. И было отчего волноваться. Во-первых, я знала, как жёстко, подчас даже ожесточённо, обсуждают друг друга поэты. Тут не захочешь, да вспомнишь Дмитрия Кедрина: «У поэтов есть такой обычай / вкруг сойдясь, оплёвывать друг друга…» Ну, до плевков, конечно, не доходило, но желающих самоутвердиться на костях и стихах ближнего хватало.

Странное дело, из тех, кто наиболее рьяно самоутверждался таким образом, как показало время, ничего путного в литературе не получилось. Потому что хорошее чувство соревновательности в поэзии (особенно среди молодых) — дело хорошее, также хорошее дело — желание творчески самоутвердиться. Вот только делать это надо лишь и исключительно за свой счёт, не топча потенциальных творческих соперников, а соревнуясь с самим собой в попытке взять ту или иную творческую высоту. Мысль не новая, но почему-то часто молодые не берут её в расчёт и многое теряют. Да что многое? Творческую судьбу и первородство творческое теряют, разменивая её поначалу на злобу-зависть по отношению к более одарённым коллегам, а потом и вовсе, поняв что терять им в литературе нечего, меняют окончательно это творческое, пусть и небольшое, но богоданное первородство на чечевичную обывательскую похлёбку.

Итак, моё первое обсуждение на ВЛК. Как бы много и как бы неприязненно ни обсуждали меня на оренбургских литобъединениях, но это семинарское обсуждение я запомнила навсегда. Во-первых, меня удивило то, что вроде неглупые и более того — позиционирующие себя знатоками в литературе люди говорили такую несуразицу, на которую и отвечать-то нечего. Например, один эпигон стихов Бродского обвинил меня в том, что на моих стихах имеется налёт одесского юморизма. Между тем я слишком уважаю поэзию, чтобы как-то так с легонца-юморца относиться к тому, что пытаюсь писать сама и что пишут другие. Остальная «стая товарищей» (недаром словосочетание ВЛК отдаёт чем-то «волчьим») тоже в стороне не осталась, на мне изрядно оттопталась. Ну да мне не привыкать, от битья только злее в работе становишься. Не хотелось бы обижать моих друзей и поклонников моих стихов, но, честно говоря, тем, что я творчески состоялась, я обязана в первую очередь моим многочисленным завистникам. На врагов мне как-то не везло, ведь враг — это человек, которого ты, несмотря ни на что, уважаешь. Враг — это человек, достойный тебя, и уж во всяком случае умный и талантливый. Нет, такие, как правило, становились моими если не друзьями, то товарищами, во всяком случае. Но меня жутко ненавидела всевозможная бездарь, много причинив незаслуженного зла. И часто обвиняя меня во всевозможных грехах по принципу Геббельса — чем невероятнее, тем больнее. Однако как бы ни было горько, подобные геббельсовские инсинуации (а вовсе не похвалы!) помогали мне никогда не почивать на лаврах, помогали одолевать себя и идти вперёд. Воистину, наших недоброжелателей попущает нам Бог.

Но это я сейчас, задним умом, понимаю, что всё, что Бог ни

делает — к лучшему. А тогда, видя, как терзают мои стихи, написанные кровью молодого сердца, умевшего (и даже любившего!) страстно страдать (за что меня обвинили чуть ли не в сатанизме), глядя на то, как трусливо самоустранились в этой травле (а кое-где её и с удовольствием поддерживают) мои земляки-поэты из Оренбуржья — Курушкин и Демурин, я в отчаянии подумала о том, что выход мне, теперь, пожалуй, только один… Потому что мнение Юрия Кузнецова о моих стихах, хоть он ещё и не высказывал его, так как он выносит его после всех «прений», мне заведомо известно: Кузнецов не принял меня год назад в Союз писателей России.

За мои стихи тогда вступился только поэт из Самарской области Евгений Семичев, с которым я на тот момент едва-едва была знакома. Но его голос в защиту моих стихов потонул в дружном хоре обвинителей… В общем, тучи сгустились донельзя над моей буйной головушкой, но я решила выпить сию горчайшую чаша до дна и выслушать «приговор» Кузнецова, не суливший, судя по азарту однокашников, мне ничего хорошего. Каково же было моё изумление, когда Кузнецов в своей речи (до этого, давая вволю высказываться своим семинаристам, он не проронил ни слова) сразу отмёл все обвинения меня в сатанизме. «Нет, никакой это не сатанизм, это просто ярко выраженный поэтический темперамент», — сказал Кузнецов к моему огромному удивлению. Но глядя, как надеждой загорелись мои глаза, Юрий Поликарпович тут же добавил педагогическую «ложку дёгтя» в этот мёд: «Вы не всегда владеете своим темпераментом, Диана, это плохо, это недостаток мастерства, а вам пора становиться мастером, для этого есть все задатки…» У меня закружилась голова и всё поплыло вокруг. Остальное я помню смутно, потому что очнулась окончательно только на кухне в общежитии, чистя картошку для супа. Заглянул один из моих сокурсников с семинара прозы и, уважительно глядя на меня, протянул: «Поздра-а-авляю!..». Я поняла, что весть о моём удачном обсуждении уже гуляет по коридору, но, чтобы продлить триумф, я прикинулась непонимающей: «Ты о чём?..» — «Как о чём? Сам Кузнецов тебя хвалил, вот это да!..». Хотя не припомню, чтобы Кузнецов меня особо хвалил, он вообще не был склонен, как истинный профессионал, к восторгам по поводу каких-либо стихов. Он просто указал мне путь, по которому я должна была пытаться двигаться. «Диана, пора становиться мастером…» А вот реально помочь мне обрести поэтическое мастерство (то есть тот дар глагола, о котором Цветаева говорила, что поэт — это равенство души и глагола) помог мне мой будущий муж Евгений Семичев.

Меня тогда не только как поэтессу, но и как женщину, очень тронуло его рыцарское отношение во время моего творческого «избиения». Хотя, как Семичев признался мне впоследствии, это было отнюдь не шагом рыцаря по отношению к даме, а просто словом поэта в защиту другого поэта. В общем, мне предстоял длительный путь по пути мастерства, который, как я теперь всё яснее понимаю, у истинного поэта конца не имеет, ибо истинный поэт учится всю жизнь. Обсудив всех семинаристов в первый год обучения по одному разу, на второй год ВЛК Юрий Поликарпович в самом начале учебного года сказал, что посвятит весь второй учебный год исключительно лекционным занятиям с нами. А обсудить вторично планирует только двух поэтов — Евгения Семичева и Диану Кан. Эта новость также мигом облетела весь общежитийный наш коридор, на нас, к тому времени уже находящихся практически на пороге московского загса, посматривали с уважением, смешанным с завистью.

* * *

К «вакхическим» забавам своих семинаристов Юрий Поликарпович относился без одобрения, но в то же время и без осуждения. А поклонений Бахусу в общежитии Литературного института, на седьмом вээлкашном этаже, хватало. Как же, собралась разношёрстная компания поэтов и прозаиков со всех градов и весей российских. Кое у кого уже кое-что издано и как минимум каждый первый полагает себя областным (краевым) классиком. Доселе памятна мне попавшаяся тогда на глаза в общежитии тоненькая самиздатская коллективная книжечка стихов молодых поэтов под претенциозным названием чуть ли не «Классики Крыжополя»! Но полагая себя несомненным гением, каждый слушатель ВЛК тем не менее жаждет признания новых сокурсников. А для этого надо как минимум познакомиться. Для знакомства же надо как минимум распить бутылку спиртного. К сожалению, традиции общежитского творческого общения таковы, каковы они есть: вас попросту не поймут, если вы за знакомство предложите не выпить, а поесть, предположим, тортика. Кстати, и по цене выгоднее было бы… Ну да, не нами заведён вакхический обычай литинститутовского знакомства, не нам и осуждать его. Да и как осудить молодых, полных жизни и честолюбивых надежд провинциальных литераторов, вырвавшихся из своих родных захолустий на столичные просторы и поневоле испытывающих головокружение от московской атмосферы? По мере того как все перезнакомились, «вакхическое»

общение, конечно же, сошло на нет, вытесненное проблемами творческого характера и нелёгкого материального выживания в столице на более чем скромную стипендию. Но не для всех.

Некоторые так вошли во вкус, что никак не могли остановиться. К таким вот «разгулявшимся» принадлежал и ныне, увы, покойный поэт Владимир М. из Челябинской области. Мы все на ВЛК были потрясены, когда узнали, что во время одного из своих разудалых загулов М. угодил под поезд метро. Ему не довелось отделаться лёгким испугом, и он попал в больницу, после которой хромота у него так и осталась, зато мозги, кажется, встали на место. Володя М. перестал пить, чему все мы, его сокурсники, были несказанно рады, потому что, несмотря на творческую конкуренцию и непростые отношения между собой, все мы тем не менее прекрасно осознавали свою общность — ну хотя бы провинциалов в столице. Поэтому известие о том, что Володя после долгой «завязки», что говорится «развязался», было не из приятных.

Каким-то образом слухи о хмельных его приключениях дошли до Юрия Поликарповича. На одном из семинаров Кузнецов с укоризной попенял нам: «Что же вы, друзья-поэты, не остановите М., нельзя же так?». Все мы растерянно переглянулись, и неловкость воцарившегося молчания нарушил Евгений Семичев: «Юрий Поликарпович, кто же способен остановить того, кого даже поезд метро не остановил?..» Кузнецов отрешённо посмотрел в окно. А мы продолжали виновато молчать, хотя ручаться могу, что не было среди нас, обитавших в литинститутовском общежитии, ни одного, кто бы в той или иной форме не пытался воздействовать на Володю М. в смысле антиалкогольной пропаганды.

* * *

Отдельной темы заслуживает финансовое выживание студентов в столице. Потому что как только заканчиваются привезённые с собой деньги, тут же со всей насущностью встаёт вопрос — что дальше? Несмотря на то, что Литинститут, пожалуй, один из немногих вузов, где студентов в дополнение к стипендии во второй половине 90-х годов кормили бесплатно обедами, финансовый вопрос стоял более чем остро. Первое после приезда время жируя на привезённых из дома харчах и с азартом предаваясь обсуждению творчества друг друга, мы мало задумывались о завтрашнем дне с житейской финансовой его изнанки. Но уже на одном из первых семинарских занятий Юрий

Поликарпович вдруг сам, безо всяких просьб с нашей стороны, сказал: «Кому ещё не исполнилось 35 лет, назовите себя, постараюсь, чтобы вам дали творческие стипендии на следующий год…» Подходящих по возрасту нас оказалось человек шесть или семь. Пока Юрий Поликарпович записывал наши данные, Евгений Семичев обиженно сыронизировал, имея в виду себя: «Ну что ж, а кому за тридцать пять лет — то не жаль и помирать…». Юрий Поликарпович, занятый записями, казалось, пропустил эту реплику мимо ушей. Но как стало ясно в дальнейшем, он запомнил её, потому что через год помог Евгению Семичеву — единственному поэту из нас, провинциалов, кто во время своей учёбы на ВЛК не получал никакой материальной поддержки со стороны своей Самарской областной писательской организации — получить более весомую, уже не юношескую, а «настоящую» творческую стипендию Союза писателей России…

А пока, записывая наши имена, Юрий Поликарпович честно предупредил, что не может точно обещать, дадут нам стипендии или нет. Да мы и сами знали, что шансов немного, поскольку литература тогда (да и сейчас!) финансируется по «дважды остаточному» принципу. Финансируемая традиционно остаточно российская культура из невеликих своих достатков вынуждена ещё и «остаточно» помогать писателям, выделяя им творческие стипендии, соискателей на которые куда больше, чем самих стипендий. И тем не менее у Юрия Поликарповича оказалась счастливая рука (а скорее всего — сильный авторитет в правлении Союза писателей России, которое пошло навстречу его просьбе). И все мы, не достигшие 35 лет его семинаристы, стали творческими стипендиатами Союза писателей России, что очень помогло нам побольше думать именно о творческой, а не житейской составляющей нашей учёбы в Москве.

Юрий Поликарпович вообще как-то без лишних слов понимал всю сложность физического выживания писателя, да ещё студента, в столице. Поэтому всегда под предлогом того, что ему или некогда, или не голоден, он отдавал свои талоны на питание в институтской столовой своим семинаристам — то одному, то другому.

* * *

Как я уже говорила, Юрий Поликарпович всегда держал дистанцию со своими «семинаристами». Он никого особо не выделял, со всеми говорил на «вы» и корректно. Да мы и сами были не последние идиоты, чтобы не понимать, КТО наш Мастер.

Несмотря на его холодноватость, вээлкашные поэты любили его беззаветно — не только как гениального поэта, что как говорится, само собой разумелось, но и как редкого по нашим временам настоящего русского порядочного человека. Нечастая кузнецовская похвала в адрес того или иного слушателя ВЛК сразу становилась известной всему курсу и делала того, кто её удостоился, героем времени.

До сих пор я жалею, что не удосужилась записать лекции Юрия Поликарповича. Эта наша дурацкая беспечность — жить так, словно тысяча лет впереди! А между тем эти кузнецовские лекции — настольная книга для поэта, чтобы мозги его встали на место и эмоциональная «интернациональная» мешанина в голове уступила место стройному русскому мировоззрению.

Расскажу только об одном таком, весьма показательном эпизоде. Однажды, услышав не очень лестное мнение Кузнецова об Ахматовой, которую я в своё время чтила чуть ли не наравне с Пушкиным, я не стерпела. Думаю теперь, что тут сыграла роль «женская солидарность», весьма кружившая ещё мне голову в то время. Как же! Одни сплошные мужики захватили в свои твёрдые ручищи литературный процесс, нас, бедных женщин, за людей, то бишь за поэтов, не держат — то в Союз не принимают, то снисходительно отзываются… Где, спрашивается, справедливость? Ну и я, что говорится, набралась дерзости и попеняла Юрию Поликарповичу: «За что вы так Ахматову не любите?» Кузнецов пристально, словно впервые увидел, глянул в мою сторону: «Диана, вам надо учиться внимательнее читать… Цитату вспомните: „И если когда-нибудь в ЭТОЙ (Кузнецов слегка сделал ударение) стране поставить задумают памятник мне…“ Это сегодня мы то и дело слышим о России — „эта страна“, не ново, Ахматова ещё когда ТАК называла Россию…» Это был один из моментов истины, ради которых и стоило ехать к Кузнецову на ВЛК. «Эта страна» — ЭТА. Одно слово из трёх букв вдруг открыло мне мою любимую Ахматову несколько иначе. Мне вдруг приоткрылась трагедия, заключённая не в многих строчках, а втиснутая в одно слово. Кузнецов одним своим замечанием научил меня ЧИТАТЬ стихи. Конечно, слово ЭТА выдаёт некий момент отстранённости автора от своей страны, не говорим же мы о родной матери — «эта мать». Но ещё ведь ЭТА страна — СССР, советская, а была ТА страна — дореволюционная Россия, которую Ахматова застала в силу возраста, и которую считала родной. Так, благодаря Кузнецову я открыла для себя Ахматову не только как автора стихов о несчастной любви, но как поэта, чью глубокую гражданскую трагедию открыл мне Кузнецов…

Вообще, оценки Юрием Поликарповичем творчества того или

иного поэта были суровы, но, если вдуматься, эта суровость была справедливой и обоснованной. Он учил нас читать и воспринимать поэзию не читательскими, эмоционально-любительскими глазами, но — пристальным поэтическим взором, который должен видеть стихи насквозь. Чтение стихов должно было стать не праздным времяпрепровождением, но — творческой мастерской каждого из нас.

* * *

К концу нашей учёбы Юрий Поликарпович как-то сказал: «У меня на даче кран течёт, кто сможет помочь починить?» Вот, наверное, был момент, когда те из наших мужчин-поэтов, кто не владел азами сантехники, горько пожалели о своём неумении. Ведь это же была единственная предоставившаяся за два года учёбы на ВЛК возможность реального общения с Кузнецовым в неформальной, так сказать, обстановке. Как бы то ни было, делегированы на починку крана и утверждены Кузнецовым были поэт из Луганска Владимир Казмин и Евгений Семичев. Шебутной, но при этом очень обаятельный Вова Казмин, как человек сантехнически «бывалый», прямо со слов Кузнецова поставил «диагноз» текущему крану и даже раздобыл где-то некую блестящую деталь-штуковину, которую авторитетно называл «сгоном». И вот во время оно, в час назначенный-полуденный погожим майским днём Казмин и Семичев поехали с Юрием Поликарповичем на Киевский вокзал, чтобы добраться до кузнецовской дачи и починить кран. Наши вээлкашники с нетерпением ждали их возвращения. Ко мне в комнату периодически заглядывал кто-то из сокурсников и интересовался: «Ну как, ещё не приехали?» Я и сама сгорала от любопытства. И вот в десятом часу вечера явился Семичев. Жена Володи Казмина Светлана, приехавшая к мужу на побывку, строго спросила Семичева: «А где Вова? Кран-то починили?..». «Нет, кран не починили, сгон не подошёл, — отвечал Семичев, — потом немного выпили с устатку, не хватило, пошли в магазин, а я по пути сбежал домой в общагу… Им-то что, они мужики здоровые, их и литром водки не свалишь, а я если ещё чуть выпью, до дому не доеду…». Спустя ещё несколько часов в общагу заявился и Володя Казмин — он был задумчивый, с тем же пресловутым «сгоном» с руках. «Где Семичев? — изобразил он гнев, чтобы реабилитироваться перед строгой женой. — Мы с Юрием Поликарповичем его там ищем, думаем, куда девался, а он тут спит-почивает…». Тем не менее гнев Вовы был явно только для

проформы. А самому ему явно не терпелось поведать то, как и о чём они говорили с Юрием Поликарповичем…

Кран Вова поначалу честно пытался отремонтировать, но — увы, судьба в этом ему не благоприятствовала. Кран оказался крепким орешком, и с устатку, как водится, мужчины решили выпить по сто грамм. Разговорились. Володя Казмин когда-то служил в Афганистане, Юрий Поликарпович — на Кубе, так что разговор преимущественно шёл об армии. Конечно, как порой бывает, когда русским людям есть о чём поговорить, выпивки не хватило. Собрались сходить в ближайший магазин, который находился за несколько километров от посёлка. По пути Семичев отстал и… уехал в Москву. Юрий Поликарпович и Владимир Казмин долго и безрезультатно искали Семичева в лесу. Стояла тихая майская ночь, хвойный лес вокруг, тишина… Слушая Володю Казмина, я для себя мысленно экранизировала его рассказ, как всегда делаю, когда мне интересно. Идя по лесу, Юрий Поликарпович и Володя Казмин взяли в руки длинные прямые ветви и устроили при лунном свете нечто вроде импровизированного богатырского поединка, где вместо мечей были ветви хвойных деревьев. Двое высоких русских красивых мужчин богатырского сложения, бьющиеся при лунном свете деревянными мечами. Я ахнула, слушая Володю и представив себе эту картину так въяве, словно бы сама присутствовала там… А потом снова и снова удивлялась в душе тому, что суровый и застёгнутый на все пуговицы Кузнецов может быть таким большим ребёнком. Хотя при этом умом понимала, что, конечно же, если бы Юрий Поликарпович, несмотря на свой жизненный опыт и литературный статус, в душе не оставался русским романтиком, он бы вряд ли мог быть оставаться таким уникальным поэтом — всегда новым и всегда неожиданным, с чистотой и свежестью восприятия, которые есть только у детства.

…Образ летящей в пропасть России при всей его трагической пронзительности — как образ именно русского полёта над бездной — я часто ощущаю во сне. И верю, что нет и не может быть такой смертельной пилотажной петли, из которой Россия не вырвется опять в зенит, пока она способна рождать таких поэтов, как Юрий Кузнецов. Стихи Кузнецова — воистину звёздный свет, который светит нам во мгле смутной России сквозь время и пространство даже после гибели «источника своего излучения».

г. Новокуйбышевск,
Самарская обл.

Диана Елисеевна Кан родилась 10 мая 1964 года в Термезе. В 1990 году окончила журфак

МГУ. Позже продолжила образование на Высших литкурсах. Автор поэтических сборников «Високосная весна», «Согдиана», «Подданная русских захолустий» и других книг.

Константин Кедров. Чаша Юрия Кузнецова

Я не настаиваю на точности хронологии. Слишком давно это было. В конце 60-х я, молодой аспирант Литературного института на Тверском, 25. Два поэтических имени у всех на устах: Коля Рубцов и Юра Кузнецов. О каждом — своя легенда, хотя вот они здесь, рядом, ходят по коридорам, сдают экзамены. У Рубцова пока всё в порядке. А вот Кузнецов не избежал литинститутского обряда инициации гениев: прыгнул с пятого этажа и повредил позвоночник. Его выхаживала студентка из Казахстана, ослепительной красоты, в восточных одеждах. К сожалению, я знаю несколько случаев, когда прыжок из того же окна на улице Добролюбова заканчивался гибелью или инвалидностью на всю жизнь. Я уверен, что медицине в случае с Юрием помогла и казахская магия, и сила его стиха.

Аспирантам иногда приходилось читать лекции вместо заболевших преподавателей. На моей обзорной лекции перед выпускным экзаменом по фольклору Юра не просто присутствовал, а что-то нашёптывал и даже записывал. Это была моя первая лекция в институте, и я помню её наизусть.

В каждой сказке присутствует формула превращения, когда в безобразном надо узнать прекрасное. Например, царевна — лягушка, а лягушка — царевна. Хитрость в том, что существуют они не отдельно, а вместе. Не царевна и лягушка, а именно так, через черточку: царевна-лягушка. В безобразном — прекрасное, в прекрасном — безобразное. Жизнь — смерть, а смерть — жизнь. Как говорит Гегель в «Науке логики»: «Итак, чистое бытие — это небытие. Итак, чистое небытие — это бытие». Иван-царевич поступает глупо, сжигая лягушиную кожицу, сброшенную царевной. Таким образом он теряет и царевну, и лягушку. Как тут не вспомнить тургеневского Базарова, который, собираясь препарировать лягушку, утверждает, что люди — те же лягушки. В результате он теряет и царевну — Одинцову, и свою жизнь.

А потом по всему институту ходило в рукописи стихотворение про Иванушку, препарирующего лягушку: «И улыбка познанья играла на счастливом лице дурака». Позднее я заметил Юрия Кузнецова на своём аспирантском докладе о философии «общего дела» Николая. По учению этого незаконнорождённого сына князя Гагарина, мы живём ради воскресения наших умерших отцов. В противном случае мы все — людоеды, поскольку питаемся плодами чернозёма, а чернозём —

это прах родителей, и дышим атмосферой — это газовые останки умерших.

Хорошо помню, что Юрий задал мне вопрос, больше похожий на ответ: не грех ли — кремация? Я ответил, что процесс горения сродни процессу гниения. Гниение — то же горение, только замедленное. По лицу Юрия видел, что он со мной не согласен. И тут я произнёс свою формулу превращений: лицо — маска черепа; череп — маска лица; жизнь — маска смерти; смерть — маска жизни. Вспомним разговор Гамлета с черепом Йорика. Глядя на череп любимого шута, Гамлет мысленно оживляет его, надевает на него маску из мускулов и кожи, растягивает в улыбке умершие губы. Не так ли и князь Святослав пил заздравную чашу из черепа, оправленного в серебро.

А вскоре в «Литературной газете» началась глупейшая дискуссия вокруг великолепной по глубине и трагизму строки Юрия Кузнецова «я пил из черепа отца за счастье новых дней». «Нравственно ли пить из черепа отца?» — вопрошал титулованный критик, то ли притворяясь, то ли и в самом деле не понимая метафоры.

Пить из черепа безнравственно. Ещё безнравственнее — судить о поэзии, ничего в ней не понимая, и превращать поэтический образ в пошлость. Вот уж поистине «улыбка познанья играла на счастливом лице дурака».

Мы, конечно, несколько раз пили с Юрием в общежитии на Добролюбова и отнюдь не из черепов. Но сегодня я пью из того черепа из стихотворения Юрия Кузнецова. Пью за его поэзию, не чокаясь.

Константин Александрович Кедров родился 12 ноября 1942 года в Рыбинске. В 1965 году окончил филфак Казанского университета. В 1972 году защитил кандидатскую диссертацию. В 1996 году стал доктором философских наук. В 2001 году выпустил «Энциклопедию метафоры». Автор многих поэтических книг и критических работ.

Вячеслав Киктенко. Китоврас

Он не ходил по кривой.
Не умел.
Только — по прямой.

«Язык мякок кость ломить» — это словно о нём в древнерусском «Сказании о Китоврасе» молвлено было. Я не оговорился, «Сказание о Дивьем звере Китоврасе и премудром Соломоне» когда-то входило в ветхозаветный библейский текст, но впоследствии было изъято из него по каким-то сложным теологическим соображениям. И, пожалуй, не стоило бы упоминать об этом, кабы не одно удивительное свойство этого текста — он настолько полюбился и прижился в сознании Древней Руси, что стал одним из любимых древнеславянских памятников, входящих в знаменитую книгу «Изборник». Думается, полюбился не столько хитро-затейливыми загадками-разгадками мудреца Соломона и диковинного тайновидца Китовраса, сколько самим могучим образом этого «Дивьего зверя».

Не умел он ходить по кривой, не умел нарушить данное слово, обещание, и однажды по дороге в Иерусалим к Соломону, закованный в цепи хитрыми слугами его, этот великан, поневоле сметавший всё, что встречалось на пути, пообещал убогой вдове по мере возможности не разрушить её домик — всё, что у неё оставалось в жизни — и так изогнулся на ходу, что домик остался цел, но крайним бревном сломал ребро Китоврасу. Тут-то он и сказал своё великое — «Язык мякок кость ломить».

Таким великаном видится теперь мне Юрий Кузнецов. Идёт он, глядя вперёд, только вперёд, поводя своими громадными, навыкате, глазами, и телескопическое зрение его охватывает всё видимое и невидимое — тайное — пространство. Ему уже не нужно оборачиваться назад, он прошёл великий лес славянского язычества, и как прошёл! Так прошёл, что в сознании многих читателей остался певцом именно этой стороны русского мира. А для некоторых, кажется, таковым и останется. Хотя давно уже идёт, движется в пространстве христианства. В пространстве Православия, конечно, в пространстве Единой Соборной и Апостольской церкви.

Я не часто встречался с поэтом, и сам не думал, что когда-то скажу о нём слово — как выяснилось, прощальное слово. Скажут еще многие, гораздо лучше меня его знавшие, но вот ведь какая неожиданность — возникла вдруг неодолимая потребность

сказать о нём. Сказать то, чего другие, возможно, и не скажут. Просто открылось именно теперь ясное осознание того, кем он был и остался в русской поэзии. Попробую передать это как можно проще и светлее.

Заочно познакомил нас Пётр Кошель ещё в начале 80-х годов. Он передал Кузнецову мои стихи (я жил тогда в Алма-Ате) для сборника «День Поэзии» — теперь уже легендарного сборника, где Кузнецову удалось собрать все лучшие силы молодой русской поэзии. Несмотря на то, что сборник был искалечен цензурой и обруган официальной прессой, нутром учуявшей в том сборнике глубоко русское и глубоко чуждое ей начало, это было Событие! Впрочем, об этом наверняка ещё скажут непосредственные соредакторы книги — Пётр Кошель, Владимир Бояринов, Станислав Куняев, Лариса Васильева, Олег Чухонцев, Олег Кочетков и другие. Может быть не все, но наверняка скажут. Я находился вдали от Москвы и не знал всех сложностей, связанных с выходом «Дня Поэзии — 83». Об этом узнал в один из приездов в Москву от самого Кузнецова.

Юрий Доброскокин (Царствие ему Небесное!), высоко отмеченный Вадимом Кожиновым редкий русский писатель-рассказчик, тогда близко общавшийся с поэтом и его семьёй, позвонил ему, и он пригласил нас в гости. Был с нами Кайрат Бакбергенов, яркий русскоязычный поэт, учившийся ещё с Батимой, его землячкой, женой Кузнецова. Им тоже было о чём поговорить, что вспомнить. Встреча была очень гостеприимной и неожиданно для всех затянувшейся далеко за полночь. Тогда я и узнал, почему от полноценной моей подборки в «Дне Поэзии» остались обрывки. Юрий Поликарпович долго не объяснялся, просто извинительно развёл большими руками и сказал: «Это всё, что могло пройти… власть не наша… редакторы в издательстве полютовали…».

Странно, но даже та обрывочная подборка была замечена, на стихотворение «Полёт» («Летели два гуся, особенно крайний…») писали музыку, исполняли по телевидению — до сих пор не пойму, какие это были ансамбли? Кажется, фольклорные. Хотя стихи шли в другом разделе. Но меня тогда не очень волновало, почему порезали стихи, я пришёл к Поэту, и это было главное. Тем более что Юрий Поликарпович как-то вскользь (мне тогда показалось — необязательно) пообещал, что при случае восстановит подборку. Надо было знать — а я не знал! — Кузнецова, что ничего случайного и необязательного в его словах и посулах не бывало. Десяток лет спустя он действительно, уже будучи зав. отделом поэзии в «Нашем современнике», напечатал изъятые стихи. Причём восстановил до мельчайших подробностей

свою — а не издательскую — правку отдельных строк. Это же надо было столько лет держать в памяти каждое слово, каждый нюанс, вплоть до знаков препинания! Думаю, не только со мной происходило подобное. Уж если он обещал — делал. Уж если выправлял корявую на его взгляд строку (а я потом неизменно восстанавливал в книгах свой вариант), то — навсегда.

Он мог ходить только по прямой!..

И вот что самое, наверное, интересное было в той встрече — это его прямота. Об этом стоит сказать подробно, потому что за тем разговором и открылась мне его дорога, его позиция, перспектива его поэзии.

Стол был накрыт, бокалы наполнены, первые тосты сказаны, но… но дальше всё пошло по самому фантастическому сценарию. Мы с таким жаром и страстью несколько часов кряду обсуждали одну лишь тему, что и Батима, и Доброскокин потом изумлялись. Случай для Кузнецова, оказывается, нечастый. А разговор наш был о предмете колоссальной значимости. Он был о… Курочке Рябе. Я без малейшей иронии говорю — разговор был настолько глубок и захватывающ, что, сцепившись в споре, ни он, ни я не могли уже отступить и поговорить о чём-то ином, о чём-то более нейтральном и спокойном, нежели эта — самая загадочная и, может быть, самая великая русская… хотел сказать — сказка. Но это теперь для меня не просто сказка, это уже нечто большее, гораздо большее.

По сию пору благодарен Оленьке Солоухиной, моей сокурснице по литинституту, в студенческие годы приносившей для меня по очереди три огромных драгоценных тома «Поэтических воззрений славян на природу» Афанасьева из библиотеки отца, практически недоступных тогда, но именно в ту пору необходимых мне как воздух. Я взахлёб читал эти книги, выписывал, помню, целые страницы, возвращал книгу, и получал очередной том. Видимо, не без влияния колоссального труда этого учёного-подвижника всерьёз и надолго увлёкся русской мифологией, народным творчеством. Многие загадки и тайны, скрытые в нём, и доныне волнуют душу, заставляют то и дело возвращаться к простым, казалось бы, истинам, к самым простейшим вещам и словам, сложнее которых и не сыскать!

Вот и в тот вечер, чувствуя, даже наверняка зная о том, что поэтика Кузнецова подпитывалась от тех же истоков и корней, завёл разговор о давно мучавшей меня загадке. Я спросил у него — знает ли он автора самого известного текста «Курочки-Рябы», того самого, что читают детям на ночь? Где в конце дивное утешение — «Не плачь, дед, не плачь, баба, я снесу вам новое яичко, не золотое, а простое»? И о чём вообще эта сказка, на его

взгляд?

Он удивлённо повёл бровями, затем издал характерное похмыкивание-покряхтывание, хотел, видимо, поделикатнее отмахнуться от глупого вопроса. Но — на полпути к отмахиванию — вдруг задумался и замолчал. Замолчал надолго. Смотрел мне в глаза, может быть, прикидывал — не розыгрыш ли это с моей стороны, не с очередным ли хохмачом свело его в этот вечер? Убедился, что нет, не праздный это вопрос. И вот тогда застолье окончилось. И началась долгая-долгая беседа, перешедшая в яростный спор, которого никогда мне уже не забыть.

Дело в том, что я уже не первый год пытался отыскать автора именно этого текста сказки, но никак не мог. Сказку эту обрабатывали и А. Н. Толстой, и А. Ремизов, и другие писатели начала 20 века, увлекавшиеся русским фольклором. Но всё это были другие, авторские варианты. Поначалу меня удивляло разнообразие сюжетных ходов, даже некая беспардонная, как мне казалось, вольность в обращении с народным произведением. Но обратившись к академическому собранию сказок, я нашёл объяснение этой вольности. Все варианты в этом собрании разительно отличались друг от друга. Но того варианта, которого я искал, там тоже не было. Тогда-то я и задался «простым» вопросом — а о чём вообще эта сказка? И каково её происхождение?

Я поделился своими «изысканиями» и недоумениями с Кузнецовым. И вот тогда он задумался по-крепкому, и даже разволновался не на шутку. — «Как это о чём? О золотом и простом яйце… тут и гадать-то нечего… все дети это знают!..». На все мои предположения, что это не просто сказка о житейской незадаче, случившейся с пожилыми крестьянами, живущими себе на земле и ведать не ведающими о всяческих неземных чудесах, что не просто случайная мышка разбила яичко и тем самым помогла старикам (да и помогла ли? Зачем же тогда стариковские слёзы в конце?), что здесь явно проступают следы какого-то более древнего солярного мифа, что на уровне одной лишь «земной» трактовки этой сказки не разгадать, — на все мои доводы Юрий Поликарпович только отмахивался, но злился между тем — это было уже не скрыть — всё больше. Причём злился, вероятно, всё больше на себя, на то, что сразу дал только одну — земную — трактовку и теперь не мог дать обратного хода.

А отступать было не в его характере.

Он ходил по прямой.

Разозлись он на меня — просто закончил бы разговор, или указал на дверь. Но он вновь и вновь подливал в рюмки, заводился всё больше с каждым моим доводом, и мы снова шли

по разворачивающимся кругам нескончаемого спора. Я высказал предположение, что Есенин хорошо знал какие-то более древние изводы этой сказки, и даже варьировал в своих ранних стихах многие солярные, лунно-солнечные мотивы древнерусской поэтики. Ну, например:

Облак, как мышь, побежал и взмахнул
В небо огромным хвостом,
Словно яйцо расколовшись, скользнул
Месяц за дальним холмом…

Это было прямо по теме. И Кузнецов понимал, чувствовал, что мы здесь действительно имеем дело с обломками какого-то древнего, возможно гигантского мифа. А все варианты на тему его — это и есть те самые осколочки, что публикуются и выдаются за детские сказки. Не мог он этого не понимать.

Но и отступить не мог.

И тогда, прямо по-детски, уже в который раз он прокричал — «Да эту сказку все дети знают!.. мои дети знают её… Анечка!» — крикнул он в соседнюю комнату, и, весело пританцовывая, влетела в зал прелестная задорная девчушка лет семи. — «Анечка, ты же знаешь сказку про Курочку-рябу?.. ну вот, прочти её нам…» Но Анечка, всё также пританцовывая, внимательно разглядывала книги и фотографии на столе. Увидела мою книжку стихов, недавно вышедшую и только нынче подаренную Кузнецову, сравнила фотографию на обложке с моим лицом, и весело, звонко спросила: — «А вы сколько денежек получили за свою книжку?». Мы все рассмеялись, и я ответил — «Целых полторы тысячи рублей!» (Крепких, советских ещё рублей). И тогда Анечка торжествующе, с гордостью за отца выкликнула: — «А мой папа целых семь тысяч!» И — победно прокрутившись на одной ножке, также весело вытанцевала из комнаты. Юрий Поликарпович, любовно поглядывая вослед дочурке, с явно наигранной досадливостью что-то пробурчал, махнул рукой, и снова наполнил рюмки.

Спору нашему не предвиделось конца. Батима с лёгкой опаской поглядывала на разошедшихся спорщиков, подливала наваристой бараньей шурпы в чашки, но дело уже было не во мне — сам Кузнецов не желал прекращать разговор. Он всё пытался доказать сугубо «земное» происхождение сказки, приводил примеры того, как иногда куры в самом деле, от нехватки каких-то минералов и солей, несли золотые (точнее, наверное, — золотушные) яйца, но сам чувствовал — это не то, не совсем то, что ему хотелось сказать по истинной сути. И я, чтобы поскорее

завершить разговор — надо же было пощадить хозяев, уже за полночь перевалило, — привёл ещё один, апокрифический извод сказки. Страшный извод, явно апокалиптический. В нём не было ни золотого, ни простого яйца, а было яйцо: «Пестро, востро, костяно, мудрено», узнав о котором, сельская прачка бельё в реке утопила, а дьякон колокола со звонницы сбросил, а поп — все книги сжёг! Об этом варианте Кузнецов, кажется, не знал. Он только покачал — как-то горестно-восхищённо — покачал головой и, ни слова не говоря, прямиком отправился в спальню.

Батима облегчённо вздохнула, да и мы тоже. До закрытия метро оставалось около получаса, а разговор на такую тему мог лишь длиться и длиться. Мы ещё выпили на дорожку шурпы — той добротной казахской шурпы, которая чётко трезвит и вливает новые силы не только в подуставшую плоть, но и в одуревшие головы…

Мы никогда больше не говорили об этом с Кузнецовым. Но я чувствовал в нечастые наши встречи, что он помнит о том разговоре. И почти всегда, досадливо хмыкая при отборе стихов, отмечал те, что каким-то образом связаны со сказкой…

Его прямота поразила меня сразу — с первого прочтения. Со знаменитой «Атомной сказки», с «Возвращения», с «Гимнастёрки» и других ранних шедевров. Поначалу я и не пытался понять, в чём же сила его прямоты, просто восхищался новизной, поэтической дерзостью, и этого было достаточно. Но вот пришли сроки, и я пытаюсь дать себе — хотя бы себе — в этом отчёт. Ведь чем-то же отличался в корне Кузнецов от всех, буквально от всех современных поэтов, среди которых есть и поэты нешуточной величины? Отличался.

Странные были у него суждения. Порою шокирующие. Ну, вот например, спросил он меня — «А вы знаете о том, что русский поэт должен жить в Москве?» — Спросил так бесповоротно, что я, живший тогда не в Москве, был ошарашен, и просто отрицательно покачал головой. Он повторил ещё более грозно: — «Русский поэт должен жить в Москве. Вот и всё». Я, которому бытовые обстоятельства многие годы не давали возможности перебраться в Москву, всегда знал, что буду здесь жить, что это почему-то необходимо мне творчески и судьбинно, я не стал тогда спорить с Кузнецовым, но думать об этом долго не прекращал. И вот что, мне кажется, понял. Он имел в виду далеко не только близость к лучшим журналам, издательствам, но в первую очередь — ту энергетическую сгущённость, то силовое и духовное поле, которое за многие века склубилось над Москвой. Ту вертикаль духа, которая была выстроена всей историей, всей жизнью, и если угодно — всей архитектоникой русской государственности

именно над Москвой. И если поэт в силах выдержать это, порою нечеловеческое уже, напряжение незримых волн и силовых линий, и продолжать здесь творить, он может называться русским поэтом. Он прошёл проверку на прочность. Москва испытывает творческого человека, особенно поэта — как никого другого. Это не значит, что все, живущие и пишущие в Москве, — поэты. Но поэт, оставшийся здесь собою, — воистину поэт.

Или вот мнение его о женской поэзии (не знаю, изменил ли он его в конце концов): «Настоящий поэт — мужчина… мужчина даже смерти не боится…» Эти, и другие его высказывания по поводу женской поэзии вызывали яростные споры, а то и усмешки. Но главный довод Кузнецова так никто и не оспорил — «Божественную комедию» или «Фауста» способен создать только мужчина, подвижник, богатырь.

А поэтесс он печатал. И даже очень нередко. И все они говорили об исключительном рыцарском его отношении к женщинам.

Он шёл по прямой.

В самых спорных его высказываниях была исключительная прямота, которую не мог не отметить никто из общавшихся с ним, и не восхититься ею, пусть даже втайне.

Но самый великий подвиг его прямоты — это его поэзия.

Мысль — вот коренной его центр. И это поразительно. Особенно поразительно в России, где, с лёгкой руки Пушкина, принято и горячо подхвачено суждение о том, что «Поэзия, прости Господи, должна быть глуповата». Тот же Пушкин, впрочем, восхищаясь стихами Боратынского, старался подчеркнуть в нём именно умение мыслить, чего в поэтической России, кажись, и не было до Евгения Абрамовича — так, во всяком случае, думалось или хотелось думать Пушкину. Но был и Вяземский, подчёркнуто «думающий» поэт, был и великий философский лирик Тютчев, да и мало ли было их, напряжённо «мыслящих» поэтов? Рискну утверждать, что до Кузнецова не было в русской поэзии Рыцаря Мысли в полном, окончательном, бесповоротном смысле слова. И Боратынский, и Тютчев — это непререкаемые имена, это наша классика, это наши вершины. Но ведь мысль, как таковая, была в их творениях одной из составляющих — мощных составляющих, разумеется. Но она не была их Главным Направлением. Она неодолимо, порою помимо авторской воли, обволакивалась «влажностью», нежностью лирического чувства, душевными переливами и нюансами… Ни в коем случае не хочу отказать Кузнецову в тонкости лирических переживаний, но он единственный, на мой взгляд, русский поэт, пошедший до конца по пути Мысли. Другое дело, что сама его мысль порою не

воспринималась как нечто привычное нам, как цепь умозаключений и силлогизмов. На это был горазд Брюсов, к примеру. Но Кузнецов-то — слишком поэт, чтобы просто «рифмовать мысль». Да и как она зарождается у него? Она у него не просто мысль, она имеет цвет, запах… национальность, в конце концов! Невероятно? Не может быть? А вот у Кузнецова — может! Пошёл вот человек шататься с тоски, а увидел — небо. А небо — высоко. А поле — широко. И высота, и ширина, и глубина Мысли, оказывается — здесь, а не в великих фолиантах (хотя и в них, и в них, конечно!), и она исходит корнями из родной земли, и ветвится невидимым, а порою мгновенно видимым — молниеносным — деревом именно отсюда, из родимых небес. Это — начало мысли. Но когда схвачено ТАКОЕ начало, то и продолжено оно воистину по-крупному, и доведено до предельно честного — и потому, в основном потому неожиданного! — своего завершения. Вот в чём, мне кажется, непохожесть Кузнецова на других — он первый в русской поэзии пошёл до конца, пошёл по бесстрашной прямой в движении поэтической мысли. От незримого будничным взглядом истока Мысли (может быть, это молния, а может быть, туча, а может быть — «пустячок», навроде листочка на ветке) до объёмного разворачивания во всей полноте движения и завершения этой мысли. И потому такими неожиданными, парадоксальными казались и кажутся его поэтические ходы и образы, что он додумывал — до конца. С самого начала, и — до конца! И потому мысль у него — живая как никогда, и она пронизана огнями, она светится всеми нервами своими, всеми живыми, корневыми своими окончаниями. И потому, когда падающий лист у него визжит в «Осеннем космосе», то этому веришь, ибо здесь — живая мысль, слившаяся с гибнущим листком, и ей, живой и беззащитной, может быть и больно, и страшно, как всякому живому существу…

А почему она, мысль, имеет у него не только цвет и запах, но и национальность? Да все потому же — не ходил поэт по кривой, а ходил-переходил русское поле, и однажды увидел — «пустячок» — листок на ветке болтается. Этот листок видел ещё и Афанасий Фет, и до него видели, но если для Фета он увиделся классически завершённым образом:

> Этот листок, что иссох и свалился,
> Золотом вечным горит в песнопенье,

то Кузнецов здесь увидел самое Начало. Прямое начало Мысли.

Пошёл и напился с тоски…
Так русская мысль начинается.

Вячеслав Вячеславович Киктенко родился 1 мая 1952 года в Алма-Ате. В 1980 году окончил Литинститут. Первый сборник стихов «Росла трава» выпустил в 1980 году.

Владимир Личутин. Между небом и землёю

С Юрием Кузнецовым (я не хочу к нему приникать вплотную, говорить, что мы были друзьями, близкими людьми), так получилось, что наши жизненные или, вернее, творческие стези как бы соприкоснулись и шли бок о бок. Помню, как в 1976 году на съезде писателей СССР я с ним познакомился. Тогда нас было трое — Плетнёв (прекрасный русский прозаик), Юрий Кузнецов и я. Саша Плетнёв, высокий, осанистый такой, шахтёр, кудря чёрная на голове, глаза пронзительные, лукавые. И Юра, похожий на Блока, в начищенных штиблетах, высокий, сановитый, взгляд принащуренный такой, принахмуренный, лоб высокий, покатый, стоит так, покачиваясь, и дружески разговаривает с Плетнёвым, оба почти одинакового роста, оба красивые. И тут такой пенёк маленький сидит. Кузнецов так вскользь на меня посмотрел и даже мне ни одного слова не сказал, что меня несколько смутило и огорошило, потому что я был им очарован. Красивый. Оба красивые. А так получилось, что первые три статьи были о нас в журнале «Москва» рядом, значит, про Юрия Кузнецова, Плетнёва Сашу и про меня. И я там выглядел внушительно: у меня голова большая, такая крупная, львиная причёска. Я тогда учился на Высших литературных курсах. Саша Плетнёв сидел сзади, а мы ещё были не знакомы, и он спросил меня: «Ты кто такой?». «Я — Личутин». «Ха-ха-ха-ха! Ты и есть Личутин? Шибздик такой. А я думал — ты великан».

И когда мы познакомились более близко, то обнаружилась наша схожесть в детских впечатлениях. Помню у Кузнецова: «Отец!..Ты не принёс нам счастья…», его стихи. Это восклицает мальчик. У меня отец погиб в 42-м. И от него осталась наволочка писем. Мать часто вечерами, когда ей было очень тошно и нужно было как-то прийти в память, чтобы не покончить с собою, воспитать детей, она ложилась на кровать и эти письма раскладывала на груди, читала их перед сном и восклицала: «Счастливый! Вот ты погиб, а меня оставил на страдания». Это был непонятный для меня и совершенно несправедливый упрёк, потому что мы же ещё были на земле, а он уже был там, где безоблачно, торжественно и счастливо. То есть эта тема небесного счастья, небесного рая она, как можно проследить, Юру тревожила, беспокоила и провожала всю его жизнь. Здесь скудость, здесь хворь, здесь несчастья, здесь трясина, здесь хмарь-болотина, засасывающая всё человеческое, чистое. А там, в

небесном рае, наконец, наступает счастье.

О рае и аде писали многие. О Христе написаны тысячи томов, и будут писать бесконечно, пока существует мир. Уж так создан человек, что он опирается на идеал. А Иисус Христос — Бог, Господь — он всечеловеческий идеал. И каждый стремится прикоснуться хотя бы к плащу этого идеала и напитаться чем-то чистым, сокровенным: будет мечтать об этом идеале и стараться хоть чем-то быть похожим на него. Поэтому, когда раздавались упрёки Кузнецову, что, мол, нельзя писать о Боге, что это кощунство, то я, конечно, возражаю всем внутренним существом. Мы все хотим понять Христа. В чём дело? Почему человек стал Богом? Значит, в самом человеке заложено это божеское? И если мы овладеем своими страстями, если мы успокоим в себе гордыню, если мы вспомним в себе человеческое и начнём пестовать его и воспитывать, мы можем ещё на земле хоть в малом уподобиться Богу. Вот в русском народе мечта о рае и жила, и бесконечно жила, и это было совершенно обычным состоянием, как обычным было понимание Бога. Бог был живой. Он никогда не покидал Русь, он приходил к несчастному, бедному, униженному, кто соблюдал заветы Христовы, и помогал ему. Это был живой человек. И вся вера православная до Никоновых реформ зиждилась на том, что Христос «живяе» среди нас, и при усилии нашего душевного взора, мы можем разглядеть его. Они сидят в раю — Бог, Сын и Дух Святый, попивают винцо. Это была живая Троица. И этим была крепка вера, что Христос живой человек. И он живым вознёсся. Когда мы потеряли чувство живого Христа, когда он превратился в эфир и пар, в некую оболочку и огнь возносящийся, тогда и православная вера припотухла, принаклонилась и потеряла свои трезвые, чёткие и ясные человеческие границы. Христос после Никона стал несколько размыт. Он размыт стал не столько в вере, как в человеческом понимании. И даже священнослужители не могли донести до православной души понятие «что такое Бог». Люди понимают Бога, Христа, как человека, сидящего на небесах, а им внушают, что это некий эфир и пар вознесшийся. И этот конфликт крепко угнездился в душе человека и, между прочим, следствием этого и стала революция 17-го года. С одной стороны, Бог есть, и, с другой стороны, Бога нет — это некий эфир вознесшийся. И поэтому церковь разрушали не пришедшие со стороны — не латиняне, не сошедшие с небес бесы, но церковь рушили те самые, верующие хрестьяне, не терявшие Бога. Но Бог у них был другой, Бог живой. А им сказали, что живого Бога нет.

И у Кузнецова было желание понять, что такое Бог «живой». Конечно, это желание очень сложное, может быть, и

неисполнимое. Это некое идиллически-романтическое мечтание. Потому что мы уже не можем увидеть Бога, у нас другая структура души. Бога мог увидеть хрестьянин 17-го века. Могли увидеть Бога в 18-м и даже в начале 19-го века. В 20-м веке Бога живого крестьянин уже увидеть не мог, потому что Бог был развенчан. Нет, Христос жил, он по-прежнему не покидал Руси, но только взор наш стал слепой. Лишь душевным, внутренним оком можно его увидеть. И поэтому, с одной стороны, попытка была естественная у Юрия Кузнецова увидеть и написать о живом Христе, а, с другой стороны, это была и невозможная попытка. Но это понимание не отнимает желания написать живого Христа. Русские люди, особенно женщины, летали на небеса, и это зафиксировано во многих преданиях. Они были в аду, русские женщины, они были в раю. Они видели всё это и запечатлели. Но они запечатлели это точно так, как это хранилось в заветах церковных. То есть вроде бы небеса, но — это небесная твердь, и всё, что там располагается, точно так же, как на земле. Те же самые сады, птицы, соловьи поют, яблоки падают, дворец (дом Бога), в нём сидят Иисус Христос и Дух Святый. То есть когда наши предки, бабушки наши, взлетали на небеса, были там, они видели то, что им было завещано. Они плотской душою такою видели, естественной. И им было очень легко всё это видеть. Они заходили в ад и слышали стенания грешников, видели чертей с чертовками, то есть видели всё так, как изображено в сценах Страшного Суда в церквах. Вот черти мешают кочергами в котлах, грешники стонут, мечутся. Блудодейцы-бабы лежат на каменных лавках, и бесы хлещут огняными вениками бесконечно, на колу кто-то сидит, кому-то язык прищемили. То есть они видели так, как это творилось в мире, потому что ад на небесах повторяет то, что творилось на земле. Юрий Кузнецов, стараясь писать Ад, с одной стороны пытался совершить восхождение на небеса и повторить тот путь, каким летали женщины наши православные, страстотерпицы. Но ему не удалось. Потому что он сам-то не летал! По крайней мере, нет свидетельств, что он летал на небеса. И поэтому ему трудно написать Ад. Он красив в его изображении, то есть поэма прекрасна. Может быть, даже гениальная по изображению, по структуре языка, по метафорике, по своей торжественности, античной торжественности стиха. Они многомудрые — эти поэмы. Но, увы… как бы он ни пытался, как бы он себя не истязал… А мы знаем, что он истязал себя сильно. Когда он приходил в Литинститут после написания поэмы — весь опухший, в желвах, глаза налиты кровью, — то выглядел человеком, прошедшим какие-то страсти необыкновенные. И признавался своим студентам: «Вы знаете, я же был в аду!». То

есть он говорил, что он был в аду. Значит, переживал такие же чувства, как бы он был в аду, но нет свидетельства, что он действительно был в аду, что он туда летал. Он не оставил вот этого наглядного свидетельства, где было бы так же всё ясно, как у женщин, что летали на седьмое небо. И так Юра не был на самом деле в аду, поэтому его ад аморфен, расплывчат. Это облака, похожие на дворцы, это тучи, это дым, похожий на тучи, это прах, это бездна, тень от облака и тучи, это свист и ветер. То есть нет точного очертания ада. А в чём сила настоящих верующих от меня, или от нынешних верующих? В том, что они точно знали, что такое ад и что такое рай каким-то мистическим, внутренним чутьём, чутьём души. За прелюбодеяние — это грозит, за кощунство — то-то, за предательство это. Они точно знали. И они знали всё, что будет, если они будут в раю. И вот этому точному знанию ада Юрию Поликарповичу очень мешала литература. Он должен был очень изощряться в художественности текста. Посмотрите, как строка Кузнецова насыщенна метафорой, какая она густая. Но Ад не плотский получился, а образы очень плотские, строка плотская. Всё неопределённо, а сама поэтическая строка — она очень густая и пронзительно художественная.

Юрий Кузнецов в этих поэмах трагичен. И не тем даже, что он описал, а трагичен, прежде всего, предощущением. Так получилось, что он описал ад и только приник к раю — и тут завершился его жизненный путь, и поэтому сами поэмы наполнены совсем иным чувством, получилось какая-то эссенция чувства, и мы накладываем на каждую строку знание того, что он вскоре умер. И мы спрашиваем себя, а что с ним сейчас, в каких лабиринтах Юра плутает, и что с ним происходит, и неужели он повторяет те же пути, которые прошли грешники в тех самых теснинах, где Гоголь летает в гробу, по колени объятый пламенем. Неужели, думаешь, он «накаркал себе». А в то же время, когда поэт описывал Ад, он-то был уверен, что будет в Раю. Это просверкивает — Бог всё время ведёт его за руку, и обнадёживает, говорит: «Не бойся, иди сквозь Ад, тебе же место всё равно будет в Раю». И вот эта уверенность, что он будет в Раю, помогала ему протискиваться сквозь теснины Ада. Он даже пишет, что вроде бы ангел ему мечом эту щель расширил, чтобы он туда проник, ведь она была как игольное ушко сначала. И он взмолился Богу: «Дай посмотреть!». И ангел щель мечом раздвинул, и он прошёл. И на этом обрывается самое могучее его художественное, поэтическое творение… Тут, конечно, много трагического и очень опасного для человеческой сущности. Потому что в поэме «Сошествие в Ад» поэт выступает в роли

судьи. Это очень опасно. Он помещает в Ад самых различных людей. Он помещает их по тем поступкам, которые дошли до нас в литературе. Но мы знаем, что литература и предания доносят только одну сторону человеческой личности и совершенно скрывают иные стороны. Человек богат по своей сущности, а предание или история изустная открывает одну только сторону. И Кузнецов помещает в Ад людей, о которых донесла до нас эта изустная история, а она может быть и не правдивая, а ложная. Как вот история Руси, она во многом ложь осознанная, так же и история тех или иных людей, которых он помещает в Ад, может быть осознанной ложью. А вдруг он ошибся, а вдруг они не такие? Это очень опасно — судить людей, которых мы не знаем и над которыми с такой лёгкостью мы проводим судилище. Конечно, если бы он был живой, я бы с ним поговорил об этом. У нас был бы разговор сложный. Конечно, он вторгся в область, может быть, и запретную, хотя для художника нет запретных областей, но эти запретные области для художника так притягательны своей таинственностью и невозможностью их постичь, что в этот омут желал бы, наверное, кинуться каждый из нас. Но может решиться только исключительный по дарованию, редкий человек. И то, что Кузнецов смог превозмочь земное притяжение, смог превозмочь все страсти и страхи, которые обуревали его в это время, — говорит о силе его таланта. Я представляю, какие он жуткие страхи испытывал, когда выводил эти строки об Аде. Я представляю. И не случайны эти все желвы на его лице, и налитые кровью глаза, и чёрные сгустки на его сердце. Потому что подвиг этот требовал огромных усилий воли и бесстрашия.

В заключение я хочу сказать, что Юрий Кузнецов был удивительно бесстрашный человек, и его бесстрашие соответствовало его могучему дарованию.

Владимир Владимирович Личутин родился 13 марта 1940 года в Мезени Архангельской области. В 1960 году окончил лесотехнический техникум. Позже поступил на журфак Ленинградского университета. Автор романов «Скитальцы», «Раскол», «Любостай», «Миледи Ротман», других книг. Живёт в Москве.

Ал. Михайлов. Перед бездной

Письма критика поэту

30 декабря 1985 г.

Дорогой Юрий Поликарпович!

Сердечно поздравляю Вас с Новым годом, — быть может, ещё не опаздывая с этим, — и желаю Вам на будущее успеха и всяческих благ, и первое из благ: чтобы Вас печатали без заминок и церемоний, проволочек и дурных намерений и задних мыслей; чтобы Ваши книги издавали охотно, хорошо, с любовью! Не думаю, чтобы я желал чего-нибудь совсем неисполнимого. Пусть всё это исполнится — пусть это неуклонно исполняется…

Вашу книгу получил и очень Вам благодарен за неё; что у неё была трудная судьба, я знаю и, если бы не знал, мог бы догадаться; Ваша поэзия — это мысль, сливающаяся с чувством и словом в напряжённый, тесный, иной раз тёмный узел; темнота — в смысле давящей неясности (как бывает, когда ноет грудь от переутомления, например), и темнота — в смысле неразрешённости тяжких вопросов, проблем, которые заставляют с усилием извлекать слово широкое, как бы пугающее своими не до конца раскрывшимися возможностями — что за ним стоит, что — скрывается. Это слово не лежит на поверхности, и оно смело — тем, что прислушивается к себе, не боясь сказать больше, чем то, что на первом плане, ясном, вполне обозримом. Благодаря этому Ваше слово приобщено к мифу — к такому, который его сам ведёт, заставляет уступать возникающему образу*, — это отважная и для нашего времени, наших условий редкая продуктивная темнота, темнота, в которой истекает и восходит к зримому, осязаемому образному смыслу новая, неслыханная истина. Это надо ценить, потому что поэтов просто ясных, сразу понятых, толкующих уже сказанное, уже всеми освоенное, — очень много, а Вы — среди немногих. Ясность ведь рождается, и должна рождаться из темноты, из ночи — как свет по древним греческим понятиям: он — не отрицание тьмы, противоположное ей, а её, именно её порождение. Хотелось бы знать и то, что не вошло в сборник.

Извините за многословие (страшноватое, аляповатое оформление книги, не достойное её, пусть не очень Вас огорчает — не в последний ведь раз выходит книга).

Желаю Вам счастья и новых трудных достижений!

Всегда Ваш

Александр Михайлов.

_____

* Совсем иное, нежели то, что иногда могут называть у нас «мифом» — размусоливание обыденных предметов на странный лад, с привлечением чужих образов.

* * *

Дорогой Юрий Поликарпович!

Вот и ты подкатил к серьёзному юбилею, своему 60-летию, с которым хочу тебя сердечно поздравить в убеждении, что, имея в багаже вряд ли сравнимые с кем-либо в поколении творческие свершения, ещё не всё тобою сказано в русской поэзии. Горько и печально только, что Юрий Кузнецов у нас пока, на мой взгляд, не прочитан. Но это уж не твой грех, это проблемы нашей критики. Тут я хочу повторить то, что написал в «Дне литературы»:

«…Только в последние годы я, кажется, стал проникать в истоки, может быть, самого загадочного русского поэта XX века Юрия Кузнецова. Звучит как-то грубовато, но я бы сказал, утробно русского поэта.

Тектонической силы толчки в его поэзии посылают нам знаки былых времён, давая возможность уловить в них движения человеческих душ, сопоставимых с движениями земной коры. И если Есенин, не без надрыва, исполнил разгульно-печальную песню России уходящей и задохнулся в горьком недоумении от большевистской нови, то Кузнецов запустил свой лот в глубины подсознания, чтобы в себе услышать зовы предков. Это обострило его чувствительность к нашей жизни, он увидел её неистраченным на помехи взглядом. Его поэзия, почти с самого начала, с „Атомной сказки“ — грозный предостерегающий жест перед бездной человеческого грехопадения.

Пока Юрий Кузнецов не прочитан. Какой дразнящий своею тайной мощью поэтический массив ждёт молодых исследователей! Увы, у меня уже нет ни сил, ни времени, чтобы начать его осваивать. Всё чаще приходит на ум Твардовский: „Ах, как ты горько, до зарезу попозже молодость нужна!“»

Что к этому добавить?

Что я уже стар. 19 лет разделяют нас. И хотя Господь даровал мне долголетие, но предел уж близок, сил нет. Всему приходит конец. Живу на отлёте, за городом, одиноко, редко выбираюсь в Москву. Хочется побывать на твоём юбилейном вечере (приглашение мне вручил Вадим Дементьев), и если здоровье и домашние обстоятельства позволят, то непременно приеду. Если — нет, то пусть это моё слово будет дружески-почтительным приветом в день юбилея.

Помню тебя студентом, молодым поэтом, хоть и признанным, но только едва угаданным. Да и теперь ощущаю себя лишь на пороге разгадки. Но XXI век — за тобой. И — надолго.

Ещё раз поздравляю и обнимаю —

Ал. Михайлов

1.02.2001

P. S. Захворал (грипп) и застрял в Пахре и даже письмо отправляю с опозданием.

А. М.

Александр Алексеевич Михайлов родился 1 января 1922 года в деревне Куя Архангельской области. Фронтовик. В 1951 году окончил Архангельский пединститут. Позже поступил в аспирантуру Академии общественных наук при ЦК КПСС. Автор книг о творчестве Андрея Вознесенского, Евгения Винокурова, Константина Ваншенкина и других поэтов. Много лет занимался изучением наследия Владимира Маяковского. Скончался в апреле 2003 года.

Валерий Михайлов. Ты шла за мной по склону бытия…

Она

В начале было Слово…

Позже возник Литинститут.

Единственный в мире, до сих пор.

Его придумал Горький. Счастливая мысль! Конечно, на писателя не учат, но учить писателя можно и нужно. Особенно когда он ещё молод и не слишком образован. Однако главное даже не в этом. У вечных, неприкаянных бродяг «с тетрадками своих стихотворений» появилось в Москве своё пристанище. Пристанище духа и тела. Скажем, где бы ещё бросил якорь в стольном граде бывший моряк и почти что до смерти бездомный Николай Рубцов? Общага! Пресловутая и преславная. Тёмное здание о семи этажах (с не менее тёмной родословной) по улице Добролюбова, угол Руставели. И каждый там, любя добро, считал себя витязем в тигровой шкуре, вышедшим на бой во славу свою и литературы… В начале 60-х бдительные «товарищи из ЦК» углядели в институте гнездо вольнодумия. Послышались речи: начудил-де «буревестник революции» со своим шумливым полубогемным детищем, а ещё называется основоположник соцреализма… Никита-кукурузник не долго думая показал учебному заведению кузькину мать. Это был, разумеется, в чистом виде волюнтаризм. Но осознали его не сразу, а через несколько лет, после снятия с должности «нашего дорогого Никиты Сергеевича». В 65-м Литинститут имени А. М. Горького заново открылся. Тогда и появилась в нём Батима Каукенова, высокая, стройная девушка с долгими, как звёздная ночь, волосами.

Она выросла в Семипалатинске, в пригородном посёлке Затон на Иртыше. Там, близ своей тихоходной флотилии и судоремонтного завода, жили речники. Отец Жумакан, простой и добрый человек, тоже был речником, плавал на пассажирском пароходе. Иртыш был ещё полноводным, и ходили от Зайсана до Салехарда. Маму за роскошную тугую косу прозвали «длинноволосой Диной», она занималась хозяйством. Жили в посёлке вполне по-деревенски: держали скот, косили траву… Лишь долгие годы спустя Батима узнала, что мать происхождением из знатного рода, от потомков хана Узбека. Об

этом в доме ни ей, ни старшей сестре Умитжан взрослые никогда не говорили. Молчали родители и о том, как в голод начала 30-х младенцами погибли старшие братья и сёстры двух девочек… Из детства особенно запомнилось Батиме, как любил отец носить её на плечах. Ещё: собирались в юрте одинокие женщины по вечерам и красиво хором пели, их голоса летели в решетчатый купол, где синело небо. Пели Абая, народные казахские, русские песни, и ни одной плохой не было!.. Ещё: однажды в сорокаградусный мороз детям запретили идти в школу, но отец потащил её за собой в буран, холод. «Ну как так? Из-за погоды?! Не может быть!» — всё удивлялся он по простоте душевной. И доставил-таки, полузамёрзшую, прямо к первому уроку. В классе было пусто, учитель сидел один. Так и прошёл урок — для единственной ученицы… «Читай! Читай!» — всё время заботливо вразумлял отец. И она читала. Полюбила книги. После школы уехала во Фрунзе, поступила на филологический факультет университета. Ездила в фольклорные экспедиции по берегам Иссык-Куля. Сочиняла своё. На четвёртом курсе приехала комиссия — отбирать будущих студентов вновь открывающегося Литинститута. Так оказалась в Москве. Через год в их очную группу перевёлся с заочного отделения парень из Краснодара. Молчаливый, отстранённо задумчивый. Его звали Юрий Кузнецов. Было это в 1966 году…

— Как он вам показался? — спрашиваю Батиму Жумакановну. И чувствую по голосу, улыбке, что воспоминание ей горячо и дорого.

— Высокий, широкоплечий, зеленоглазый!.. — Долгое молчание. — …Наши девчонки его сразу приметили. Влюбились!..

— А каким он был?

— Знаете, в общежитии все на виду. Другие студенты колобродят, застолья, разговоры до утра. А он сам по себе, серьёзный. Читает, думает… всё время работает…

Первоначально греческое слово «поэт» значило — «трудиться».

Он

Жизнь каждого человека окружена великой тайной. Это тайна судьбы, или, иначе говоря, Божиего промысла. По большому счёту, ничего случайного нет. Человеку дарована свободная воля, но не ведёт ли его по жизни Высшее провиденье? Давно подмечено: чем значительнее человек, тем ощутимее в его судьбе

дыхание небес.

…В наше продвинутое время кто только не лезет на публику с рассказами о себе любимом. Уже и третьесортные актриски издают собственные мемуары. Что же говорить о писателях-«профессионалах»! (Один не устающий мелькать «шестидесятник», в семьдесят лет не разлюбивший пёстрых пиджаков, не удовлетворясь писаниной, даже напечатал фотоальбом о четырёх годах большого личного счастья с очередной, кажется пятой, женою.) Кузнецов в последнее, болтливое время ещё молчаливее, чем прежде. Две небольшие автобиографические заметки за несколько десятилетий в литературе. Да и те написаны по конкретному поводу… Одна, вероятно, по просьбе журнала «Литературная учёба», посвятившего в 1982 году номер Литинституту. Другая — предисловие к тому избранных стихотворений и поэм, изданному в 1990 году «Художественной литературой». Но и по этим скупым воспоминаниям заметно, чья рука вела его по земле и направляла к исполнению своего предназначения.

> «Моё появление на свет предсказала астраханская гадалка летом 1917 года, когда моей матери было пять лет. Вот как это случилось. Мой дед, призванный в армию, не подавал о себе вестей, и бабка очень беспокоилась, что с ним. Добрые люди посоветовали обратиться к гадалке. Много чего ей нагадала гадалка: и что дед вернётся живым и здоровым, и что у них будет своя земля (которую отобрали потом в пору коллективизации), и сколько у неё сейчас детей, и какого пола и возраста, и сколько она народит ещё, и кто из сыновей будет кормильцем, — и всё сбылось».

Более того, сбылось «невероятное», что и напророчила гадалка пятилетней девочке. Появился поэт невиданной силы. Такие рождаются раз-два в столетие.

Судьба, по иным разгадкам, переводится как «суд Божий». Может быть, так и следует понимать её испытания… Лишают звания и едва не арестовывают отца, кадрового офицера-пограничника. Он хочет дознаться правды. Наконец ему показывают донос, где всё ложь. А жена его ждёт ребёнка… «Отцу удалось оправдаться, и ему вернули звание и права. Но каково было моей матери! От страха за неизвестное будущее она решилась на отчаянный шаг: пресечь беременность. Но, слава Богу, было уже поздно. И я родился, вопреки всему, 11 февраля 1941 года, на Кубани».

Совершенно очевидно: не «вопреки всему», а благодаря

всему.

Эти подробности важны. Давным-давно на Востоке считают, что человек начинает жить ещё до появления на свет — с момента зачатия. Нынче недоверчивая наука почти подтвердила это. Разумеется, всё, что переживает мать, передаётся и её будущему дитяти.

В первые же дни войны отец Кузнецова уходит на фронт. Семья переехала на его родину, в село Александровское на Ставрополье. «Осенью 1942 года мы очутились по одну сторону фронта, а отец по другую — в районе Моздока. По рассказам матери я живо представляю такую картину. При наступлении наших войск в серые январские дни над Александровским висел орудийный гул. И вдруг он смолк. К нашим воротам, сбитым из глухих досок, подъехал „виллис“ полковой разведки. Звякнуло кольцо калитки, и мать обомлела: перед ней стоял мой отец.

Он недолго пробыл в селе. На прощание сказал моей матери:

— Я как в воду глядел. Среди секретных документов, которые мы захватили, в списке предназначенных фашистами к расстрелу я увидел нашу фамилию. Что ж, я успел…

Это последнее, что успел отец. Он погиб в 1944 году в Крыму…»

И снова властный знак судьбы, спасающей от гибели того, кто ей нужен.

А теперь несколько свидетельств о самом таинственном — как появился поэт.

«В моём детстве образовалась брешь. Это была сосущая загадочная пустота отцовского отсутствия, которую я мог заполнить только словом… Свои первые стихи написал в девять лет. И долго писал просто так, не задумываясь, что это такое, и не заметил, когда стихи стали для меня всем — и матерью, и отцом, и родиной, и войной, и другом, и подругой, и светом, и тьмой».

И редкое, поразительное признание, в котором ясно выражено понимание своего пути:

> «Мой отец погиб не случайно. Это жестокая правда моей поэтической судьбы. Если бы отец вернулся с войны живым, трагедия народа была бы для меня умозрительной, я был бы ненужным поэтом, пошёл бы по боковой линии народной жизни как обеспеченный генеральский сынок, неминуемо бы впал в духовное одичание метафоризма».

Замечу, что ни у кого из послевоенных поэтов нет таких потрясающих стихов о войне, как у Кузнецова. И тут причина не только в том, что война отняла отца. Бросив педагогический

институт в Краснодаре, он сам попросился в армию. Служил в Чите. Это было в 1961 году. Начался Карибский кризис, и мир оказался на грани ядерной войны. Молодого солдата вместе с другими бросили на Кубу. Трюмы кораблей были забиты до отказа. Несколько дней под крыльями боевых самолётов США плыли по океану, и солдат не выпускали на палубу. Американцы и не предполагали, что в трюмах могут быть люди. Потом их ночью выгрузили на берег, и под тропическим ливнем, в темноте, они окопались. А утром американцы с ужасом увидели, что русские ракеты уже установлены и направлены на их территорию…

Но вернёмся к поэзии. Кузнецов, по его признанию, недолго увлекался метафорой, круто повернул к многозначному символу и с помощью символов стал строить свою поэтическую Вселенную. Это суждение зрелого мастера, ясно сознающего свой путь в творении стихов. Но куда как удивительнее, когда он касается почти неосязаемого, невыразимого — самой природы своего поэтического видения мира. Это дарует память:

> «Свой первый символ я увидел воочию, и ему обязан первым воспоминанием. Мне было с небольшим два года. Помню, как долго открывал тяжёлую калитку с высоким крыльцом, ту самую, перед которой недавно стоял отец. Выйдя на улицу, увидел сырой, мглистый, с серебряной поволокой воздух. Ни улицы, ни забора, ни людей, а только этот воздушный сгусток, лишённый очертаний. Конечно, такое воспоминание не случайно. Это было то самое туманное дремлющее семя, из которого выросло ощущение единого пространства души и природы. Возможно, оттуда идёт загадка „космической туманности“ многих моих строк о мире и человеческой душе».

В 1972 году он написал стихотворение, в котором вживе представляет этот «воздушный сгусток».

Возвращение

Шёл отец, шёл отец невредим
Через минное пале.
Превратился в клубящийся дым,
Ни могилы, ни боли.

Мама, мама, война не вернёт…

Не гляди на дорогу.
Столб крутящейся пыли идёт
Через поле к порогу.

Словно машет из пыли рука,
Светят очи живые.
Шевелятся открытки на дне сундука —
Фронтовые.

Всякий раз, когда мать его ждёт, —
Через поле и пашню
Столб крутящейся пыли бредёт,
Одинокий и страшный.

Лирическое отступление

У любовной лирики Кузнецова есть особенность. Ни одно из стихотворений не посвящено определённой женщине. (Исключение он сделал лишь одной, посвятив несколько стихов младшей дочери Кате, но это, понятно, уже другая любовь — отцовская.) Поэзия — дама не только капризная, но и загадочная, а прекрасный пол, как известно, редко приходит вовремя. Всё же я выбираю два стихотворения, помеченные тем годом, когда многое решалось в личной судьбе двух студентов Литинститута…

Ветер

Кого ты ждёшь?.. За окнами темно.
Любить случайно женщине дано.
Ты первому, кто в дом войдёт к тебе,
Принадлежать решила, как судьбе.
Который день душа ждала ответа.
Но дверь открылась от порыва ветра.
Ты женщина — а это ветер вольности…
Рассеянный в печали и любви,
Одной рукой он гладил твои волосы,
Другой — топил на море корабли.

1969

Любовь

Он вошёл — старый дом словно ожил.
Ты сидела — рванулась не ты:
Проступили такие черты,
Что лицо налицо не похоже.

Он ещё не забрал, но уже
Ты его поняла по движенью.
То душа прикоснулась к душе,
То звезда зацепилась о землю.

1969

Спички — это огнеопасно

О том, как они поженились, я впервые услышал лет пять назад, от покойного ныне Вадима Валериановича Кожинова.

В своей квартире на Большой Молчановке, заставленной книжными стеллажами до потолка, знаменитый литературный критик и мыслитель вёл, как обычно, важный искромётный разговор на историческую тему, потягивая из мундштука непременную «Приму». Потом речь зашла о современной литературе, а как же тут обойти Кузнецова? С Кожиновым мы встречались не впервые, и я решил от старого друга поэта прояснить легенду, которая ходила про Кузнецова, — о прыжке с шестого этажа общежития. Вадим Валерианович ответил, что поступок сей действительно в пору студенчества имел место быть, но совершён не от отчаяния, а исключительно из молодецкой удали, хотя и сгоряча.

«Кстати, — здесь Кожинов с лёгким добродушием улыбнулся, — это происшествие впоследствии изменило личную жизнь Юрия Поликарповича».

«Как это?..» — естественно вопросил я.

«В больнице его постоянно навещала сокурсница, красавица по имени Батима. Это было поручение от комсомольской организации. А после как по писаному: „Она его за муки полюбила, а он её за состраданье к ним…“. Словом, однажды приходит ко мне Юрий Поликарпович и спрашивает: что, дескать, если жена у меня будет казашка? Ну что же, — отвечаю ему, — у Тютчева жена была немка…».

Мы беседуем с Батимой Жумакановной в новом здании

Верховного суда России на Поварской, где она работает консультантом. Жена поэта тихо смеётся, когда я передаю ей этот давний разговор.

— Никакого комсомольского поручения, конечно, не было… А день, когда с Юрой это произошло, хорошо помню. 9 ноября 1967 года. Я как раз звонила домой, в Семипалатинск. Телефон-автомат в общежитии был на первом этаже. Говорю с сестрой Умитжан… а тут вдруг глухой удар, шум голосов, крики: студент из окна выпал!.. Интересно так!.. Я бросила трубку и на улицу. А это, оказывается, Юра…

Литинститут всегда славился горячими головами и пылким воображением. Чего только там не случалось! Вот, например, исчезли как-то со стен общаги портреты классиков литературы. Искали-искали, и всё напрасно. Наконец комиссия стучится в комнату Рубцова.

Ответа нет.

Толкнули дверь. В комнате Рубцов, а вокруг приставлены к стенам пропавшие портреты.

— Коля, ты что?!

— Скучно мне. С кем тут ещё, кроме них, можно поговорить?.. — ответил поэт. И кивнул на Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Лескова.

Между прочим, два самых знаменитых выпускника Литинститута — Кузнецов и Рубцов обитали в общаге примерно в одни годы. (Хорошо помнит Николая Михайловича и Батима Каукенова. Да не хочет говорить. «Сейчас всё о нём вспоминают в печати, особенно те, кто были врагами… А Коля по характеру добрый был…») В своих шутливо-серьёзных заметках «Очарованный институт» Юрий Кузнецов пишет:

«В коридорах я иногда видел Николая Рубцова, но не был с ним знаком. Он ходил как тень. Вот всё, что я о нём знаю. Наша единственная встреча произошла осенью 1969 года. Я готовил на кухне завтрак, и вдруг — Рубцов. Он возник как тень. Видимо, с утра его мучила жажда. Он подставил под кран пустую бутылку из-под кефира, взглянул на меня и тихо произнёс:

— Почему вы со мной не здороваетесь?

Я пожал плечами. Уходя, он добавил, притом серьёзным голосом:

— Я гений, но я прост с людьми. — Я опять промолчал, а про себя подумал: „Не много ли: два гения на одной кухне?“ Он ушёл, и больше я его никогда не видел».

В тех же заметках описан и случай, происшедший с ним самим.

«Устав за четыре года от табачного дыма и шума, мы

выезжали в Подмосковье. Лес, река, палатка и костёр. Тишина!.. Помню, кто-то из нас пошёл за водой и по задумчивости зачерпнул лягушку. Мы уселись у огня, предвкушая чай с дымком. Но, как только вода нагрелась, из ведра через наши головы сиганула лягушка. Девчонки в визг, парни в крик. „И-и!“, „Какой прыжок!“ Всяк кричал своё. Я помалкивал. Прыжок как прыжок. Я знавал и не такой…»

Итак, что же произошло? Обычное студенческое застолье. Приглашены «из города» девицы. Вино, танцы, разговоры. Одну гостью поэт позвал к себе в комнату. Она согласилась. Но далее свидание не заладилось. «Мне даже в голову громом ударило. „Или — или!“ — кричу. „А что такое?“ — спрашивает она и смеётся. Я говорю: „Или я прыгаю из окна!“. Она стала, подбочась, и делает ручкой: „Ну так прыгай“. Я распахнул окно, вскочил на подоконник и глянул вниз. До земли далековато: шесть этажей. Но отступать было нельзя, и я прыгнул. Конечно, я немного схитрил и прыгнул в сторону — на водосточную трубу, до которой был добрый шаг от окна. Я схватился за водосточную трубу, но не удержался и, обдирая рукава и брюки, стремительно полетел вдоль трубы вниз. На уровне четвёртого этажа (я успел это заметить) моя нога застряла в узком промежутке между стеной, скобой и трубою. Я провис так, что моя застрявшая ступня оказалась выше головы. Я не мог выпрямиться. Руки мои разжались, и я полетел вниз головой на асфальт и подвальную решётку. Почему я не разбился, никто не знает. Придя в сознание, я расслышал голоса и уловил какое-то движение, меня подняли, опустили на носилки и впихнули в темноту. Темнота поехала. Во всё это время я боялся раскрыть глаза, чтобы не увидеть смерть…

Недели через полторы меня выписали из больницы. Но всё же кто меня спас?..»

Через три года на выпускном вечере один из преподавателей, разглядывая Кузнецова, произнёс: «Везучий ты парень, гм… Видно, Бог велел, чтоб ты вышел цел».

«Что он хотел этим сказать?.. Что я выпрыгнул из окна, — так я сам же и пострадал, даже женился после этого, чем окончательно довершил падение своего романтизма».

Они поженились, через год с небольшим. На всё про всё, включая свадьбу, было 25 рублей. Ещё год оставался до окончания института…

…Мы сидим с Батимой Жумакановной в центре Москвы, пьём чай. Тишина, едва слышно шелестит кондиционер. Здание новое, построенное турками. Тридцать лет с лишним прошло с того времени.

— Кожинов говорил, что в больницу вы каждый день ходили.

Правда?

— Ну, многие навещали…

— А что запомнилось? — Молчит. И вдруг с едва заметной счастливой смущённостью произносит:

— Я спросила: «Тебе что-нибудь принести?». Он сказал: «Принеси спички». Я принесла двадцать коробков.

Что же, теперь понятно. Спички — это огнеопасно!

«В твоём голосе…»

* * *

Твоё тело я высек из света,
Из прохлады, огней и зарниц.
Дал по вздоху свистящего ветра
В обе ямки повыше ключиц.
И прошёл на закат, и мой путь
Раздвоил глубоко твою грусть.

1970

* * *

За сияние севера я не отдам
Этих узких очей, рассечённых к вискам.

В твоём голосе мчатся поющие кони,
Твои ноги полны затаённой погони.

И запястья летят по подушкам —
без ветра
Разбегаются волосы в стороны света.

А двуострая грудь серебрится…
Так вершина печали двоится.

1970

Востоку

Давным-давно судьба перемешала
Твоих сынов и дочерей твоих,
Но та, что спит в долине рук моих,
Спала в бороздке твоего кинжала.

1971

Прописка

В 1970-м институт был окончен. Московская одиссея молодой семьи завершалась. Пока учишься, у тебя в паспорте временная прописка, а потом… потом надо выселяться из общежития и покидать столицу. Стоял сентябрь; вот-вот общага наполнится новыми голосами… А между тем, хотя никому вокруг этого ещё не было заметно, Батима ожидала ребёнка…

Руководил семинаром у Юрия Кузнецова известный поэт Сергей Наровчатов, фронтовик. Он был знаменит не только пронзительными стихами о войне, но и редкой начитанностью. Сергей Сергеевич имел богатейшую, лучшую в Москве личную библиотеку. Он единственный в Литинституте ценил стихи Кузнецова.

На выпускном вечере между ними состоялся короткий разговор.

Вручая диплом ученику, Наровчатов спросил:

«— Куда вы теперь?

— Туда, откуда приехал. Больше деваться некуда.

— Провинция вас погубит. Придумайте что-нибудь, а я вам помогу».

— Чтобы устроиться на работу в Москве, нужна была хотя бы временная прописка. Как раз освободилось место консультанта по казахской литературе в Союзе писателей СССР. Пока подыскивали человека, какое-то время можно было там поработать. Словом, одна-единственная реальная зацепка. И Юра отправился к Наровчатову… — рассказывает Батима Жумакановна. — Сергей Сергеевич при нём позвонил Леониду Соболеву. Соболев сам пошёл к Воронкову, секретарю СП по оргвопросам. И тот внял ходатайствам классиков советской литературы — я стала консультантом, хотя и на время. Никто вокруг не верил, что у нас что-нибудь получится. Ведь, кроме всего прочего, надо было подыскать квартиру, где бы нас прописали. Но я нашла москвичку, которая согласилась помочь. А после просто повезло: из Верховного суда СССР попросили Союз писателей

порекомендовать кого-нибудь на должность консультанта по переводам на языки народов Союза. Я знала казахский, киргизский, понимала по-азербайджански, по-туркменски, занималась славянскими языками. Короче, меня взяли…

Глазастые женщины из Верховного суда ничего по ней не заметили, а вот один работник всё же «раскусил» её.

— Не надо девчонку брать! — сказал кадровичкам.

— Но почему?

— Не видите, что ли? Она же беременна.

Но ему не поверили… Дочь Аня родилась в декабре. Лишь два месяца побыла с нею дома молодая мать — и на работу.

— До-о-лго мне этого не прощали, — говорит Батима Жумакановна. — Да и сейчас помнят, хотя прошло 30 лет.

В 1972-м от Верховного суда ей дали комнату в коммуналке.

А через пять лет уже Кузнецов получил квартиру от Союза писателей. К тому времени у него в Москве вышло две книги стихов и он прославился. И не только как поэт. Однажды ему дали слово на писательском съезде, ибо готовили в секретари, то бишь в литературное начальство. Однако Юрий Поликарпович, по своему обычаю, высказал прямо, что он думает о литературе в целом и о её творцах в частности. Вызвал бурю негодования и восторга. «Что вы сделали? — сказал потом Наровчатов своему бывшему ученику. — За пятнадцать минут своей речи вы приобрели столько врагов, сколько другому не приобрести за всю жизнь». Понятно, секретарём он не стал…

В 1977-м, когда давали жильё, а было оно самое обычное, Кузнецову сказали: подожди полгода, и получишь квартиру в писательском доме. На что поэт отрезал: «Жить с писателями? Ни за что!».

Так они и обитают в своей тесноватой квартире на Олимпийском проспекте. Но зато не замела поэта «густопсовая пыль Краснодара».

…А про историю с пропиской, когда Наровчатов попросил «придумать что-нибудь», в заметке Кузнецова всего одна фраза:

«Придумала моя жена, он дал первотолчок — и завертелась фантастическая ситуация, в результате которой мы стали москвичами».

В прошлом году литературная Москва отмечала 60-летие Юрия Кузнецова — «первого поэта России». Критик Владимир Бондаренко, осмысливая его путь, писал: «Ощущение трагичности обострилось в Москве, в буреломе событий, в жизни на пределе. Как бы ни любил поэт родную Кубань, как бы ни клялся ей в верности, но, думаю, не было бы той Москвы 60-х, 70-х годов, не было бы Кубы с острым предчувствием атомной войны, не было

бы и соприкосновения Юрия Кузнецова с тем Олимпом, на который он оказался вознесён. Был бы обыкновенный традиционный неплохой поэт, не более».

Но у судьбы нет сослагательного наклонения. Как оно было, так и должно было быть.

Земная тяга

Что такое быть женою поэта, знает только жена поэта. Будем ли мы лезть к ней в душу? Конечно, нет. Это неприлично и бессмысленно.

Первое, надеюсь, ещё понятно, хотя нынешний век, преуспевший в зомбировании, велит считать неприличным лишь непродажное. Второе… слава Богу, жизнь человеческая защищена невидимой бронёй. Душа, по счастью, неподглядна и неподслушна. Более того, она неразглашаема вполне. Даже самим человеком…

«По суровой требовательности Кузнецова и к себе, и как-то ко всем нам быть с ним повседневно не так уж и легко. А думаешь о нём часто и всерьёз. Да, это суровый человек, с тяжёлой правдой, и ухватившийся в творчестве прямо за земную тягу. Как он мог разменивать это на гладкость быта? Такова судьба всего существенного; отсюда и нелегкая судьба взявших на себя его, Кузнецова, повседневность», — говорит в юбилейных заметках писатель Сергей Небольсин.

Повседневность… Это тридцать лет совместной жизни Батимы Жумакановны и Юрия Поликарповича. Я об этом ничего не спрашивал… Только поинтересовался: какие стихи Кузнецова ей нравятся? И сразу же услышал: «Петрарка», «Четыреста», «Отцу космонавта», «Европа», «Федора», «Кубанка», поэма «Путь Христа» (над ней поэт продолжает работу)… Это, и сам голос, — сказали мне многое.

…Однажды я шёл на Поварскую, в Верховный суд, от Смоленской по Арбату и увидел напротив Дома-музея Пушкина новый памятник. В прошлом году его ещё не было. Карамельно-красивые, молодые, в бронзе, Александр Сергеевич и Наталия Николаевна смотрели через дорогу то ли на отреставрированный дом, где они провели первые после венчания месяцы, то ли на толпу прохожих и лотки, где торгуют живописными помалёвками, генеральскими мундирами, сувенирной дребеденью, боевыми орденами. Грустная картина… И зачем он, этот памятник? Чтобы ещё теснее валили по Арбату туристы?..

Перелистаем лучше книги. Поэзия — это душа жизни. А

лирика — это душа поэта. Одновременно и неизменная, и непрестанно меняющаяся, как сама жизнь. Что сказали стихи — того и достаточно. Другого не надо знать.

* * *

Что тебе до семейных измен?
Что тебе до разорванных звеньев?
Что тебе до обрушенных стен?
Что тебе до летящих каменьев?

Горный воздух так чист и глубок,
И леса обступают огулом.
Посмотри на бегущий поток,
Он живёт своей силой и гулом.

Он поток. Он ломает хребты
И летящих камней не боится.
Он зажмёт им орущие рты,
Он обточит им грубые лица.

Он шумит про своё и ничьё,
Он уходит в открытое море,
Где купается имя твоё
И гуляет душа на просторе.

1980

* * *

Дочери Кате

О чём ты задумалась, девочка?
— О бабочках и цветах.
Чего же ты плачешь, милая?
— А плачу я просто так

Не знает она, что бабочки
Всегда на огонь летят,
И розами зла усеяна
Дороженька на закат.

1986

Кость

Ты царь: живи один.

А. Пушкин

Жил я один. Ты сказала: — Я тоже одна,
Буду до гроба тебе, как собака, верна…

Так в твою пасть я был брошен судьбой
на пути.
Грызла меня, словно царскую кость
во плоти.

Страстно стонала, хотя и другие порой
Кость вырывали из пасти твоей роковой.

С воплем бросалась на них ты
страшней сатаны.
Полно, родная! Они, как и ты, голодны.

Высосан мозг, и в порожней кости
иной раз
Дух или ветер поёт про последний
мой час.

Брошенный буду мерцать среди горних
светил…
В Бога поверь, чтоб тебя он за верность
простил.

1988

* * *

Может быть, мне позволит родная
Пробудиться средь ночи смурной
И ударить от края до края
По одной и ещё по одной.

Нет, такого не будет вовеки,
Да и мне поднимать тяжело,
Словно Вию, заклятые веки
На великую правду и зло.

1989

Вблизи Чингисских Гор…

И отец, и мать Батимы Жумакановны родом из Абайского района. Там, в ныне печально известном селе Кайнар, школьницей она и гостила каждое лето у родни. Благословенная степь, простор, Чингисские горы!.. Сельская малышня сразу сбегалась посмотреть на городскую девочку, дочь «длинноволосой Дины». Больше всего Батиму удивляла ранняя самостоятельность ребятишек. Дети умели все: с пяти утра доят коров, кормят скотину, подметают… А как сделают всё по дому — в горы.

— Помню дядин мотоцикл с коляской, облепленный кучей ребятни. Как только уместилось столько народу! Отвёз он нас всех к подножию горы и уехал. Целый день собирали дикий лук, ягоды. Чёрная смородина крупная, с детский кулачок… Кто тогда думал, что совсем рядом взрывают атомные бомбы и есть ничего нельзя?.. Потом сидим где-нибудь у ручья в тенёчке — и мальчишки заводят страшные истории про волков и тигров, живущих в этих горах, девочки-малышки жмутся друг к другу. Нет уже на свете никого из них, хотя моложе меня были, — умерли от белокровия…

В июле 1974 года Батима повезла мужа на свою родину. Он впервые оказался на казахской земле. Встречал отец, Жумакан, матери уже одиннадцать лет как не было в живых.

— Собралось человек семьдесят родни. Ну, Юру прямо как царя принимали, — рассказывает Батима Жумакановна. — Неделю гостили, съездили в Абайский район… Понравилось! Юра вообще моего папу обожал. Бывало, услышит, что я ворчу: «Нет, нет, нет! Никакой критики! Очень хороший человек, хорошо воспитал детей. На Абая похож…». В 1990 году у него вышла большая книга переводов «Пересаженные цветы», какие замечательные там переложения с сербохорватского, финского, словацкого, других языков!.. А впоследствии и Абая великолепно перевёл на русский…

Однажды в разговоре со мной Кузнецов припомнил другую

поездку в Казахстан: «Под Карагандой это было. Ехали куда-то на машине, долго. Ну, вышли. Подышать, освежиться. И — степь, ровная, широкая. У нас на Кубани такой нет, у нас холмы. Великий простор — и купол неба! — поэт раскинул руки и округлил их над головой. — Что-то космическое! Я такого нигде никогда не видел…».

Кажется, я понимаю, что восхитило Кузнецова. Он увидел нечто, соразмерное себе. Тому, что всегда ощущал в своей душе и что дало такой размах его поэзии. Потому души великанов, Абая и Кузнецова, не могло не притянуть друг к другу в поэтическом космосе. А первым толчком к этому сближению, наверное, стала поездка с женой на землю Абая.

Кстати говоря, переводы Юрия Кузнецова из Абая печатались в «Казахстанской правде», в двух августовских номерах 1995 года.

Счастливое число

Батима Каукенова говорит:

— В нашей семье счастливое число — единица. 11 февраля родился Юра. 1 сентября я появилась на свет. 11 января мы поженились. 11 декабря родилась дочь Аня. 1 апреля родилась дочь Катя.

У него диплом № 1 лауреата Госпремии России 1991 года (№ 2 — у Солженицына)…

Что тут добавить? Всё сходится. По общему признанию, Кузнецов — первый поэт России. Ещё в 1990 году Вадим Кожинов писал, что он «наиболее значительный, самый выдающийся поэт нашего времени, сопоставимый с поэтами-классиками». Сама героиня этого очерка — первая (и единственная) жена Юрия Поликарповича.

И последнее. Основа поэтики Кузнецова — многозначный символ, а многие его стихи, начиная со знаменитой «Атомной сказки», называют пророческими. Но и в жизни он окружён символами. Само имя женщины, с которой он связал судьбу, символ. Фатимой звали жену пророка Мухаммеда. Звука «ф» в казахском языке нет, его заменяют согласные «п» или «б». Разумеется, никаких прямых аналогий между основателем мировой религии и поэтом я не провожу (хотя Коран, как и Библия, писан стихами). Но всё же… всё же… Именно женщина по имени Батима стала женой русского пророка.

Вместо эпилога

Серебряная свадьба в январе

Луна и снег блестят. И серебрятся
Уже навеки волосы твои.
А чёрные до пят — мне только снятся,
Их шум напоминает о любви.

Про эти сны, про этот шум потери
Я расскажу тебе когда-нибудь.
Покуда гости не толкнулись в двери,
Я всё забыл — и свой увидел путь.

Садился шар. Заря в лицо мне била.
Ты шла за мной по склону бытия,
Ты шла в тени и гордо говорила
На тень мою: — Вот родина моя!

И волосы от страха прижимала,
Чтоб не рвались на твой родной Восток.
Ты ничего в стихах не понимала,
Как меж страниц заложенный цветок.

Хотя мы целоваться перестали
И говорить счастливые слова,
Но дети вдруг у нас повырастали
Красивые, как дикая трава.

Над нами туча демонов носилась.
Ты плакала на золотой горе.
Не помни зла. Оно преобразилось,
Оно теперь как чернь на серебре.

1994

г. Астана

Валерий Михайлов. Крестный путь Юрия Кузнецова

Провалявшись по издательствам три года после смерти поэта, книга стихов Юрия Кузнецова, составленная им незадолго до кончины, наконец вышла.

Обещанного три года ждут. Всё по поговорке. Русская телега верна себе, и дураки с бездорожьем никуда-то, родимые, не делись.

Это Маяковского советская власть внедряла, как картошку при Петре; это Бродского опослясоветские правители внедряли, как чипсы при Ельцине; — Кузнецов же власть предержащим не нужен. И слава Богу! Ведь несмотря на постановления партии и правительства, не растёт кукуруза в тундре и загибается на суглинках. Земля не та. (Вот пословицы: «рожь кормит сплошь, а пшеница по выбору», «на дороге грязь, так овёс князь», «Бог с рожью, а чёрт с костром», «овёс сквозь лапоть прорастёт» — и ни слова про кукурузу.)

Однако что ж не расстарались издать Кузнецова свои? Хотя бы — толком — после смерти? Вконец коммерсантами заделались? «Не пустишь душу в ад, не будешь богат».

О И. Бродском, из разговора с Ю. Кузнецовым. В общем-то, имя в беседе возникло случайно, даже не помню по какому поводу. Возникло — и тут же пропало. Будто исчерпало себя.

Кузнецов, отстранённо-ворчливо, невнятно, словно нехотя:

— Вот, в Литинституте… слушатели на занятиях… всё: Бродский, Бродский… надо же что-то отвечать… ну, взял книгу, стал читать… — и уже внятно, твердо, несколько озадаченно:

— …Не одолел!

* * *

…Да и как издали Кузнецова. Сама-то по себе книга вроде хороша, смотрится, и шрифт приятный. Но! «Содержания» нет. А главное заголовок На обложке — «Крестный ход». Однако сам Кузнецов так не называл свою книгу.

* * *

Вдова Юрия Поликарповича, Батима Каукенова, напечатала

на ротаторе брошюрку в несколько листков. И раздаёт её знакомым как дополнение к книге. Там и «Содержание», и список замеченных опечаток.

Открываются «Опечатки» словами: «Авторское название книги не „Крестный ход“, а „Крестный ПУТЬ“».

Я спросил у Батимы:

— А вы говорили издателям?

— И просила, и требовала.

— Ну и как?

— Ни в какую. Одно в ответ: только с таким заголовком, иначе книга не выйдет.

Стало быть, это не опечатка. Это сознательное искажение смысла. Нарушение воли поэта. Сдавал он рукопись при жизни, а пока тянули с изданием — умер. Воля стала — посмертной. Но и с ней не посчитались.

Почему?!

Что за цензура?

Или, может, просто не понимают разницы между одним и другим?..

* * *

Для вас, господа из литературно-издательского агентства «СовА».

«Крестный ход — так называется торжественное шествие (процессия) из храма священнослужителей в священных облачениях и сопровождающего их народа, причём впереди священнослужителей, певчих и народа предносятся св. кресты, иконы и св. евангелие. Шествие это совершается или вокруг храма (в селениях), или от храма к рекам, колодцам, озёрам и пр. для совершения водоосвящения». (Полный церковно-славянский словарь)

* * *

Крестный же путь…

Ну, вспомните для начала, чем было для Кузнецова слово. Он же мыслил символами, мифами. А после откройте словари, Евангелие.

«Бог по силе крест налагает».

«Тяжёл крест, да надо несть». (Словарь Даля)

«Путь — дорога; подвиг». (Полный церковно-славянский

словарь)

«Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня;

и кто не берёт креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня». (Мф 10, 37–38)

«Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною,

ибо кто хочет душу (жизнь) свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретёт её;

какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?» (Мф 16,24–26)

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня». (Ин 14,16)

«И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски Голгофа…» (Ин 19,16)

Теперь вам понятнее?..

Если не до конца, откройте, господа, вами же изданную книгу Ю. Кузнецова на стр. 377. Там стихотворение, по которому он и назвал свою последнюю книгу. (А вот стихотворения под названием «Крестный ход» у него никогда не было.)

Крестный путь

Я иду по ту сторону
Вдоль заветных крестов.
Иногда даже ворону
Я поверить готов.

Даже старому ворону —
Он кричит неспроста:
— Не гляди на ту сторону
Мирового креста.

Ты идёшь через пропасти,
Обезумив почти.
Сохрани тебя Господи,
Боль веков отпусти…

А на той на сторонушке
Что-то брезжит вдали…
Хоть на каменной горушке,

Крестный путь, не пыли!

Дальней каменной горушке
Снится сон во Христе,
Что с обратной сторонушки
Я распят на кресте.

1998

За пять лет до смерти…

* * *

Да, заглавия книг…

Для поэта они — куски жизни, судьбы, с живой сочащейся кровью. Этапы пути.

У кого — и крестного…

Вот как назывались книги Ю. Кузнецова:

«Гроза», 1966 (25 лет, предчувствие себя).

«Во мне и рядом — даль», 1974 (33 года, безмерность пространства).

«Край света — за первым углом», 1976 (пространство жизни).

«Выходя на дорогу, душа оглянулась», 1978 (что видит? Что, кого желает зреть?)

«Отпущу свою душу на волю», 1981 (40 лет, безоглядность).

«Русский узел», 1983 (Россия, с древности и доныне).

«Ни рано, ни поздно», 1985 (необходимость себя).

«Душа верна неведомым пределам», 1986 (даль преодолена неведомым).

«Золотая гора», 1989 (поэзия, Парнас).

«После вечного боя», 1989.

«Ожидание небесного знака», 1992 (Чуете, что ему открывается?!)

«До свиданья! Встретимся в тюрьме», 1999 (Россия ельцинская).

«Русский зигзаг», 1999 (кривой путь России).

«Путь Христа». Поэма, 2001 (Небо — открылось).

«До последнего края», 2001 (высшая решимость, да и последний переход).

Вот этот ряд и завершал «Крестный путь» — его вершина, где впервые — полностью — напечатан цикл его поэм о Христе, включающий в себя и «Сошествие в ад», и незаконченный «Рай».

Даже заголовками своих книг Кузнецов всё нам сказал о себе,

о своей поэзии, о своём пути.

Предчувствие конца земной жизни уже томило его. Он не говорил об этом никому, но от стихов ничего не скроешь.

Не ужасную Медузу,
Не любовь-змею,
Не рыдающую Музу —
Вижу смерть мою.

Хороша она собою
И души милей,
Только выглядит слепою…
Не мигнуть ли ей?

(«Автопортрет», 2001)

* * *

Я лежу, усыпанный цветами,
Запах розы издали ловлю:
Он сулит мне скорое свиданье
С той, кого, не ведая, люблю.

Придите на цветы взглянуть,
Всего одна минута!
Положит розу мне на грудь
Та самая Анюта.

(«Анюта», 2001)

* * *

Отговорила моя золотая поэма.
Всё остальное — и слепо, и глухо, и немо.
Боже! Я плачу и смерть отгоняю рукой.
Дай мне высокую старость и мудрый покой.

(«Путь Христа», 2001)

Этими же стихами он заканчивает и последнюю поэму

«Сошествие в ад», написанную незадолго до кончины. Только старости уже просит не «высокой», а «смиренной».

Поэт говорил, что на поэмы о Христе и на «Сошествие в ад» бросил все свои силы. Теперь понятно: не только потому, что этого требовала тема. Время жизни таяло, уходило…

Он понимал, что смерть уже рядом. И спешил завершить своё самое заветное, почти не оставляя времени на лирику. Всё, что не поэмы, Кузнецова видимо раздражало. Он отказывался от поездок по стране, от встреч, от выступлений и считал службу в Литинституте и в журнале (два дня в неделю) — потерянным временем. Наверное, опасался, что жизни может не достать…

То есть, называя рукопись «Крестный путь», Юрий Кузнецов давал не просто заголовок очередной книге — он определял весь свой жизненный путь и всё свое творчество. Он подводил итог.

Что же вы извратили его слово, господа издательские СовЫ?..

* * *

Ну да ладно. Всё минется, одна правда останется.

Но вернёмся к стихотворению «Крестный путь». Конечно, это о себе, о своём пути. Образ так называемого лирического героя в стихах Кузнецов не признавал. Видно, не терпел условностей и натяжек за их лживость. И об этом говорил прямо. Вот ответ Геннадию Красникову (интервью в «Независимой газете» от 27.10.1998): «Термин „лирический герой“ — фикция, он придуман критиками для литературного удобства. На самом деле поэт пишет только себя. Не принимайте по ошибке чувство собственного достоинства за какое-то несносное высокомерие… Открою один секрет любовной лирики (их несколько). В ней бывает то, чего в жизни не было, но могло быть…»

Последнее, думаю, касается не только лирики любовной…

* * *

Всю жизнь он шёл путём поэта, считая и заявляя, что поэзия превыше всего. (Об этом подробнее чуть позже.) Но вот в стихотворении «Крестный путь» появляется другое понимание:

Я иду на ту сторону
Вдоль заветных крестов…

Та сторона — это уже не Поэзия. И она отнюдь не родная

сторона.

А на той на сторонушке
Что-то брезжит вдали…
Хоть на каменной горушке,
Крестный путь, не пыли!

К поэту приходит понимание истинного направления своего пути. И «на каменной горушке» — на своём Лобном месте — он строго одёргивает себя, свой крестный путь:

— *Не пыли!*

И чудится ему: Голгофе настоящей — «дальней каменной горушке»

…Снится сон во Христе,
Что с обратной сторонушки
Я распят на кресте.

Вот где настоящее. Не «Золотой горе» — Парнасу, где уверенно и безоглядно пировал с избранными 30-летний поэт, а дальней святой горушке снится о нём вещий сон.

Вот истинная цель пути и смысл судьбы.

* * *

Но что это за «обратная сторонушка»? Почему ворон кричит, чтобы не глядел «на ту сторону Мирового креста»?

Всякий взявший свой крест и понёсший его до конца распинается со Христом.

Возможно, поэт, с его стереоскопическим взглядом на жизнь и на смыслы, увидел пустую — незанятую — сторону того Мирового креста на Голгофе. Она ведь незаметна для стороннего взгляда. Кто в миру видит, как распинается со Христом тот или иной человек? Кто же заглядывает туда, по обратную сторону креста? Да и сам человек, знает ли, что судьба распинает его на кресте? Видит ли он себя?.. Готов ли он к такому знанию? Не возгордится ли, узнав высокую о себе правду?

Нет, неспроста кричит старый ворон.

И поэт сторонится утверждений, смиренно отдавая истину вещему сну «дальней каменной горушки».

Как это по-русски о Голгофе — горушка!

«Только в русском (точнее, первоначально, конечно, в

церковно-славянском) слово „крещение“, одно из главных понятий христианского мировоззрения, происходит непосредственно от слова „Крест“. В других языках термины, обозначающие крещение, происходят от греческого „Баптизма“ („купание“, „окунание“), то есть в семантике всегда первичным остаётся воспоминание о погружении в воду, что соответствует древнему, от восточных омовений заимствованному, обряду водного крещения. Для русского сознания крещение есть „погружение“ в Крест, добровольное пригвождение себя к Кресту Господню. Не удивительно, что только русский народ — до 1917 года 95 процентов русского населения — называл себя „крестьянами“, то есть в буквальном смысле — „народом Креста“» (Н. Лисовой. «Православие византийское, русское, вселенское»).

* * *

В том же 1998 году он написал, по-моему, самое светлое произведение — поэму «Красный сад» (до неё, родственное по духу стихотворение «Узоры»). Сколько там духовной высоты, радости, чистоты, света! Поэму можно читать бесконечно, снова и снова — и всё она остаётся свежа, как только что распустившаяся роза или лилия.

В середине сада пышут розы,
Равные по свежести и неге,
Разные по запаху и цвету,
Многолюдно пахнут и мерцают.
В белых розах белая девица,
Белый день стоит на Беловодье
И катает белое яичко,
А в яичке горлица воркует,
И плывут серебряные звоны.
В красных розах красная девица,
Красный день стоит на Красной Горке,
И катает красное яичко,
А в яйце малиновка играет,
И плывут малиновые звоны.
В жёлтых розах жёлтая девица,
Жёлтая заря в янтарном море
И катает желтое яичко,
А в яйце златая канарейка
Распевает про златые горы,
А ещё про вечную разлуку,

И плывут оранжевые звоны.
В чёрных розах смуглая девица,
Чёрный день стоит на белом свете
И катает чёрное яичко,
А в яичке чёрный лебедь кружит,
Он зовёт пропавшую подругу
И рыдает на затменье солнца,
На слепое черное блистанье…

И ещё из «Красного сада»:

Боголюбно лилия сияет
Среди роз таинственных и разных.
Белый столп сияния восходит
Прямо в купол вечного сиянья
И сливается с дыханьем Божьим.
Всё сияет: ангелы и звёзды,
И деревья, и кусты, и травы,
Все цветы, как ангелы, сияют,
И сиянье это несказанно!
Всё благоухает: близость Бога
И тепло Его прикосновений,
И благоуханье несказанно!
Всё поёт: и небеса, и бездны,
И следы святых прикосновений,
Всё певуче — и неизреченно!
Ибо все земные озаренья —
Мрак перед сиянием небесным,
Ибо все земные ароматы —
Смрад перед дыханием небесным,
Ибо все земные благогласья —
Скрип зубов перед небесным хором.
Всё на свете — тёмное подобье
Или наше слабое бессмертье.
«Это так!» — промолвил светлый ангел,
Что явился мне во сне наутро.
Я проснулся в самом сердце сада
Среди роз таинственных и разных,
Разбудила росяная капля,
Что упала с самой белой розы,
Самой нежной, как душа девицы.
Если это счастье, я сверканье!
Вот цветы, а вот сиянье Бога,
А меж ними ангелы летают,

Или это всё мне только снится?..

Помню наш короткий разговор после того, как было напечатано «Сошествие в ад». Я спросил Юрия Поликарповича, какой будет «Рай».

— По объёму такой же, как «Ад», — ответил он.

— Но как передать рай?..

— Помнишь «Красный сад»? Это и есть рай.

* * *

Ни «тёмное подобье» истинной жизни, ни «слабое бессмертье» человеческой славы его уже не устраивало. Всё это душой было изжито…

* * *

Крестный путь…

Что мы знаем о том или ином человеке? Даже если были знакомы с ним, виделись, разговаривали… Даже если — с напряжённой душою и мыслью — вчитывались в его заветные строки, пытаясь понять и восчувствовать их суть?..

Увы, мы знаем лишь то, что нам кажется. А это отчасти призрак, сон. Сходится ли наше знание с истиной? Бог знает!.. (Да, вот Он-то, Единственный, и знает. Ибо только Ему вполне известно всё — и наша душа, и душа того, кого мы пытаемся постичь и кто сам, быть может, — да и наверняка — не знал себя вполне.) Все мы — лишь то или иное воплощение замысла Бога о нас, и не дано нам знать, наверное, как исполнено то, что Им было задумано. Очень уж высок Божественный помысл, вряд ли среди смертных хоть кому-нибудь, кроме Его святых, удалось исполнить в жизни своё назначение…

В одном можно не сомневаться: каждый, кто жил по-настоящему, на пределе всех своих сил, всё же приблизился к тому, что — с его рождением — Бог помыслил о нём и предназначил ему осуществить на земле.

Сама наша жизнь — по неведению нашему прошлого и будущего, по приблизительности познания настоящего, людей, даже самого себя, по краткости и прерывистости впечатлений — тоже больше напоминает сон. Явь же, в целокупности и полноте, в понимании сути всего происшедшего, происходящего и того, что

произойдёт, дана лишь Высшему, Который и назван Вседержителем…

Словом, я вовсе не притязаю на то, что вполне постигаю личность Юрия Поликарповича Кузнецова и его поэтическое творчество. Эти заметки — только попытка приблизиться к пониманию его. (Как, впрочем, и заметки любого другого человека, кто писал о поэте или напишет.)

* * *

«В минуту рождения каждый имя своё себе в сладостный дар получает», — широким дыханием поёт Гомер во второй песне «Одиссеи» о наречении младенца. У имени своя духовная сущность, своя философия. По убеждению о. Павла Флоренского, имя действительно направляет жизнь личности по известному руслу и не даёт потоку жизненных процессов протекать где попало. «Но в этом русле сама личность должна определить своё нравственное содержание», — полагает философ. «Имя предопределяет личность и намечает идеальные границы её жизни. Но это не значит, что, именем определённая, личность не свободна в своём имени — в его пределах. И прежде всего: каждое данное имя есть целый спектр нравственных самоопределений и пучок различных жизненных путей. Верхний полюс имени — чистый индивидуальный луч божественного света, первообраз совершенства, мерцающий в святом данного имени. Нижний полюс того же имени уходит в геенну, как полное извращение божественной истины данного имени…» («Имена»)

То есть речь идёт об ответственности человека, с самого раннего его возраста, перед своей судьбой, перед своим именем. Недаром в песнопениях святому поётся: «Достойно имени еси пожил, Георгие…»

* * *

Юрий Кузнецов родился 11 февраля 1941 года.

Батюшки на Руси, когда крестят младенца, обычно дают ему имя по святцам — по имени одного из святых, кого поминает Церковь в день рождения дитяти или в один из ближайших дней. 17 февраля Православная Церковь чтит память благоверного князя Георгия (Юрия) Владимирского. Потому, наверное, мальчик и получил имя Юрий.

Святой этого имени — великомученик Георгий Победоносец.

Это был римский военачальник — христианин, погибший в 303 году во время одного из самых жестоких гонений на христиан при императоре Диоклетиане.

Св. Георгий был покровителем великих строителей русского государства. Имя Георгий (Юрий) получил при крещении Ярослав Мудрый. Вспомним основателя Москвы Юрия Долгорукого, владимирского князя Юрия Всеволодовича, который в 1238 году возглавил борьбу с татаро-монголами. Святой Георгий считается небесным покровителем Москвы. Его изображение — всадник, поражающий змия. Это герб российской столицы.

Мраморный столп со святым Георгием Победоносцем недавно установлен на Трубной площади. В нескольких минутах хода — редакция журнала «Наш современник», где в последние годы жизни Юрий Поликарпович заведовал отделом поэзии. Там, в тесных комнатушках (сначала одной, потом другой), которые служили ему кабинетами, и происходили большей частью наши встречи…

* * *

…Кузнецов был для меня не просто поэт, не просто человек, а — нечто. По крайней мере чудился таким. Сейчас не знаю, не уверен… но довольно долгое время. Это труднообъяснимо, но это так. Никто из современников, очных и заочных (а видел я многих), больше таковым не казался. Да и вряд ли уже покажется.

Личное наше знакомство было недолгим и, пожалуй, незначительным — и я теперь очень рад этому. Зачем слишком приближаться к поэту, разве недостаточно его стихов? Стихи — его душа, там — всё, а приблизишься или вдруг, не дай Господь, сделаешься приятелем — и быт заслонит душу. «Кузнецов» сделается «Юрой»… (Как это и получилось у довольно многих его знакомых, коих воспоминания и рассказы я прочёл или услышал по его кончине.)

Нечто… облако. Или лучше по-старинному — облак. Облак света и дыма. Дым в облаке — туман, влажная мгла. Свет и вода — жизнь. Но облако парит над родной землёй, и в нём ещё — дым Отечества. Дым — это и отстранённость. Ото всех, ото всего. Что-то, куда как важнее всего на свете и всех на свете, — совершается в нём, внутри, на глубине, — может, и сам не знает что. Но тем более надо прислушаться, чтобы не упустить, понять это глубинное, таинственное. А все — мешают, и всё — мешает, отвлекает. Вот и отстранённость. (Поэт, собственно, прежде всего странник в самом себе, в своих глубинах. Пойди туда, не знаю

куда; найди то, не знаю что; — вот его суть, его постоянное состояние. Загадал Бог загадку, а ты разгадывай.)

Таким, постоянно отстранённым, Кузнецов и запомнился мне. Отстранённым — то есть сосредоточенным на главном для себя. Конечно же, это не значит, что так было всегда. Скорее всего это было не так. Но тень всегдашней, въевшейся в его облик отстранённости уже никуда не исчезала. Да впрочем, думаю, это изначально было ему дано, с рождения, — только в последние годы жизни проступило уже, обозначилось в неистребимой определённости… А повседневность, поведение, так сказать, в быту, наверняка кому-то странное и непонятное, и определялось уже этой отстранённостью. И угрюмостью своей, и рассеянностью, и молчаливостью, и сигаретным дымом, и водкой — он отгораживался от суеты, от людей. Чтобы не мешали — услышать, осознать, почуять в себе тот продвиг, росток, звук Слова. Той же природы и его упрямая неразговорчивость, ворчливость, немногословность — чтобы не растратить душу, не распылиться, не потревожить происходящего в ней.

Что это было? Волевая заданность себе, своему поведению? Или это получалось стихийно, по естеству его духовной сути, чему невольно подчинялась и душевность?..

Я душу спасаю от шума и глума,
Летящих по краю.
Я думаю думу, о чём моя дума —
И сам я не знаю.

Да и как знать? Будто бы ни о чём — но обо всём. Обо всём сразу. Это — инстинктивное движение интуитивного проникновения в суть жизни, в её смысл. Это — подслушивание слова. («Я думу свою потихоньку подслушаю…» — как просто, да не о простом написал Твардовский, умудрённый уже всей своей жизнью). Слово определяет думу. Оно как бы нащупывает затаённый в пространстве смысл, сгущает в образ или символ растворённое в воздухе загадочное нечто — прообраз, предсмысл. И эта ловля ускользающего, потустороннего миру ветра исподволь становится существом поэта — и он видится людям, миру непонятным, странным человеком. Вроде бы здесь, рядом, вроде бы участвует в общении, разговоре — а где-то там. Где же? Никто не узнает и не поймёт, да и сам поэт, скажи он откровенно, как на духу, ничего путного не объяснит. Потому что не знает: что это? откуда это? В истинном своём состоянии, условно — в состоянии творческом, поэт не принадлежит себе. И никому. Он проводник, восчувствователь, сказатель Слова. Жизнь — внутри, в

душе; снаружи — существование, со всеми его прелестями (как в ироническом, так в прямом и — выше — в религиозном смысле).

* * *

О. Павел Флоренский не завершил своё интереснейшее исследование «Имена». В подготовительных заметках остался набросок к статье «Георгий». Вот его мысли об этом имени.

«(**Георгий**)

1919.III.6. Сергиев Посад.

Георгий. В этом имени, в звуках его, есть что-то твёрдое, но не железно-твёрдое, а скорее деревянное, не устойчивость духовной деятельности, а устройчивость довольно случайно и не глубинно определившейся воли, — не устойчивость, а упорство, которое, впрочем, не настолько мелко, чтобы быть отождествлено с капризом.

Георгий упорен, но это не неуклонность вожделеющей воли, в которой открывается тёмная первооснова бытия (Павел) и не простое бессилие, выражающееся в капризности и причудливых переменах решений (Константин), а большой упор хочу и решил, в котором довольно много усилия и напряжения. Георгий в этом „хочу“ довольно односторонен, он не видит других сторон дела, или скорее не хочет видеть в данный момент, ибо чувствует, что у него не хватит мощи преодолеть их, вобрать в себя и подчинить себе эти другие стороны, а не раствориться самому в них и не подчиниться им. Георгий не блестящ и в особенности не талантлив; но он умён, и умом, хитростью и настойчивостью добивается своего. Георгий не из тех, кому даётся всё легко; но тем не менее, даётся, ибо он вынуждает, вымогает из недр творческих природы то, чего хочет. Он воистину есть земледел, ибо он, натужившись, выпахивает почву действительности и, учтя коварство и причуды её, хитростью и приёмами, в которых однако больше привычки и эмпирически найденного метода, нежели вдохновения и умозрения, выращивает плоды, которых ждёт. Георгий не вдохновенен и не парит; но он и не погружён в корыстные расчёты: его практика имеет нечто космическое, более широкое, нежели простая корысть,

как его мысль, никогда не огненная, не чистая, не самодовлеющая, не бывает вне практических задач и намерений».

* * *

Что-то в этом есть, в этих — при всей их приблизительности — прозрениях…

«Устройчивость… воли», «большой упор хочу и решил», «ум и настойчивость», «земледел» (так переводится на русский имя Георгий), «натужившись, выпахивает почву действительности», «выращивает плоды, которых ждёт», «его практика имеет нечто космическое» и пр. — всё это, кажется, весьма подходит к Ю. Кузнецову.

Вот его собственное воспоминание:

«Я недолго увлекался метафорой и круто повернул к многозначному символу. С помощью символов стал строить свою поэтическую Вселенную». («Рождённый в феврале, под Водолеем….», предисловие к «Избранному», М., 1990).

…В этом признании, помнится, мой слух резануло слово «строить». Когда я стал доискиваться причины, то понял, что оно, в принципе, в одном ряду с ремесленным постулатом Маяковского о делании стихов («Как делать стихи»). Хотя у Кузнецова речь идёт о созидании поэтической Вселенной, а не о написании стихов, «строить» никуда не денешь. Я же считал и считаю, что поэзия в родстве с высокими стихиями души и интуиции, посредством которых, собственно, и познаётся своя поэтическая Вселенная; что же касается «строительства», то бишь некоего плана, то волевая и умственная (головная) заданность может только нарушить то, что уже — где-то — есть, что нам дано Самим Творцом в его замысле о нас.

В «Воззрении» — вступительной статье к своей последней книге «Крестный путь» — Юрий Кузнецов, по сути, отказался от прежних слов. Он пишет уже отнюдь не о «строительстве» своей поэтической Вселенной:

> «В 1967 году у меня, наконец, прорезалось мифическое сознание „в чистом виде“. Я написал свой первый миф: стул в пиджаке сдвинулся с места сам и стал ходить, и даже говорить по телефону.
>
> Стул в моём пиджаке подойдёт к телефону,
> Скажет: — Вышел. Весь вышел!
> Не знаю, когда и придёт.

Так я открыл свою поэтическую вселенную».

«Открыл». Это уже истина, и она дана поэту незадолго до скончания его земного века.

Но всё-таки не думаю, что сказанное двумя десятками лет раньше было простой оговоркой либо неточностью. Кузнецов всегда выражался откровенно и прямо. Скорее всего, тогда слова о том, что он «начал строить свою поэтическую Вселенную», и определяли его творческую работу. То есть он осознавал себя — творцом. Не понимал, что по высшей сути Творец — Один. Даёт — Бог, а мы только находим или же не находим данное Им. «Устройчивость…» же воли, «эмпирически найденный метод» и «практика, имеющая нечто космическое» — это всё лишь помогает или не помогает найти. И не более того…

* * *

…По мне, самая потрясающая фотография Кузнецова — детская, почти младенческая. Там он рядом с матерью, родными. Вообще, в глазах ребёнка лучше всего видна данная ему душа. Мальчику на том снимке два-три года. Его взор глубок, суров и пытлив. Что он вопрошает у мира? Какая сила рвётся наружу? Какие трагедии и бездны открывает в жизни и в душе этот резкий, сосредоточенный, упорный взгляд? Бог весть!

Тут уместно привести его собственное воспоминание:

«Будучи взрослым, я спросил свою мать, каким я был ребёнком.

— Как все дети, — сказала она, — только слишком задумчивый.

Увы, ответ похож на вопрос. Хоть мне никогда не узнать, что думал тот задумчивый мальчик, но, конечно же, в нём таилось всё, что я осознал потом».

* * *

Поэт верил, что его появление на свет напророчила в 1917 году астраханская гадалка, когда предсказала пятилетней девочке, его будущей матери, что в её жизни случится невероятное.

«Свой первый символ я увидел воочию, и ему обязан

первым воспоминанием. Мне было с небольшим два года. Помню, как долго открывал тяжёлую калитку с высоким кольцом… Выйдя на улицу, увидел сырой, мглистый, с серебряной поволокой воздух. Ни улицы, ни забора, ни людей, а только этот воздушный сгусток, лишённый очертаний. Конечно, такое воспоминание не случайно. Это было то самое туманное дремлющее семя, из которого выросло ощущение единого пространства души и природы. Возможно, оттуда идёт загадка „космической туманности“ многих моих строк о мире и человеческой душе».

Ему было три года, когда на войне погиб отец.

«В моём детстве образовалась брешь. Это была сосущая загадочная пустота отцовского отсутствия, которую я мог заполнить только словом… Свои первые стихи написал в девять лет. И долго писал просто так, не задумываясь, что это такое, и не заметил, когда стихи стали для меня всем: и матерью и отцом, и родиной и войной, и другом и подругой, и светом и тьмой»

(«Рождённый в феврале, под Водолеем…», предисловие к «Избранному», М., 1990).

* * *

Поэзия — вот крест, данный ему Богом и судьбой.

И он понёс по жизни свой крест, всё тяжелеющий с годами, под конец уже никому неподъёмный, понёс не ропща и не отступаясь — к той дальней горушке, уготованной на краю дороги, где уже начинается Небо.

* * *

Понятие «поэт» включало в себя для Кузнецова всё самое святое, заветное, сущностное, необходимое в жизни. Её смысл и оправдание, её ткань и красоту. Это был для него единственно возможный способ существования и осуществления себя в мире. «Сосущая загадочная пустота отцовского отсутствия», которую он мог «заполнить только словом», лишь открыла ему то, перед какими безднами, с рождения до кончины человека, томится в нём его душа. С течением лет это «заполнение словом» душевных,

мировых и вселенских бездн становилось всё напряжённее. Кузнецов только наращивал свою поэтическую мощь. Он и в шестьдесят лет, когда многие утрачивают былой творческий жар, отнюдь не исписался, а наоборот — брал новые поэтические высоты. И взял их. Без сомнения, он достиг бы и последней своей вершины — однако смерть не позволила ему закончить поэму «Рай». Впрочем, и так видно, какое колоссальное творение он задумал и осуществил в цикле своих поэм о Христе. Это был его творческий и духовный подвиг.

Кто измерит глубину того ручья, что течёт в наших жилах? Нету таких удальцов и не будет. Даже формула таинственной влаги, отнюдь не водицы, им не по зубам. Это лишь кажется, что её поток движется по замкнутому кругу. На самом деле он идёт через нас, путём души, из прошлого в будущее и, путём духа, от земли в Небо. Кровь омывается волнами обновлений, но ничего не забывает из того, что было; более того, как непреходящее вещество, она, конечно же, знает и то, что будет.

Поэт — народная кровинка. Самая яркая, самая чувствующая и живая. Потому он больше других обладает изначальным знанием и особым проницающим чутьём. Поэт глубинно видит свои древние, как хаос и как мир, истоки, он остро различает своё, родное в непроницаемой для слабой интуиции реке времён и, отдаваясь её могучему стремлению, всей разумеющей силой своего естества понимает прошлое, настоящее и провидит будущее. Одновременно с предназначенным ему в жизни испытанием души он совершает духовное восхождение и, насколько ему даровано, постигает Бога, смысл извечной борьбы Света и Тьмы, Божий промысл о судьбе своего народа и человека на Земле. Таков, в высшем проявлении, удел русского поэта, и Юрию Кузнецову он был отпущен сполна.

Кузнецов, не таясь, считал, что поэт — мерило всего сущего, средоточие жизни, её самый чуткий нерв, центр мироздания, точка отсчёта всего происходящего на свете. Поэзия для него — самый точный нравственный и духовный ориентир на земле. Он верил в безусловную правоту поэтического прозрения, на разных этапах жизни заявляя своё неизменное: «Поэт всегда прав — эту истину я знал давно». Ничему и никому он не был так предан, как поэзии. Звание поэт заключало для него все начала и концы. (Недаром он как-то заметил, что сами эти слова «начало» и «конец» — одного корня и раньше были одним словом, цельным представлением.) Вся его жизнь подчинялась только поэзии, а быт — бытию.

Разумеется, всё это он напрямую относил к себе, за что и удостаивался всю жизнь упрёков в самолюбовании и гордыне.

Однако это вовсе не эгоцентризм, как думают многие его критики и недоброжелатели, а — поэтоцентризм.

Характерный эпизод приводит в своих воспоминаниях поэт Евгений Чеканов.

В 1995 году, дома у Кузнецова, они, как водится, выпили, разговорились.

«— Юрий Поликарпович, семья ваша бедствует, судьба ваших детей непонятна… Так что главное — поэзия? Или всё-таки, как Розанов говорил, наши дети, „с их тёмным и милым будущим“?

— Поэзия.

— А как же дети?

Он, в страшном гневе, выпучив глаза:

— Да что ты говоришь? Что ты говоришь?!» («Русский путь на рубеже веков», Ярославль, 2004, № 2).

* * *

Юрий Кузнецов понимал поэзию как высшее служение — и оттого был вполне, если не чересчур, серьёзен в своих стихах.

Множество его произведений буквально пронизаны — если не прямо, то косвенно — живой энергией творчества, гальваническим током поэзии, её нарастающей силой.

Меня несёт на берег высота.
Последний взлёт!..
Перед своим паденьем
Так мощно медлит гребень!..
И чиста
Душа перед своим перерожденьем.

(«Волна», 1965)

Поэт

Спор держу ли в родимом краю,
С верной женщиной жизнь вспоминаю
Или думаю думу свою —
Слышу свист, а откуда — не знаю.

Соловей ли разбойник свистит,
Щель меж звёзд иль продрогший бродяга?
На столе у меня шелестит,

Поднимается дыбом бумага.

Одинокий в столетье родном,
Я зову в собеседники время.
Свист свистит всё сильней за окном —
Вот уж буря ломает деревья.

И с тех пор я не помню себя:
Это он, это дух с небосклона!
Ночью вытащил я изо лба
Золотую стрелу Аполлона.

1969

Постепенно эта молодая дерзкая энергия наполняется горечью познания:

Он видел больше, чем его глаза,
Он тронул глубже зримого покрова,
Он понял то, чего сказать нельзя
И, уходя, не проронил ни слова…

(«Он видел больше, чем его глаза…», 1971)

Но стихия творчества неподвластна ничему и никому, даже самому поэту:

Её изначальная сила
Пришла не от мира сего,
Поэта, как бездну, раскрыла
И вечною болью пронзила
Свободное слово его.

(«Стихия», 1979)

* * *

Он поток. Он ломает хребты
И летящих камней не боится.
Он зажмёт им орущие рты,
Он обточит их грубые лица.

Он шумит про своё и ничьё
И уходит в открытое море…

(«Что тебе до семейных измен…», 1980)

Поэт, по тогдашнему Кузнецову, явление стихии, сама её мощь; он наделён вольною душой и свободным словом, и творит по своему произволу. Но происхождение этой стихийной силы всё-таки туманно — «не от мира сего». Не от мира сего — и Ангелы и бесы. Откуда же родом та вольнолюбивая сила? Кузнецова, в конце 80-х, это ещё никак не занимает, он понимает поэта как стихию вообще, не давая ей духовных и нравственных знаков отличия. Стихия, сама по себе, представляется им как высшая сила. Но так ли это? Ведь в конце концов не поэтов же назвал Христос солью земли… (Правда, время, когда родился Кузнецов, обходилось как-то без Иисуса Христа, поколения на Руси уже выросли в безбожии. Не потому ли то сочинители, то актёры, то учёные, то политики, то — как в нынешние времена — (пардон!) бизнесмены себя любимых считают первыми, солью земли, — а публика, что с неё возьмёшь, охотно этому верит?)

О крестном пути в те годы Кузнецов, похоже, ещё не думал. Нет и ясного осознавания его. Не крест автор ощущает на своих плечах, но — романтический плащ поэта. Однако и тяжесть этого плаща уже мало кому под силу:

Плащ поэта бросаю — ловите!
Он согнёт вас до самой земли…

(«Отповедь», 1985)

Но вот в тяжёлых сумерках катастроф плащ поэта вдруг исчезает, как романтический морок

Устал я жить и говорить некстати,
Пускать на ветер лучшие слова!..
От женских слёз, признаний и проклятий
На памяти осталась трын-трава.

…Когда я смолку душа открылась Богу
И в тишине произнесла: — Люблю!

(«Слово», 1994)

Не только о земной любви тут речь… Слово-то — поэта! И вот настаёт уже у него голимое одиночество, куда от него денешься?

Жизнь улеглась… Чего мне ждать?
Конца надежде или миру?
В другие руки передать
Пора классическую лиру.

Увы! Куда ни погляжу,
Очарованье и тревога.
Я никого не нахожу,
А кто и есть, то не от Бога.

(«Классическая лира», 1997)

В 1998 году написано стихотворение «Крестный путь» — трагическое осознание своего предназначения, жизни и судьбы. Потом открылись ещё более горькие истины:

В толпе утрат меж прошлым и грядущим
Иду один, мне даже невдомёк,
Что здесь никто не думает о сущем,
Никто не знает, как я одинок.

(«Дымок», 2000)

Впереди ещё собственный Апокалипсис, свой Страшный Суд — в том числе и над литературой (поэма «Сошествие в ад»).

Путь подходил к концу.

И в последних строках в последней статье «Воззрение» к последней своей книге «Крестный путь» Юрий Кузнецов с полным правом пишет:

«В моих стихах много чего есть: философия, история, собственная биография, но главное — русский миф, и этот миф — поэт. Остальное легенда».

* * *

«Воззрение»…

По сути, это даже не вступительное слово к книге стихов, а крупная теоретическая работа о поэзии. Заглавие перекликается с любимым в молодости Кузнецовым трудом Афанасьева

«Поэтические воззрения славян на природу». В статье же — воззрение поэта Кузнецова на поэзию и на свой путь в русской поэзии. Итоговые размышления. Как всегда предельно скупые на слова, но на редкость глубокие и весомые.

Возможно, как это ни странно прозвучит, я некоторым — косвенным — образом причастен к появлению этой статьи, написанной Юрием Поликарповичем специально для книги «Крестный путь». А дело было так…

Осенью 2001 года я попросил Кузнецова дать подборку стихов в казахстанский литературный журнал «Нива», издающийся в Астане (я там жил тогда). Он обещал. И сдержал обещание — прислал новые стихи. Они вышли в февральском номере «Нивы» за 2002 год. Я написал к ним небольшую врезку. И хоть было в ней совсем немного слов, повозиться пришлось полдня: не просто писать о Кузнецове.

Прошу прощение за цитирование себя, но без этого не обойтись для дальнейшего рассказа:

> «В его поэзии клубятся русские мифы, а теперь в ней явственно проступает душа-христианка. До него никто с такой мощью не захватывал русскую душу в её целокупности — от преисподней, языческой и земной глубины до высочайших, небесных проявлений духа. И свыше данную нам судьбу он прозрел сердцем и словом пророка.
>
> Теперь уже очевидно, что Кузнецов — великий русский поэт. Его имя в первом ряду русской и мировой поэзии. Его голос перекликается с Гомером, Данте, Пушкиным, Лермонтовым…
>
> Великое всегда тайна. Она непостижима и, вероятнее всего, остаётся навсегда неразгаданной и для призванного ею. Поставим вопрос прямо: зачем нашему лукавому и страшному веку дан поэт столь невиданной силы? Ответ может быть только один: затем, чтобы выразить тот неумолимо совершающийся в мире переход, который святыми отцами Церкви назван последними временами. Дешёвый политиканский оклик начала XX века: „С кем вы, мастера культуры?“ давно уже сменился сущностным вопросом: „С кем ты, человек? С Христом или с антихристом? С Богом или с дьяволом?“ И Кузнецов своей поэзией и судьбою даёт русский ответ».

Я отослал Юрию Поликарповичу журнал, а через несколько месяцев приехал в Москву. Договорились встретиться у гостиницы казахстанского посольства на Чистых Прудах.

Он только вернулся с Колымы и, усталый после дальнего перелёта, ворчал на разбитые тамошние дороги и плохую водку. Зашли ко мне в номер. На столе со вчерашнего стояла початая бутылка виски, и я предложил выпить. Пренебрежительно и с сомнением покосился Поликарпыч на этот заморский продукт и нехотя поднял стопку.

— Ну, не из лихости, а для поправки, — сказал он в напутствие.

Я было кинулся к холодильнику за закуской, но Кузнецов остановил меня. Взял со вчерашней же тарелки подвявшую дольку болгарского перца.

— Этого достаточно.

Выпили ещё по полстопки, и он засобирался по делам.

В зале у проходной неожиданно увлёк меня в сторону, тяжело, словно бы недовольно буркнул:

— Поговорить надо.

Далее последовала продолжительная пауза.

— Я прочитал твою заметку… — тем же тоном начал Кузнецов. — Даже её ксерокопировал (тут мне стало смешно — так забавно было услышать из уст Кузнецова это нелепое импортное словцо)… Не потому, — проворчал он, — что ты меня там великим назвал (он поморщился)… Мысли там глубокие. Ты вот что… я книгу готовлю, самую полную, стихи и проза… ты напиши к ней предисловие.

Признаться, я немного оторопел от этого неожиданного предложения, прозвучавшего, впрочем, вполне серьёзно.

— Что же, тут в Москве написать некому? — брякнул я Юрию Поликарповичу. — Вон, Кожинов о вас всё время пишет…

— У Кожинова всё по-научному… — пробурчал Кузнецов.

— А Коля Дмитриев?.. (Н. Дмитриев написал обстоятельное предисловие к его недавней книге «До последнего края».)

— У Дмитриева мне пришлось многое повычёркивать. И всё равно… кое-что осталось! Он ставит меня рядом со Смеляковым (возмущённо). Я и Смеляков! Разве так можно?! (Н-да, певец комсомольской «Строгой любви» — и Кузнецов!) А он даже не понимает…

Вот такой вышел разговор… Я тогда пообещал Кузнецову, что напишу. Договорились: пришлю к осени. Но… события, что случились потом в моей жизни, отодвинули всё на свете. И к установленному сроку предисловия я не написал.

А в следующем году была ещё одна встреча, на этот раз, как обычно, у него в редакции. Я объяснил Юрию Поликарповичу мои обстоятельства.

— Ничего, ничего… — мягко возразил он. — Ты это… не

торопись. Книга пока не выходит. В издательстве тянут, денег нет. Время ещё есть… не торопись. На вот, почитай.

И он протянул мне стопку машинописных листов. Это было начало поэмы «Рай»…

Мало Кузнецову уже оставалось времени на Земле. Видно, пождал-пождал он меня, а там вдруг книгу срочно решали издать (но опять не издали) — да и сам сел за стол и написал «Воззрение».

И — хорошо!

(Кто бы точнее его самого сказал то, что он поведал о мифическом сознании, о своём пути в поэзии. Жаль, конечно, что на какое-то время ему пришлось отложить в сторону свою заключительную поэму, от которой он так не хотел отвлекаться!..)

* * *

Зачем же Юрий Кузнецов всю жизнь создавал этот свой миф о поэте? Зачем творил другие мифы — о России, о русской душе, о Христе?

Возможно, это странные вопросы, но кто ответит на них? Кто знает ответ?

Попытаться разгадать причину, конечно, можно… но оставлю это напоследок. А пока…

* * *

…Пока поговорим о природе той силы, которую, я думаю, ощущает любой, читая стихи Кузнецова.

Вот, например, что вспоминает об этом священник и поэт о. Владимир Нежданов:

> «Откровением за последние годы для меня стало позднее творчество Юрия Кузнецова — великого русского поэта, безвременно ушедшего. Поражают мощью замысла и поэтического воплощения его поэмы о нашем Спасителе — Иисусе Христе. Последняя „Сошествие в ад“ только внешне и отдалённо напоминает „Ад“ Данте, у которого в аду оказались в основном личные, политические враги. У Кузнецова же — это вселенский плач по безвозвратно погибшей человеческой душе… Поэма полна трагизма — она о нашем времени. В небольшой поэме „Красный сад“

буквально ощущаешь дыхание и благоухание Райского сада. Это его прообраз. В последние годы в творчестве поэта произошёл поэтический взрыв огромной силы, его вселенная расширилась… Дерзновение поэта было великое, и помощь от Бога — великая. Помню последнюю нашу встречу — за неделю до смерти поэта. Мы вышли из редакции „Нашего современника“, был осенний вечер. Только что Юрий Кузнецов читал мне недоконченную поэму „Рай“. И прощаясь, вдруг остановился и спросил: „Знаешь, что последует за этой поэмой?“ И, не дожидаясь ответа, выдохнул мне в лицо: „Страшный Суд!“ Это были его последние слова в ту последнюю нашу встречу… Как никогда он чувствовал в себе необыкновенную силу воплощения в поэтическом слове любого замысла. Иногда, как Илья Муромец, он приговаривал: „Чувствую в себе силу великую!“»

(«Литературная Россия», 2005, № 25)

* * *

В одной из попутной этим заметкам книг (кстати, подаренной о. Владимиром Неждановым) встретились мне слова из «Беседы трёх святителей», относящейся к XI веку:

«Что сильнее всего в человеке? Сильнее всего в человеке правда и любовь; такой человек не побоится ничего; правда и любовь спасает человека от смерти, а если человек воскрешает мёртвых и передвигает горы, но нет в нём ни любви, ни правды, но он — ничто».

* * *

Это — о Кузнецове. Редкая правдивость отличала его и в жизни, и в творчестве. Словно крупные кристаллы соли она выступала в его характере. Прямота и правдолюбие были в нём непременным условием познания истины. Во вред себе (житейскому), но не во вред Себе (сущности) — это было в крови и в поведении. Собственно, все кузнецовские «дерзости» и «эпатажные» заявления, будь они в стихах или в речах на писательских собраниях и статьях о литературе, таковыми вовсе не были. Это было простодушное, непременно искреннее, серьёзное, прямое и бесстрашное выражение его чувств и мыслей.

«На сегодняшнюю жизнь смотреть страшно, и многие честные люди в ужасе отводят глаза. Я смотрю в упор», — сказал он в интервью Г. Красникову в октябре 1998 года. Вот продолжение его мысли: «Есть несколько типов поэтов. Я принадлежу к тем, кто глаза не отводят. Но есть другие типы, которые отводят инстинктивно. Они не могут иначе, и упрекать их за это не надо. Например, для Есенина увидеть нашу действительность было бы подобно тому, как если бы от увидел лик Горгоны, от взгляда которой все увидевшие превращаются в камень. Есенин бы тоже окаменел на месте. А Блок лицом к лицу — лицо увидел… и сгорел».

Ну, положим, Есенин всё-таки увидел лик Горгоны (немногим этот лик отличался от нынешнего, впрочем, ещё более страшного), но недолго он смотрел на Медузу — погиб. А насчёт Блока — согласен…

Смотреть в упор на Горгону, тут не только мужество требуется — тут нужна и не уступающая ужасному омертвляющему лику сила собственного взгляда, равная силе духа. И она в Кузнецове была. И она видна — в силе его слова.

* * *

Святым отцам Церкви вторит и русская пословица — «Правда силу родит».

* * *

В предисловии к своей последней книге «Крестный путь», названном «Воззрение», нет ни слова о правде. Это само собой разумеющееся, как в жилах кровь.

Лишь несколько слов о любви:

«В двадцать лет я обнаружил святость в земной любви…

Люблю — самое расхожее слово в мире. Особенно фальшиво оно звучит на сцене… Но это табуированное слова навсегда осталось для меня святым».

В любви к Родине соединяется и земное, и неземное. Здесь табу ещё строже:

> «…Потом я ушёл в армию на три года, два из них провёл на Кубе, захватив так называемый „карибский кризис“, когда мир висел на волоске. Там мои открытия прекратились. Я мало писал и как бы отупел. Я думал,

что причина кроется в отсутствии книг и литературной среды, но причина оказалась глубже. На Кубе меня угнетала оторванность от Родины. Не хватало того воздуха, в котором „и дым отечества нам сладок и приятен“. Кругом была чужая земля… Впечатлений было много, но они не задевали души. Русский воздух находился в шинах наших грузовиков и самоходных радиостанций. Такое определение воздуха возможно только на чужбине… Тоска по родине была невыразима».

* * *

Наконец, высшая любовь — неземная, к Богу. Тут Кузнецов предельно скуп на слова:

«Я долгие годы думал о Христе. Я Его впитывал через образы, как православный верующий впитывает Его через молитвы…

Образ распятого Бога впервые мелькнул в моём стихотворении 1967 года — „Всё сошлось в этой жизни и стихло“. Мелькнул и остался, как второй план. Это была первая христианская ласточка. С годами налетела целая стая: „На краю“, „Ладони“, „Новое небо“, „Последнее искушение“, „Крестный путь“, „Призыв“, „Красный сад“, „Невидимая точка“ и другие.

После них я написал большую эпическую поэму „Путь Христа“. Это моя словесная икона. Последующая за ней поэма „Сошествие в ад“ — моё самое сложное произведение…»

И тут, как видим, ни оттенка декларативности. Кратчайше — пунктиром — о стихах и поэмах, что касаются Бога и Православной веры. А ведь это вехи его крестного пути, воплощённые в слове, — и какие!..

Чего стоит даже одно стихотворение, 2001 года:

Полюбите живого Христа,
Что ходил по росе
И сидел у ночного костра,
Освещённый, как все.

Где та древняя свежесть зари,
Аромат и тепло?
Царство Божье гудит изнутри,
Как пустое дупло.

Ваша вера суха и темна,
И хромает она.

Костыли, а не крылья у вас,
Вы разрыв, а не связь.

Так откройтесь дыханью куста,
Содроганью зарниц —
И услышите голос Христа,
А не шорох страниц.

Какая глубина сердечного чувства и чистота звука, какая горечь по утраченной истинной вере, какая живая надежда на возвращение к Богу!..

Это стихотворение перекликается — сквозь полтора столетия — с прекрасными тютчевскими строками:

Удручённый ношой крестной,
Всю тебя, земля родная,
В рабском виде царь небесный
Исходил, благословляя.

(Хотя Кузнецов, в отличие от Тютчева, говорит не только о русских верующих и о России, но, кажется, обо всех на Земле.)

* * *

«Сильнее всего в человеке правда и любовь…»

В этих простых и бесконечно глубоких словах трёх святителей дан ответ, что есть высшая суть русского православного человека. Правда даётся любовью, а любовь правдой. Правда рождает любовь, а любовь рождает правду. Как однокоренные слова «начало» и «конец» составляли раньше цельное понятие, так и «правда» с «любовью» — одного корня, только корень этот не словесный, а духовный. Это правда наделяла Кузнецова даром так сильно любить отца, поэзию, Россию, Бога. Это любовь одарила его такой высокой правдой об отце, о жизни, о войне, о Родине, о Боге. Эти два понятия неразъединимы в нём.

Да, быть может, в чём-то Кузнецова порой и заносило в его беспощадной категоричности (тяжело на душе и даже нехорошо от его некоторых строк, посвящённых отцу, судьбе России); да, возможно, иногда его захлёстывало своей волной воображение (поэмы о Христе) — но всё это частности, исключения, не меняющие высокой сути его творчества, его правды и любви,

наделившей поэта великой силой слова.

* * *

«Воззрение», последняя статья Юрия Кузнецова, целиком посвящена главному для него в поэзии — русскому мифу. «И этот миф — поэт», — заключает он. Своё «резко выраженное мифическое сознание» он рассматривает в русле русского и мирового фольклора и русской классической поэзии (захватывая, впрочем, и прозу). Это сознание поэт считает наиболее полным носителем народного духа. Согласно его взгляду, им обладали Пушкин, Лермонтов, Тютчев, в меньшей степени Державин, Боратынский, Фет. «К двадцатому веку мифическое сознание в русской поэзии измельчало», — утверждает Кузнецов, выделяя в минувшем столетии совсем немногих: Есенина, Сологуба («почти выродилось»), Клюева («застыло в догмате»), Тряпкина. (Ни слова о Блоке.) Удивительное признание о себе:

«Как поэт я больше был бы у места в дописьменный период, хаживал бы по долам и горам и воспевал подвиги Святогора. Но на всё промысл Божий. Я родился в прозаическом двадцатом веке. Впрочем, он тоже героический, но по-своему. И в нём оказался только один богатырь — русский народ. Он боролся с чудовищами и даже с собственной тенью. Но это богатырь, так сказать, рассредоточенный. Его нужно было сфокусировать в слове, что я и сделал. Человек в моих стихах равен народу».

* * *

Почему же поэт придавал такое значение мифу?

Потому что «мифическое сознание неистребимо».

Миф — явление земли и духа. Так, миф о России — явление земной и небесной Руси.

Именно земная — живая — сущность мифа особенно привлекала Юрия Кузнецова. В «Воззрении» он приводит основополагающую мысль философа А. Ф. Лосева из его «Диалектики мифа»:

> «Для мифического сознания всё явленно и чувственно ощутимо. Не только языческие мифы поражают свежей и постоянной телесностью и видимостью, осязаемостью. Таковы в полной мере и христианские мифы, несмотря на общепризнанную и

несравненную духовность этой религии… Как бы духовно ни было христианское представление о Божестве, эта духовность относится к самому смыслу этого представления; но его непосредственное содержание, то, в чём дана и чем выражена эта духовность, — всегда конкретна, вплоть до чувственной образности. Достаточно упомянуть „причащение плоти и крови“, чтобы убедиться, что наиболее „духовная“ мифология всегда оперирует чувственными образами, невозможна без них…»

Незадолго до смерти, в беседе с критиком Владимиром Бондаренко, Кузнецов, отвечая на вопрос: в чём творческая задача его последних поэм, сказал:

> «Я хотел показать живого Христа, а не абстракцию, в которую Его превратили религиозные догматики. В живого Христа верили наши предки, даже в начале 20 века верили. Потом Он превратился в абстракцию. Сейчас верят не в Христа, а в абстракцию, как верили большевики в коммунистическую утопию».
>
> *(«Завтра», 2003, № 33)*

* * *

Тут вдруг вспоминается мне одна простая старуха, что шагала передо мной с зажжённой свечой в узких тёмных катакомбах Киево-Печерской лавры. Она прикладывалась к мощам святых угодников, что покоятся там, по-домашнему приговаривая им: «Родненький! Помолись там за нас…» и шептала им что-то своё, горячее, сердечное. Видно было по всему: говорит с ними, как с самыми близкими, живыми, в полной уверенности, что её слышат и что ей помогут.

Нет, и в начале 21 века остались ещё в русском народе те, кто верит в живого Христа!..

Хотя в общем Кузнецов, пожалуй, прав: Спаситель превратился для многих в умозрительный образ, в некую абстракцию.

* * *

В той же беседе с Владимиром Бондаренко Юрий Кузнецов

прямо заявил:

«Задача всего моего творчества — вернуть русской поэзии первичность, которую она утратила в 20 веке».

Вот зачем ему был нужен миф.

Миф давал живое, а не видимость живого. Литературу, а не литературщину.

Поэт отрицал любые игры рационализма под видом литературы, — а интуицию считал Божьим даром.

Привыкший доходить до конкретной первоосновы, он обращал внимание своих студентов в Литинституте на строение и функции головного мозга. Левое полушарие отвечает за речь, рацио; правое — за искусство, воображение, интуицию, чутьё. Весь мир пошёл налево, — говорил он слушателям, — а слева за плечом человека стоит тёмный ангел. Вот откуда такая пропасть рассудочных стихов: в искусстве утрачена интуиция.

* * *

Интереснейшими воспоминаниями о Кузнецове поделился после его кончины писатель и филолог Сергей Небольсин:

> «Есть лад и миф, — однажды растолковывал он. — Лад — великая и прекрасная вещь; недаром и книга Белова великолепна… Так вот, лад великолепен, но он ушёл и его не возродить. Ну, не возродить, и всё! А миф остался, его труднее выветрить, и пока есть миф, есть и народ. Мифом и надо писать, я так и пишу. Миф — это тебе не разные там „как будто“. Это не „как будто ветреная Геба, кормя Зевесова орла“ и т. п., а доподлинные боги и божественные орлы, если цепляться за тютчевскую метафору. Тайна — не загадка с разгадкой, а безусловная неразрешимая загадочность чуда и его безусловная правда».

(«Наш современник», 2004, № 11)

«…Пока есть миф, есть и народ».

Русский человек — духовное понятие, — говорил Кузнецов. — Мы смешанный народ. (По воспоминаниям Марины Гах. «Наш современник», 2004, № 11)

Ученик Бахтина, литературовед В. Фёдоров ещё в 1990 году глубоко заметил: «Человек для Ю. Кузнецова — не то существо, что пребывает в малом и частном историческом времени, но целое человека (равно целому народу), которое, проявляясь по-

разному в разные времена, остаётся неизменным по своей внутренней сути. Поэт как бы „собирает“ такого человека: входя в конкретную историческую эпоху, он не остаётся в ней, но и не связывает прошлое с настоящим…, а строит, созидает „большое время“, соразмерное человеку „во всей полноте его человеческого бытия“…»

Кузнецов собирал русского человека, русскую душу, собирал на самое тяжкое испытание — на последние времена.

* * *

Можно только догадываться, в каких мирах побывал он в своём воображении, что предчувствовал своей глубокой интуицией, какие мысли обдумывал своим сильным и беспощадным философским умом, что пережил своим сердцем.

Он ворочал глыбы, этот богатырь, которому Бог не дал воспевать подвиги Святогора, похаживая в дописьменную эпоху по родной земельке. Но зато Бог дал ему пойти с крестной ношей вослед за Спасителем. И поэт вполне мог прозреть в своих пророческих видениях Конец Света на Земле, когда рухнет всё, когда безумные цивилизаторы влезут с ногами в душу человека, чтобы им помыкать как двуногим рабочим скотом. Что останется у людей в эту — послеписьменную — эпоху небывалого рабства? — Только мифы.

И Кузнецов сделал то, что промыслил ему Господь на земле, — создал русский миф.

В его мифе неразъединимы и миф о России, и миф о Христе. Как неразъединим с Христом путь самой России.

Поэт совершает предельно возможный ему подвиг — наперёд спасает свою Родину и свой народ в их вероятном самом страшном будущем.

Вот это и значат, по сути своей, последние слова Юрия Кузнецова о собственной поэзии: «В моих стихах главное — русский миф, и этот миф — поэт».

«Всё, что касалось меня, я превращал в поэзию и миф. Где проходит меж ними граница, мне как поэту безразлично». («Воззрение»)

> «Явление выдающегося поэта не может быть случайным событием. На мой взгляд, закончен огромный отрезок русской истории, и великая русская культура ушла на дно, как Атлантида, которую нам предстоит ещё искать и разгадывать. Именно поэтому в конце такого

> долгого исторического времени появился такой поэт, как Юрий Кузнецов, поэт чрезвычайно редкой группы крови. Я пытался понять, откуда происходит Юрий Кузнецов? Он, как всякое очень крупное явление, в общем-то вышел из тьмы, в которой видны некие огненные знаки, которые мы до конца не понимаем. Нам явлен поэт огромной трагической силы, с поразительной способностью к формулировке, к концепции. Я не знаю в истории русской поэзии чего-то в этом смысле равного Кузнецову. Быть может, только Тютчев?!.
>
> Он — поэт конца, он — поэт трагического занавеса, который опустился над нашей историей. Он силой своего громадного таланта может сформулировать то, о чём мы только догадываемся. Он не подслащивает пилюлю… Он один из самых трагических поэтов России от Симеона Полоцкого до наших дней. И поэтому та часть русской истории, о которой некогда было сказано, что Москва есть Третий Рим, кончается великим явлением Кузнецова».

Так сказал поэт Евгений Рейн в своём поздравительном слове на 60-летний юбилей Ю. Кузнецова. («День литературы», 2001, № 3)

Е. Рейн — единственный писатель из «либерального лагеря» российской литературы, кто всерьёз откликнулся на явление Юрия Кузнецова. Остальные молчат, упорно, скорее систематически-дружно — словно бы приказ им такой поступил, словно нет никакого «явления» и поэта Кузнецова вовсе не существует. Поклон вам, Евгений Рейн! Хоть один нашёлся, кто любит литературу больше партийности в ней родимой. А то ведь писатели сидючи по своим станам — либеральному и патриотическому, — что греха таить, просто-напросто дичают. Перья свои уж не просто, по завету Владим-Владимыча, приравняли к штыку, а превратили в штыки, и всяк колет, рубит, режет, и чужих (как либералы), и чужих и своих (как патриоты).

Замечательно сказал в своём слове Евгений Рейн. Но кое-что почудилось мне спорным. Оставлю за рамками этих заметок серьёзный разговор, однако сказать несколько слов всё-таки надо.

Ушла ли на дно русская культура, это большой вопрос. Она же сама — океан! Ну, разбило волнами истории караван кораблей, танкеров и судов, разлились по воде нефтяные пятна, болтаются кучи трухи и мусора. Ничего, пройдёт — океан и не от того очищался. Теперь о другом, более важном: кончается ли Третий Рим? По множеству признаков, вроде бы так. (Ах, как

этого желают те, кому «имя — легион».) Но и тут — как Бог даст да как народ управится с самим собой и своей державой. Но вот, действительно, вопрос: откуда, из какой «тьмы» (в которой видны «некие огненные знаки») взялся Юрий Кузнецов?

* * *

…Астраханская гадалка напророчила его будущей матери невероятное — рождение поэта — летом 1917 года. Страшный тектонический разлом русской жизни. Февраль уже размыл бастионы, монарха подлостью и обманом уже вынудили отречься от престола. Вскоре девятый вал Октября разрушил страну окончательно. Империя погибла — и возродилась уже не той. Новая, советская, — уничтожила все старые сословия. Конечно не сразу (с маху это просто невозможно) — разорила и почти уничтожила крестьянство. Погибло крестьянство (в наше время дотлевают остатки) — но прежде заговорило, создало свою литературу. Дворянской — от Державина и Пушкина до Бунина — уже не осталось, отговорили тёмные аллеи усадеб. Но Русь не может молчать. Заговорила роща золотая: Есенин, Клюев, П. Васильев. И она потом отговорила, вырубленная красным топором. Другая Русь заговорила — мужичья. Сначала был Шолохов. (В «Тихом Доне» никакой «книжности». Почти все герои — простой люд, ни у одного классика прежде никогда такого не было. Все эпиграфы — из народных казачьих песен. В романе ни на грош интеллигентщины. Ну, а если мелькнула разок «книжность» (дневники молодого Листвицкого), так то нарочно, с усмешкой, если не с презрением, — чтобы показать, как чужеродно это выморочное сознание всем тем, кто живёт настоящей жизнью на земле.) Мужик — заговорил. Отучили его петь песни, которых ему прежде вполне доставало, отняли его письменную речь, которой владели дворяне, — и он сам начал писать. Русская поэзия тоже не вся пала в камерности Серебряного века и в камерах века Советского. Началась великая война в 1941 году — и с долгом ратным взвалил на себя русский мужик и долг песенный, поэтический. Так появился Твардовский. Потом, чтобы отпеть крестьянство, явились «деревенщики»: Белов, Астафьев, Носов, Распутин. Запел стихи Тряпкин, запел песни Рубцов. Но то песни… И вот появился Юрий Кузнецов, крестьянский внук и сын солдата, — и дала о себе знать, никем и ничем не убиенная, могучая русская поэтическая мысль. Та, что идёт от Автора «Слова о полку Игореве», от митрополита Илариона, от Державина, Пушкина, Тютчева, Боратынского.

Но это пласт, так сказать, социальный.

Возьмём другой, что глубже, — религиозный. Кто в русской поэзии 19 века поднялся до духовной высоты державинской оды «Бог»? Нет ответа. Одинока и недосягаема та сияющая белоснежная вершина. Где-то рядом поздний Пушкин со своим последним циклом стихов, глубоко православных по духу. (Я не согласен с Ю. Кузнецовым, который сказал в «Воззрении», что небо Пушкина неправославно и в нём царит Аполлон с музами. Это касается разве что юного Пушкина.)

Итак, Золотой век русской литературы, русской поэзии. Могучая держава, твёрдые устои, в народе — глубокая, не рассудочная, а сердечная вера. Но высшее общество уже тронуто распадом, дворянство поражено масонской гнилью, вспенившейся в 1825 году на Сенатской площади. Чуткая к прогрессу словесность уже вольтерьянствует, поэты «шалят» с религией, играют в записные «афеи» (атеисты). Николаю I было ещё по силам «подморозить» Россию, но после него дух стал стремительно падать. Разночинная чернь изъела благородное золото века. Лишь Достоевский по-настоящему прозрел, ожидая казнь на плацу. То будущее России, что ему впоследствии открылось в пророческих видениях, было ужасом и гибелью всего самого заветного и катастрофой для народа. Но никто уже всерьёз не слушал и не понимал его пророчеств…

В следующем, Серебряном веке уже не шутки шутили с Богом, а напрямую и всяким способом заигрывали с дьяволом. Добивались его расположения. И добились. Жеманничали при этом: «Кокаина серебряной пылью / Мою молодость вдаль унесло…» Не этой ли пылью посеребрён Серебряный век русской литературы? Тютчевское «не плоть, а дух растлился в наши дни» зазвучало как нечто старомодное: всё растлилось, и весьма охотно. Богохульство, а потом и остервенелое кощунство превратилось в норму (особенно хамским это было у раннего Маяковского).

Советская власть сделала сатанизм своей идеологией. Она планомерно истребляла всех верующих. Резала по живому, выкраивая из «народа Креста» советский народ. Мелкие бесы вырвались из скучных сологубовских кошмаров и стали активистами — и влетели в кого ни попадя на своём пути. Не увернулись от них и поэты, впрочем, не особенно и береглись. Блоку в видениях примстился Христос, с католическим венчиком из роз («как кисейная барышня», — иронически усмехался Кузнецов), во главе двенадцати, по числу апостолов, грабящих и убивающих революционных матросов. Есенин повенчал белую розу утраченной веры с чёрной жабой богохульства, испохабив

стены Страстного монастыря (но душа его всё же болела и ныла по Богу). Пашка Васильев, тот в молодой хулиганской удали, сшиб зачем-то крест с павлодарской церквушки. Рухнула вера, но страна была ещё сильна. Сталин железной рукой, не считаясь с жертвами, выковал мощную державу, вождь всё-таки был государственником, впитавшим с детства имперский дух России, а не партийным болтуном. Последним взлётом советской империи стала победа над германским фашизмом (с которым, впрочем, как во времена Наполеона, шла на Россию вся Европа). Очень дорогой для народа была цена этой победы, силы были подорваны. Да, еще Гагарин взлетел над Землёй!.. Но уже пришло время партийных прохвостов без царя в голове. И вскоре они сдали могучую страну и уставший обезбоженный народ — на добычу исконным врагам России.

Что же осталось в итоге?
Ни Бога, ни державы…

Вот, Евгений Рейн, из какой тьмы русской судьбы (если говорить лишь о недавней истории) произошёл Юрий Кузнецов.

Да, я ничто, но русское ничто.

«Тьма…»? О! Русская тьма, как русская душа, глубока и не всякому проглядна…

Мы тёмные люди, но с чистой душою.
Мы сверху упали вечерней росою.
Мы жили во тьме при сияющих звёздах,
Собой освежая и землю и воздух.
А утром легчайшая смерть наступала,
Душа, как роса, в небеса улетала.
Мы все исчезали в сияющей тверди,
Где свет до рожденья и свет после смерти.

(«Тёмные люди», 1997)

«… в которой видны некие огненные знаки»?

И я вошёл в огонь, и я восславил
Того, Кто был всегда передо мной.
А пепел свой я навсегда оставил
Скитаться между небом и землёй.

(«Невидимая точка», 2001)

«…Третий Рим кончается»?

Шёл старик и шатался, заснув на ходу.
— Ты откуда идёшь? — Он ответил: — Иду
Из пустыни разбитого духа.
Я строитель. Я видел, как рушилась твердь,
Как страна принимала последнюю смерть,
Вопль «спасите!» летел мимо слуха.
Вот что смог унести я с собою в горсти,
Что успел я из Третьего Рима спасти
Среди труса, пожара и дыма! —
Он песчинку в раскрытой руке показал.
— Вот твердыня! — он голосом веры сказал, —
Вот основа Четвёртого Рима!

(«Строитель», 1993)

Это русский народ говорит устами поэта.
А народ — детище Бога…

* * *

Кузнецов глядел в упор на эпоху, не отводя глаз, и видел всё. Духовная разруха, опустошение душ, крах государственности, падение в бездну распада, вырождающийся и гибнущий народ…

Невыносимой болью насквозь пронизаны его стихи, и особенно в последние годы жизни.

Вон уже пылает хата с краю,
Вон бегут все крысы бытия!
Я погиб, хотя за край хватаю:
— Господи! А Родина моя?!

(«Последняя ночь», 1993)

———

Близок предел.
Счёт последним минутам идёт…

(«Время человеческое», 1994)

———

— Всё продано, — он бормотал с презреньем, —
Не только моя шапка и пальто.
Я ухожу. С моим исчезновеньем
Мир рухнет в ад и станет привиденьем —
Вот что такое русское ничто.

(«Последний человек», 1994)

———

К перемене погоды заныла рука,
А душа — к перемене народа.

(«Предчувствие», 1998)

———

Туман остался от России…

(«Призыв», 1998)

———

России нет. Тот спился, тот убит,
Тот молится и дьяволу и Богу.
Юродивый на паперти вопит:
Тамбовский волк выходит на дорогу!

(«Тамбовский волк», 2003)

И вот «мать честная» — Россия — в одном из последних его стихотворений говорит:

— А народ рожала я на диво,
А родной, не знамши ничего,
Встал на диво и махнул с обрыва,
Только я и видела его…

(«Голубая падь», 2003)

А потрясающие картины Преисподней и страшные откровения его Апокалипсиса — поэмы «Сошествие в ад»!..

Несомненно, все эти стихи — последних времён, которые поэт видит воочию.

В ответ на вопрос Владимира Бондаренко: «Веришь ли ты сам в своё сошествие в ад и пусть и неким воображением» Кузнецов ответил: «Это всё действительно было! Поэт сошёл в ад. Если это литература, то поэме моей грош цена» («ExLibris», 2004, № 19).

Недаром и в стихах всё чаще встречается слово «последний»:

Шагнули в бездну мы с порога
И очутились на войне,
И услыхали голос Бога:
— Ко Мне, последние! Ко Мне!

(«Призыв», 1998)

———

Царевна спящая проснулась
От поцелуя дурака.
И мира страшного коснулась
Её невинная рука…
А в этой тьме и солнце низко,
И до небес рукой подать,
И не дурак —
Антихрист близко,
Хотя его и не видать.

(«Прозрение во тьме», 2003)

Последние времена близки, а скорее уже наступили — и каждый волен поддаться антихристу или же последовать за Христом.

Кузнецов, по сути, уже отвергает литературу во имя духовного подвига. Поэт принимает истинную крестную ношу. Он пишет поэмы «Путь Христа», «Сошествие в ад», «Рай»… Он смиренно следует за Спасителем. Другой путь для него немыслим.

И даже незаконченный «Рай», как поведал о том о. Владимир

Нежданов, не казался ему пределом — он замысливал уже «Страшный Суд». Такой беспримерно дерзновенной была в Кузнецове та могучая небесная тяга, что влекла его дух к высшей правде бытия.

* * *

…Спасение же поэт увидел только в возвращении ко Христу. В истинной народной вере — в живого Христа, а не в ту абстракцию, в которую Он был превращён.

Эта единственная надежда прозвучала поначалу в его стихах.

Голос был свыше, и голос коснулся меня
За полминуты до страшного Судного Дня:
— Вот тебе время — молиться, жалеть
и рыдать.
Если успеешь, спасу и прошу. Исполать!

(«Время человеческое», 1994)

———

Твоя рука не опускалась
Вовек, о русский богатырь!
То в удалой кулак сжималась,
То разжималась во всю ширь…

Теперь во тьме духовной рвани
И расщеплённого ядра
Дыра свистит в твоём кармане
И в кулаке гудит дыра.

Врагам надежд твоих неймётся.
Но свет пойдёт по всем мирам,
Когда кулак твой разожмётся,
А на ладони — Божий храм.

(«Рука Москвы», 1997)

Но особенно мощно спасительная надежда сказалась в его поэмах о Христе.

Поэт — в сердце народа, считал Кузнецов. Человек в моих

стихах приравнен народу, — говорил он.

Поэт Кузнецов пошёл за Иисусом Христом — и не погиб в аду (но увидел всю родимую и иноземную нечисть, горящую в преисподней).

Это народ — в образе поэта — побывал в аду. И, опалённый, потрясённый, идёт в Рай, где давно уже молятся за него те, кто представляет Небесную Русь…

* * *

Слово обладает разрешительной силой: «Болящий дух врачует песнопенье» (Боратынский). У иного в стихах печаль, тоска, трагизм — а внутри свет и радость. Ибо тяжкие состояния души он разрешил своим же словом. А другой всё веселится да оптимизмом заряжает, а в душе мрак и уныние… Возможно, Кузнецов кому-то и в творчестве и в жизни казался тяжёлым, угрюмым, но, мне сдаётся, это впечатление обманчиво.

Горькое лечит, сладкое калечит, — говорит пословица. Е. Рейн точно заметил: Кузнецов не подслащивал пилюлю. «Мрачные идеи, сейчас побеждающие в реальности, в кузнецовском мире обречены на поражение. В современной России „Великая война“ кажется проигранной. Но в „Пути Христа“ и в „Сошествии в ад“ о поражении не может быть и речи, потому что жив Бог», — делает вывод Алексей Татаринов в статье «Последние апокрифы». («День литературы», 2006, № 10)

И сам Кузнецов не числил себя в пессимистах. Он считал пессимизм тупиком, исключающим творчество:

> «Конечно, современность наша не особо способствует оптимизму, но я чувствую, что сам я полон и творческих замыслов и сил. А ведь я живу не в безвоздушном пространстве, что-то вокруг питает эти замыслы и силы. Поэтому у меня есть чисто интуитивная уверенность, что у России много ещё впереди».
>
> *(«Десятина», 2002, № 6)*

* * *

…А друзья и товарищи этого прямого и сурового человека вспоминают его редкую, но удивительно светлую — детскую — улыбку.

Увы, сам я этой его улыбки никогда не видел…

Человек рождается чистым, вступая в мир, искажает свою душу и до старости освобождается, возвращается в детской чистоте, — говорил Кузнецов своим студентам.

* * *

Он умер не во сне, как об этом написал поэт Владимир Костров в стихотворении памяти Кузнецова, напечатанном «Литературной газетой» сразу по кончине поэта.

Жена Юрия Поликарповича рассказала мне, что утром 17 ноября он собрался на работу. Оделся, сел в кресло — и вдруг сказал:

— Мне надо домой.

— Юра, ты же дома…

— Домой! — снова сказал Кузнецов.

Это были его последние слова.

Врачи скорой помощи уже не застали его в живых…

Домой… Туда, где вечный Небесный Дом…

* * *

Поэт всегда прав, даже если ошибается, — говаривал Юрий Поликарпович. И добавлял о себе: — Я ошибок не боюсь.

Он верил в присущее поэту духовное зрение.

> «Поэзия, конечно же, связана с Богом. Другое дело, что сама по себе религия, и особенно религия воцерковленная, может существовать без поэзии, в то время как поэзия без религиозного начала невозможна. Поэт в своём творчестве выражает всю полноту бытия, не только свет, но и тьму, и потому ему трудно быть вполне ортодоксальным, не в жизни, конечно, а в поэзии».

На вопрос, возможно ли понятие «православный поэт» в строго догматическом смысле слова, Кузнецов ответил: «Это бессмыслица. Но, как мы уже говорили, поэзия связана с Богом, и прежде всего с Христом, ибо Он есть Слово. Мне хочется надеяться, что поэтическое творчество всё-таки богоугодно. Недаром в лучших своих образцах поэзия очень похожа на молитву». («Десятина», 2002, № 6)

* * *

Слова, сказанные на кончину поэта, подтверждают его надежду. Я приведу только некоторые из множества.

«Мы, любившие его как человека, преклонявшиеся перед его поэтическим даром, — всегда знали, какую духовную брань он ведёт с силами зла в пространстве „между миром и Богом“. И сам он казался вечным в бесконечной этой брани…

Русская история и её великие творцы — преподобный Сергий Радонежский, святой воин Пересвет, митрополит Иларион обретали под его пером новую жизнь. История и современность сливались в его поэтическом сознании в единый неразделимый поток…

Его „сошествие во ад“ было продолжением той брани с невидимым злом, что стоит между миром и Богом, которую он вёл всю свою жизнь. И слыша уже в последние месяцы здешнего бытия, как „тамбовский волк выходит на дорогу“, он улавливал нежную музыку, доносящуюся из Вечности, как награду, дарованную ему за эту смертную брань…

Гений остаётся в Вечности. Нам — делать осторожные шаги по его следам, по его „вечному снегу“, ради познания тех глубин и „вселенских сетей бытия“, которые были познаны им такой дорогой ценой. Но иной цены на этих незримых дорогах — не было и не будет.

Мы склоняем головы перед последним приютом нашего друга и молим Господа о том, чтобы с бесконечной Отеческой милостью принял Он душу раба Божия Георгия в горних высях. Вечная ему память.

Друзья»

(«Русский дом», 2004, № 1).

«…Завершающий этап литературной и духовной биографии поэта ознаменован переводом „Слова о Законе и Благодати митрополита Илариона“ и поэмами о Христе. В переводе древнерусского шедевра Юрий Кузнецов нашёл такую художественно-речевую интонацию, которая, сохраняя мерность строгого поэтического повествования, вместе с тем была неуловимо лирически окрашена. Сам этот тон есть литературная драгоценность для человека, переходящего из второго христианского тысячелетия — в третье.

Драматически разъединены в современной русской

душе народное и личное, вечное и мгновенное, любовь и жертва. Последнее — как узел, в котором стянуты в одно целое Божий замысел о человеке и человеческая свободная воля. И вот уже само гармоническое устройство этой поздней кузнецовской поэтической речи являет нам пример духовного преображения русского человека. Конечно же, здесь не последнее преображение, по Христову обетованию, но то преобразование русской души, которое, словно поводырь слепого, развернёт её на бытийном пути в единственно верном направлении.

Поэтому с каждым последующим годом имя Юрия Кузнецова в нашей литературе будет становиться весомее… Поэзия Кузнецова будет похожа на плотный свиток, который медленно разворачивает рука искателя русского смысла. Русский ум здесь найдёт себя, а русское сердце — сквозь слёзы узрит Бога…

Вячеслав Лютый».

«С первых книг главное впечатление от его поэзии можно было выразить тремя словами: талантливо, серьёзно, неожиданно. Неожиданность заключалась не в одном ярком даровании, но именно в серьёзности. После нескольких десятилетий поэтического мелководья… читатель кузнецовских стихов вдруг проваливался… Куда? То ли в самую глубину русской философской лирики, забытой, казалось, со времён Пушкина, Тютчева, Блока, то ли в экзистенциальные провалы современной философской мысли…

…Жена поэта сказала: „Знаешь, в момент, когда Юра умер, он вдруг стал похож на себя в точности такого, каким был, когда мы познакомились“. А прожили они больше 35 лет… Такое бывает: минута ухода открывает в человеке самую его суть.

Юрий родился 11 февраля 1941 года (29 января по старому стилю), в праздник Игнатия Богоносца, в день смерти двух величайших русских богоносцев — Пушкина и Андрея Рублёва. А скончался утром 17 ноября 2003 года, когда в церкви по уставу читалось то место Евангелия от Луки, где Спаситель говорит ученикам: „Не думайте, что есть и во что одеться, Отец ваш Небесный позаботится о вас“. Именно так, по завету Христа, и прожил свою жизнь замечательный русский поэт Кузнецов, может быть, последний из наших настоящих поэтов.

Николай Лисовой».

* * *

Ну, что осталось сказать напоследок?

Как-то, не так давно, прочитал я в литературном еженедельнике короткую заметку одного писателя. Что-то вроде реплики или особого мнения. Я вовремя не отложил газету, а потом уже не отыскал, так что перескажу по памяти смысл этой реплики. А был он в том, что-де поэт Юрий Кузнецов отнюдь не народен, вот Николай Рубцов, тот поистине народный, а Кузнецов — нет, писал-де для элиты, а стало быть, только элитный поэт, зря его раздувают.

О Господи, подумал я тогда, нет и не будет пророка в своём отечестве. Разве Пушкина кто-то сразу народным признавал? Даже друзья-поэты морщились и думали про него, что исписался и мыслить не умеет. Столетие понадобилось, чтобы Пушкина по-настоящему поняли.

Век человека короток, а мы поэтому торопливы в суждениях. А народ долго живёт. И не спеша думает. И не так он прост, как иному кажется. Вон чего наворотил в пословицах, сказках и загадках — голову сломишь… Да и вообще, как рокотал в таких случаях поэт-трибун Маяковский, зайдите через сто лет — там поговорим.

Опять-таки припомнились мне стихи самого Юрия Поликарповича. Они у него всякие есть. Есть такие, как его детская улыбка. Другие же — смаху не поймёшь. Почтенный критик Ал. Михайлов как-то заметил, что Кузнецов — самый загадочный поэт XX века, самый сложный для понимания и что его будут разгадывать весь нынешний век. Да нашему народу не привыкать: он загадки сызмалу любит… А раз породил Кузнецова, так уж сам его и поймёт, это непременно.

Народность заключается не в прижизненной или посмертной славе и известности, а в необходимости поэта последующим поколениям и временам. В необходимости духу народа, то есть высшему развитию народа. Явление национального поэта всегда предопределено этой необходимостью. Душе народной, на новом этапе её судьбы, потребно выразиться в слове, ибо слово есть существо её жизни, непременное условие её продолжения в пространстве. В поэтическом слове — народная душа осознаёт себя.

Для кого как, а для меня несомненно, что Юрий Кузнецов был необходим России в её нынешние страшные времена, а

значит, он необходим будущему. Он был наделён редким по проницаемости даром слышать голос крови, и он воплощал в слове этот прикровенный голос родовой памяти с потрясающей выразительностью. Всё это — корневые свойства национального поэта. Надо ли снова напоминать, что в поэзии Кузнецова, как облака в небе, клубятся русские, славянские мифы, в ней живут обновлённой жизнью предания, былины, песни, поговорки — всё наше кровное, изустное, народное, что исподволь и составляет сказку русского лица, отличную от всех других на Земле. И всё это не нарочито (как, видимо, полагают некоторые толкователи), а естественно, умно, живо и свободно. Это же тот самый русский дух в ярком и вольном словесном воплощении…

Одни читатели его поэм о Христе презрительно недоумевают: дескать, зачем было зарифмовывать Евангелие; другие, «православные РАППовцы», нещадно клеймят поэта за кощунственные, по их мнению, искажения канонов; литературоведы пытаются понять, что же это за жанр — то ли поэмы, то ли апокрифы, то ли ещё что-нибудь; — а мне сдаётся, что это, чисто в кузнецовском духе, русский народный миф о Христе, соединяющий в себе и героическую былину, и живое сказание, и святую легенду — и всё пронизано глубокой сыновней любовью ко Спасителю. Тем же, кто считает страшный суд, устроенный поэтом в его преисподней, слишком жестоким и несправедливым по отношению к некоторым личностям (мне тоже что-то не нравится), я попросту скажу: а чем вы можете опровергнуть Кузнецова? Видения ада — из моих кошмаров, — как-то обмолвился он. Вы-то сами, сударь, спрошу я противников поэта, небось куда как спокойней по ночам спите, не так ли?.. Вспомните формулу предельно честного Боратынского: «Не напряжённого мечтанья / Огнём услужливым согрет, / Постигнут таинства страданья / Душемутительный поэт. / В борьбе с тяжёлою судьбою / Познал он меру вышних сил, / Сердечных судорог ценою / Он выраженье их купил». Ведь Кузнецов, в аду своём, и себя отнюдь не пощадил. Как никогда не щадил себя в жизни, коли дело касалось поэзии…

…А тому писателю — диагносту народности, мне хочется почему-то привести вот эти строки Кузнецова:

Я сплю на Слове. Каюсь, Боже!
Чудно сияет это ложе.
Оно из молнии и грома,
Из толщи звёзд, и невесомо.
Лежу с открытыми глазами,
Как жертва перед небесами.

И пью из Твоего дыханья
Сладчайшие благоуханья.
Во мне струятся сны простые —
Оранжевые, золотые.
А пробуждение другое —
Зелёное и голубое.

(«Ложе сна», 2001)

…Но попадаются глубины,
В которых сразу тонет взгляд,
Не достигая половины
Той бездны, где слова молчат.
И ты отводишь взгляд туманный,
Глаза не видят ничего.
И дух твой дышит бездной странной,
Где очень много твоего.

(«Книги», 1996)

И ещё одно, вроде как мечтание.

Кузнецов, в отличие от Державина и Пушкина, не воздвиг своего «Памятника». Много чего написал, а вот этой традиции не продолжил. Пожалуй, некогда было… Впрочем, как-то обмолвился на эту тему. Правда, больше в сердцах. Случилось это аккурат в день собственного рождения — 11 февраля 2000 года. А дело в том, что, посещая свою родину — Кубань, поразился он, что землячки-то знать его не знают и не желают знать. Даже повитуха не признала! (А, то-то! — возможно, воспрянет тот писатель, что спец по народности, — я, я прав!) Ну, и Поликарпыча по-человечески проняло от такого поведения земляков-кубанцев…

И я загнул такую стать:
— Эх вы, живущие без вести!
Мне будет памятник стоять
Вот здесь! На этом самом месте!

Сгоряча поэт даже разбил оземь бутылку вина. Но… не

прошло и строфы, как смирился со своим бесславием:

Ушёл я, голову склоня
Под мелодические визги.
Пускай Кубани на меня
Плевать… Зато какие брызги!

(«Посещение Кубани»)

А я вот, хоть родом отнюдь не с Кубань-реки, поставил бы там памятник Кузнецову даже за одно его стихотворение «Кубанка». Я очень люблю это стихотворение, и более того скажу: оно каждым словом своим, каждым звуком — народное. А потому Юрий Кузнецов, даже если бы у него было бы только одно это стихотворение, — народный поэт.

Клубится пыль через долину.
Скачи, скачи, мой верный конь.
Я разгоню тоску-кручину,
Летя из полымя в огонь.

Гроза гремела спозаранку,
А пули били наповал.
Я обронил свою кубанку,
Когда Кубань переплывал.

Не жаль кубанки знаменитой,
Не жаль подкладки голубой,
А жаль молитвы, в ней зашитой
Рукою матери родной.

Кубань кубанку заломила.
Через подкладку протекла,
Нашла молитву и размыла,
И в сине море повлекла.

Не жаль кубанки знаменитой,
Не жаль подкладки голубой,
А жаль молитвы позабытой,
Молитвы родины святой.

Клубится пыль через долину.
Скачи, скачи, мой верный конь.
Я разгоню тоску-кручину,

Летя из полымя в огонь.

1996

Впрочем, я увлёкся и отвлёкся от того, что хотел сказать. Оно, конечно, банально, что скажу, но что поделать? — Великим русским поэтам надо ставить памятники не только там, где они родились, но прежде всего — в Москве.

Понятное дело, от нынешних столичных властей этого не дождёшься. Они-то, бедные, думают, что Окуджава с Высоцким великие поэты. Но ведь это не так.

Будут, надеюсь, когда-нибудь в России, Москве и другие власти, и другие градоначальники — духом русские, а не только фамилией. Да и сами москвичи, не исключено, разберутся, что к чему.

А теперь, собственно, моё мечтание.

Стоит в будущей Москве, у общаги Литинститута, в скверике среди берёзок и рябин бронзовый Николай Рубцов на пьедестале. Да-да, именно там, у той общаги, откуда его время от времени всё выселяли коменданты, не пускали ночевать, именно того института, откуда его вечно выгоняли.

(Ещё бы я поставил Рубцову памятник в Ялте, куда он так и не смог поехать — отдыхать… Вон, благодарный Киев поставил же памятник Паниковскому — наверное, за то, что в Киеве Паниковский гусей не крал… Почему же Рубцова не почтить монументом в Ялте: он всё же её курортную прославил в знаменитой своей стихотворной шутке.)

А в Переделкино, среди берёз и сосен Дома творчества, я бы возвёл памятник Николаю Ивановичу Тряпкину. Там он столько лет спасался от своего московского бездомья…

Молчите, Тряпкин и Рубцов,
Поэты русской резервации!..

Вот и пусть молчат — в бронзе. Они своё, что Бог велел, уже сказали…

Теперь Кузнецов… Долго я перебирал в памяти московские уголки. И вот что придумал. Тверской бульвар! Где-то между Пушкиным и Есениным. Это же не простое место: где Пушкин — там сердце вечной поэтической России. Поэт — сердце народа. Кузнецов — сердце России, такое, какое Бог дал нашей державе в последние времена. Он их любил — и Пушкина и Есенина. И в Литинститут, что расположен рядом, ходил — сначала студентом,

потом преподавателем… Александр Блок совсем неподалёку стоит, и его Поликарпыч любил… Хорошее, подходящее место.

А я — их всех люблю!..

* * *

Памяти Юрия Кузнецова

1. Прощание

Народ не заметил, что умер великий поэт.
А может, народа уж нашего больше и нет?
Безмолвно плывут в небесах облаками
стихи,
Слезами-росинками плачут нездешних
цветов лепестки,
И Божии громы гремят в вышине неземной
Над бедной, слепой и оглохшей, родной
стороной.

Я тихо вослед отлетевшей душе помолюсь.
Отчалила в вечность она, как небесная Русь.
Растаяли выдохом детским и тёплым
лихие грехи,
Взошли, словно звёзды, рекою надмирной стихи.
Как долго им лить отрешённый до времени след
Туда, где своих-то почти никого уже нет.

2. Стансы

I
На берегах ветхозаветной Леты
Когда-то жили первые поэты.
Они молились в небеса убого
И слово брали для людей — у Бога…
Худы, угрюмы, страстны, светлооки,
Звались они по-древнему — пророки.
II
Мельчает время. Видно, вышли сроки.
Давно исчезли вещие пророки.
Кто нынче в небо молится убого?
И кто теперь расслышит слово Бога?

На берегах новозаветной Леты
Тоскуют синеокие поэты…
III
Но крепок только Бог в пустынях рока —
И Он порой даёт средь них пророка.

3. Молитва

Я слеп, как червь, у древнего огня,
Обстала темень-тьмущая меня.

Мои глаза не видят ничего.
— Отверзи очи сердца моего!

Сними заклятья вечную печать,
Чтоб книгу жизни мог я прочитать.

Открой мне навсегда пресветлый свет,
Где только жизнь, где смерти больше нет.

2004

Январь 2007 г. г. Алма-Ата

Валерий Фёдорович Михайлов родился в 1946 году в Караганде. В разные годы руководил редакциями газеты «Казахстанская правда» и журнала «Простор». Автор документальной повести «Хроника великого джуга» о трагической коллективизации в Средней Азии и многих сборников стихов.

Геннадий Морозов. Среди смутной, рассеянной думы

5.09–04.

Здравствуйте, Батима!

Давно хотел написать Вам, выразить своё соболезнование в связи с такой неожиданной (по крайней мере, для меня) кончиной Юрия Поликарповича, нашего замечательного Юры, которого я всегда обожал и как человека и тем более как выдающегося поэта. Я всегда где только мог говорил о его замечательном даре, о его неповторимых и удивительных стихах и о его каком-то всеохватном философском и художественном феномене. Если Вы помните, Батима, Юра однажды пригласил меня к себе ночевать. Из ЦДЛ мы тогда ехали к Вам на только что полученную квартиру. Был ещё с нами Саша Медведев (где он?), и ехали с нами Вы. Юра на кухне, когда уже наступало утро, читал нам поэму «Змеи на маяке», понять которую до конца у меня не хватило мозгов, да к тому же башка раскалывалась от выпитого. Но всё равно внутренне чувствовалось, что это какая-то загадочная поэзия. Но — поэзия!

На протяжении жизни я виделся с Юрой нечасто. Однажды я приехал в Переделкино (кажется, в 87-м году) и увидел там Юру. Он занимался переводами. Вечерами иногда встречались, всегда говорили об одном — о русской поэзии и поэзии мировой. Он оригинально толковал Есенина, «поругивал» Ахматову. Мысли были удивительно просторными. Мне запомнилась эта переделкинская зима, как мы бегали на электричку, шумно дышали, толкались среди битком набитых вагонов. Знаете, Батима, я ощущал Юру, как брата (мы одногодки), он — февральский, я — сентябрьский. Так же я ощущал Шукшина и Рубцова — я был редактором его книги «Посвящение другу», Лениздат, 1984. Я там работал. Закончил я Литинститут (семинар Д. Ковалёва, а потом, после его смерти, был в семинаре В. Цыбина).

Летом прошлого года Юра прислал мне коротенькое письмо, сообщая, что подготовил мою подборку, запланировав её в № 10. Она вышла в № 11. И вдруг — такое несчастье.

Поверьте, дорогая Батима, я много месяцев был угнетён и расстроен до слёз. Многие мои друзья, знавшие Юру, были также потрясены этой катастрофой.

Теперь, когда прошло несколько месяцев с 17 ноября (вот уже 9 месяцев), я вдруг стал понимать (пришли в голову такие ассоциации), что мои стихи, подготовленные Юрой для публикации, это как бы его прощание со мной, ибо это, видимо, была одна из последних подборок, им подготовленных. Он сам назвал её: «Мелькнёт что-то светлое вдруг…» (по одной строке). Стихотворение заканчивается так:

Бродя среди этого шороха, шума, —
Не будь же угрюмым, мой друг,
Когда среди смутной, рассеянной думы
Мелькнёт что-то светлое вдруг.

Стихи написаны в 75-м году. И вот я думаю: наверное, эти стихи о Юре, это он мелькает среди «смутной и рассеянной думы». А строка «Бродя среди этого шороха, шума» — не что иное как сама наша нервная жизнь. Ужели уже тогда, в 75-м году, образ Юры запечатлелся в этих стихах? Да, видимо, это так. И он, отбирая стихи для публикации, из множества текстов выбрал и этот, и даже взял из него строчку для названия цикла.

Хочу посоветоваться с Вами: разрешите ли мне посвятить эти стихи Вашему мужу? Называются они «Слушая шелест…», имеется в виду — слушая саму жизнь. Высылаю Вам беловик этого стиха. Если дадите согласие, то я включу его в какое-нибудь издание. Поэтому если будет возможность — черкните мне. Я сейчас нахожусь не в Петербурге, а в родном Касимове, где у меня недавно скончалась мама. Для меня это горе, как обвал в моей жизни. Всегда думалось, что мама бессмертна, что она не умрёт никогда. Но вот ушла она, как и Юра, во сне.

Похоронили её на сельском погосте, в тех местах, где прошло её детство, юность… Так она завещала. Она стала готовиться к смерти, как к самому главному торжеству, ещё лет 25 назад. Приготовила смертный узел, учла всё до мелочей. Так уж положено у нас. Теперь её могилка окольцована шелестящими берёзами, липами, заброшенными полями, оврагами и заросшей

пустошью.

Здесь — глубинная Россия.

В 83-м году я написал поэму «Император» (о Петре I), и в ней есть строки о Рубцове и Кузнецове. Царь из бронзового (медного всадника) превращается в живого человека. В конце поэмы идёт текст: (царь говорит):

> «Это нервы должно быть,
> Дрянные, поганые нервы.
> Или это знобит меня
> Наступающий век двадцать первый.
> А двадцатый, увы, одряхлел, он уже на угасе,
> Зато сколько поэтов толчётся на русском Парнасе!
> Неплохие ребята, калёные в жизненном тигле…
> Храбрецы и певцы. Вы недаром в России возникли.
> А Рубцов на прощанье оставил стране завещанье…»

(и т. д.),
а вот о Юре:

> «Как нагрянули, ух!
> И к вершине, где властвует Слово,

(имеется в виду Олимп)

> Только там уж давно вторит эхо строфе Кузнецова.
> В ней — порыв вихревой…
> Сердцу — знобко и жарко.
> За таких молодцов пьют до дна мою царскую чарку.
> Сам я выпить готов! Разнуздайте коня, отпустите…»

(и т. д.)

Строка: «Как нагрянули, ух!». Имеются в виду супротивники Юрия, пытающиеся занять вершину Олимпа, а там уже давно «Вторит эхо строфе Кузнецова».

Он уже давно там, покорив вершину.

Конечно, дорогая Батима, со временем я напишу о Юре, надо только найти в рукописных развалах кое-какие записи наших бесед, разговоров и споров.

В моей жизни свой трепетный свет оставили два Юрия — Селезнёв и Кузнецов. Оба стоят перед моим внутренним взором — выдающиеся творцы и неувядаемые личности. Они со мной навсегда — и в их книгах, и в моей памяти.

Когда я узнал об утрате Юрия Поликарповича, то звонил, просил прислать мне журнал с некрологом. Редакция прислала мне 2 экз. И ещё я написал Станиславу Юрьевичу письмо-соболезнование.

Если будет готовиться сборник воспоминаний, то сообщите, пожалуйста, я пришлю стихи и прозаические тексты. Если это будет необходимо, конечно.

Последний раз я виделся с Юрой в Петербурге на Пленуме Союза писателей, в зале, где нас принимал губернатор Владимир Яковлев. Потом были в Невской лавре. Более всего я поразился запечатлённой скорби на лице Юры, его как бы отстранённости, замкнутости и глубокого ухода в себя, им владела неразрывная интеллектуальная концентрация своих мыслей и размышлений, поэтому из-за пленумовской суеты он как бы выпал и был только с самим собой.

Но я был тепло им встречен, мы немного поговорили, пожали руки друг другу… И вот — последний прощальный привет от него — публикация цикла стихов. Вечная ему Память, Царствие Небесное! Да будет ему земля пухом. Я ходил в церковь, ставил поминальные свечи. И с горечью в душе живу сейчас: жалко маму и жалко Юрия.

Держитесь, Батима. Я разделяю с Вами Ваше большое горе. Молюсь за Юру.

Ваш Геннадий Морозов

* * *

Слушая шелест…

Юрию Кузнецову

Такое бывает в душе состоянье —
Задумчив становишься, тих.
И слушаешь чутко берёз трепетанье,
Идя по тропе среди них.
И воздух вдыхая прохладный, с горчинкой,

Подумаешь: как же он чист!
А тронешь ладонью сырую осинку —
На кепку спланирует лист.
Ты будешь идти по земле еле-еле,
Качая плечами слегка,
Качать будут лапами тёмные ели,
Качаться, блестеть облака.
И слушая шелест и шорохи листьев,
Шуршание жёлтых осок, —
Почувствуешь вдруг, что под ветреной высью,
Как молод ты и… одинок.
Бродя среди этого шороха, шума —
Не будь же угрюмым, мой друг,
Когда среди смутной, рассеянной думы
Мелькнёт что-то светлое вдруг…

1975, Ленинград

Геннадий Морозов

Геннадий Сергеевич Морозов родился 10 сентября 1941 года в Касимове. Окончил Литинститут. Первый сборник стихов «Мещёрский городец» выпустил в 1974 году. Живёт в Санкт-Петербурге.

Сергей Небольсин. Юрий Кузнецов — мыслитель

Среди поэтов — то есть людей, которые образами делают не что иное, как мыслят — Юрий Кузнецов вдвойне поэт и вдвойне мыслитель.

Серебристая трещина мысли — его слова. Они и в пользу мысли вообще, и в пользу мысли тонкой, и в пользу мысли как тревоги. Мысль — и знак невидимо-тонкого разлома, и какой-то целебный припой, залечивающий надтреснутое. Для расколотого или надломленного это и мёртвая, и живая вода.

Сказанное и написанное Кузнецовым даже помимо поэзии — это напряжённая, не знающая покоя мысль. И в поэзии он вдвойне образен — по насыщенности, густоте, бездонности образов. О, глубоко коренная его поэзия, которая корнями и питается от матери сырой земли, и её же скрепляет, да ещё соединяет при этом и недра, и небеса — она в целом именно бездонна.

И он вдвойне мыслитель — не потому, что помимо поэзии мыслит ещё и в статьях или лекциях, а потому что собственно поэтическая мысль его стихов сквозь достоверность житейского, исторического, личного неуклонно, мучительно, и нередко мучая и нас, пробивается к безмерностям и неотменимостям чего-то гораздо большего, чем жизнь и история.

Художественная литература даже и без этого высший вид мышления: постижение чего бы то ни было полнее, точнее и одухотворённее, нежели это дано любой специальной и отдельной науке. У Юрия Кузнецова его мышление образами — это какая-то сверхмысль.

Расположенность к сверхмышлению — драгоценное свойство и всей нашей литературы — не знаю откуда или не решаюсь впасть в словеса, но доставшееся ей и даром, и под расписку о её непременном и должном использовании в порядке обязательства. Не надо обкрадывать эту истину через отсылку к особым и невесёлым, к нашим сугубо русским обстоятельствам. Мол, у нас некие чёрные силы издавна или изначально не давали ходу что свободным наукам, что свободе газетного слова. От этого якобы и взяла наша литература на себя совершенно чуждую искусству слова ношу.

О нет, всеобъяснительность, перед которой меркнут и возможности, и достижения любой отдельной и даже до конца свободной науки, что философии, что социологии, политологии, истории, психологии или футурологии — это принципиальное и

существенное свойство художественного слова, а не случайно, только на время и поневоле и даже во вред делу приобретённое качество.

Так и всесодержательность поэзии Юрия Кузнецова — её природное и существенное качество, она никаким замерам средствами кафедрального литературоведения почти не поддаётся.

В разное время что-то житейское, гражданское и земное бывает схвачено у него по-разному, это да. И обозрение им многогрешных и многострадальных дел земли не исключает совсем служебно-учёных измерений, комментариев, членений и периодизаций. Делят ведь развитие и развёртывание Пушкина на периоды — и подсобно-уместно, и мало что объясняет. Три периода, три этапа. Так и русскую литературу в целом членили — и главное всегда выпадало. По чрезвычайно полезному наблюдению Петра Палиевского (в одном из его интервью журналу «Кубань»), есть три точки в том, что было создано и оглашено Кузнецовым на конец двадцатого века — «Атомная сказка», «Маркитанты» и «Федора». О последнем стихотворении помню, как Кузнецов сам говорил: да, мысль здесь есть, но она в образе — и никакой компьютер её оттуда не извлечёт и не передаст просто словами.

Однако сквозное и стержневое у Кузнецова ни на какие периоды не разложимо. И это война. Есть поэт, у которого он мог взять формулу «вечный бой», но постичь нашу войну как участок или средоточие вечного боя было его собственным, было им самолично предпринятым делом. И вопрос о войне владел им вне того, что можно называть тем или иным этапом творческой биографии.

Биография оставила в его душе брешь. Он говорил, что отсутствие отца он мог восполнить в себе только мучительно мыслящим словом. (И поскольку такая рана была нанесена у нас многим — он и в душах многих эту брешь заполнил; всех не спросишь, но насчёт себя удостоверяю это с определённостью полной.) Однако человек, который хотел вдохновеньем и словом поэта всё связать —

> …два разорванных света:
> тот и этот — замкнуть на себе.

Сказал о войне даже больше.

Как это возможно в мировой литературе после «Илиады», «Одиссеи»? После «Войны и мира»?

Вникнем в стихотворение Юрия Кузнецова «Простота

милосердия», чтобы понять и размах, и груз, и благородство его мысли. Подчёркиваю — со словом о войне выступает сын воина, погибшего в 1944 году от захватчиков.

Это было на прошлой войне,
Или богу приснилось во сне,
Это он среди свиста и воя
На высокой скрижали прочёл:
Не разведчик, а врач перешёл
Через фронт после вечного боя.

Он пошёл по снегам наугад,
И хранил его — белый халат,
Словно свет милосердного царства.
Он явился в чужой лазарет
И сказал: «Я оттуда, где нет
Ни креста, ни бинта, ни лекарства.

Помогите!..» Вскочили враги,
Кроме света не видя ни зги,
Словно призрак на землю вернулся.
«Это русский! Хватайте его!» —
«Все мы кровные мира сего», —
Он промолвил и вдруг улыбнулся.

«Все мы братья, — сказали враги, —
Но расходятся наши круги,
Между нами великая бездна».
Но сложили, что нужно, в суму.
Он кивнул и вернулся во тьму.
Кто он? Имя его неизвестно.

Отправляясь к заклятым врагам,
Он пошёл по небесным кругам
И не знал, что достоин бессмертья.
В этом мире, где битва идей
В ураган превращает людей,
Вот она, простота милосердья!

Ни грана растерянного пацифизма, ни капли гуманистического сиропа. «Такого не было, быть не могло!» — из самых разных уст представим подобный возглас. И не только «чёрные силы» или соглядатаи за искусством могли бы предать поэта за эти его слова растерзанию.

Но и не только реальную правду факта — что окопную, что штабную, которые одинаково непогрешимы в нашем военном опыте — превозмогает сказанное Кузнецовым. Перед нами нечто сверхисторическое и сверхземное, всегда властвовавшее над поэтом и, конечно, необходимое и каждому народу, и каждому человеку.

Разве не знали мы со времён Гомера трагичности распрей между братьями? Разве не об этом говорит, тая под спокойствием скорбь, «Капитанская дочка»? Или «Тихий Дон»? И что можно предъявить существенно нового об Отечественной войне после «Войны и мира» Льва Толстого? (А такого как будто ждали, на его непредъявленность не раз сетовали и нашей литературе чуть ли не ставили это в упрёк.)

Но ожидания, сетования и упрёки последнего рода ложны и тщетны. «Войной и миром» русская литература высказалась о любой нашей Отечественной войне раз и навсегда: «дубина» народной войны, поднятая по нашей земле повсеместно — от деревенской хаты до полка и до высокого штаба, — добавить к Толстому здесь нечего. Однако Мировая война, однако столкновение разных народов до сих пор нигде не воссозданы и нигде не постигнуты. И Гомер, и Шолохов говорят о распре внутри национально единого, не разноязыкого мира. Их, их подход нужен, а не толстовский — но только к безмерно более непостижимому пространству и объёму! Ко всему миру, охваченному войной.

Вопрос о возможном и необходимом для расколотого человечества — не для лживо, воровато и трусливо «примиряющихся» каждое 8-е мая пацифистов, не для общечеловеков с рыльцем в пушку, при их блудливом всепрощении ухитряющихся подсовывать исторический счёт почему-то по-прежнему России да России.

Кто именно из «кровных мира сего» обладает правом ставить этот вопрос? Кто именно из них — прочтите об этом в стихах Кузнецова — достоин бессмертья? Только тому и дано на земле право считывать и оглашать тяжкую и необходимую истину с высоких скрижалей.

Скажите, что Юрий Кузнецов не мыслитель XX века! Цепенея и содрогаясь от его картин, нельзя не признать глубину, отвагу и властительность его сугубо русской и всемирно-обязательной мысли.

Сергей Андреевич Небольсин родился 13 ноября 1940 года в Мурманске. В 1968 году окончил филфак МГУ. Доктор наук. Автор книг

«Прошлое и настоящее» и «Пушкин и европейская традиция».

Священник Владимир Нежданов. Последние встречи

Может быть, это самые последние, наиболее памятные и дорогие моему сердцу воспоминания о Поэте.

Не могу забыть, как однажды, уже будучи священником, я пришёл к Юрию Поликарповичу в редакцию «Нашего современника». В рясе, с крестом, как и подобает священнику. И едва переступив порог, слышу: «Ну что, батюшка, отпоёшь меня?». Голос был бодрый, приветливый. Огорошенный таким началом встречи, я что-то смущённо пробормотал в ответ, но на душу на весь день запала какая-то тяжесть, похожая на смутное предчувствие беды.

Это «приветствие» поэта страшной болью потом отозвалось, когда узнал о его смерти…

И вот уже передо мной открытый гроб, открытая могила… И, как было предсказано поэтом, по его предсмертному благословлению, плачущим сердцем в облачении я совершаю чин литии, три раза крестообразно осеняю его — усопшего — землёю — и мы со всем народом поём ему «Вечную память»…

Он всё знал о своей жизни, и знание это было почти пророческим, таким же, как и знание, и сопереживание многотрудной жизни своего отечества, боль за которое было глубоко-личностным, таким же, как у Достоевского, Шукшина…

Время последних встреч с Юрием Поликарповичем как раз пришлось на период создания поэмы «Сошествие во ад», на самый разгар работы над нею. Ему, видимо, было интересно проверить на мне, как на священнике, — какое впечатление поэма может вообще произвести на церковнослужителей, не противоречит ли канонам Церкви, не нарушает ли их.

Не всё духовенство восприняло его новые поэмы о Христе, и Юрий Поликарпович болезненно это переживал. Ныне покойный, праведной жизни протоиерей отец Димитрий Дудко, говорил, что это неприятие от непонимания, не надо мешать поэту идти своим путём познания Бога.

Иногда бывало так — позвонишь ему, спросишь о времени приезда, а в ответ услышишь — «Приезжай, бороду за пазуху. Жду». Значит, уже есть что-то новое. И вот входишь в насквозь прокуренную комнату редакции, сам поэт курил очень много, признаваясь, что это ему всё-таки мешает писать, курили и многие приходящие, отчего дым стоял коромыслом. На редакционном столе порядок, ничего лишнего, самые

необходимые рукописи аккуратно сложены, а остальные сложены в шкаф. Юрий Поликарпович усаживает меня за соседний стол, значит, сегодня нет сотрудника редакции, занимается с посетителями — их немного, отвечает на звонки. Я терпеливо дожидаюсь, наблюдая за неспешной его работой, когда же наконец речь снова зайдёт о поэме. И вот в кабинете никого нет. Кузнецов начинает читать новые, только что написанные строки. И я, поражённый в одном месте мощью поэтического образа, не удерживаюсь от восклицания: «Это гениально!» Юрий Поликарпович и бровью не поводит, но, с едва уловимой улыбкой, подняв указательный палец, приглушённо-таинственно молвит: «На уровне!» А таким уровнем для него была вся мировая поэзия, к которой он частенько предъявлял свой гамбургский счёт.

Однажды я дерзнул его поправить: «А где же у Вас, Юрий Поликарпович, в поэме пророк Иоанн Креститель?» — увы, великий святой не был помянут в ней в сонме других святых. «Как нет?!» — Кузнецов даже как-то слегка опешил, удивился и задумался. И за считанные дни он восполняет этот пробел. В другой раз показал ему в Житиях святых отрывок, где говорится о подвиге святого великомученика Меркурия, римского воина, пострадавшего за веру Христову. Этот святой на поле боя поразил копьём императора Юлиана Отступника, гонителя христиан. Юрия Поликарповича поразило здесь то, что этот святой, изображённый на иконе, исчезает из неё на время боя, совершает подвиг и возвращается в икону, но уже с окровавленным копьём. Чистая поэзия и в кузнецовском ключе! И в кратчайшие сроки поэма уже дополнена новыми строками.

Однажды Юрий Поликарпович вспомнил свою бабушку, как она любила собирать своих подруг у себя дома, читать Псалтырь, как в детстве она часто водила его с собой в храм на Святое Причастие. В этом месте его рассказа я говорил ему с горячностью: «Вот бы и вам теперь поисповедоваться, причаститься!». Он же с мягкой нетерпеливостью перебивал: «Ладно, ладно» — дескать, потом или в другой раз поговорим об этом… Но свершилось главное — и это поражает — его поворот, всей его жизни и всего его творчества ко Христу — стремительный и бесповоротный. Так не ложно слово Божье — «Не вы Меня избрали, а я Вас». И поэтому последняя поэма только внешне и отдаленно напоминает «Ад» Данте, у которого в аду оказались его личные, в основном политические враги. У Кузнецова же — это прежде всего именно любовь к живому Христу, вселенский плач по безвозвратно погибшей человеческой душе — без Бога. И потому поэма полна трагизма — она и о

нашем времени — всё ещё безбожном и страшном. Душа поэта была обращена к небу — он и был «гражданином неба». Когда читаешь его «Красный сад», так и кажется, что ощущаешь дыхание и благоухание Райского сада. Может быть, поэма и есть его прообраз…

В последние годы в творчестве поэта произошёл поэтический взрыв огромной силы, его вселенная расширилась… Дерзновение поэта было великое, как и помощь от Бога — великая. Помню последнюю нашу встречу — за неделю до смерти поэта. Мы вышли из редакции «Нашего современника», был осенний вечер. Только что Юрий Кузнецов читал мне недоконченную поэму «Рай». И, прощаясь, вдруг остановился и спросил: «Знаешь, что последует за этой поэмой?» И, не дожидаясь ответа, выдохнул мне в лицо: «Страшный Суд!» Это были его последние слова в ту последнюю нашу встречу… Как никогда он чувствовал в себе эту необыкновенную силу — силу воплотить любой замысел в поэтическом слове. Бывало, как Илья Муромец, он приговаривал: «Чувствую в себе силу великую!»

Владимир Васильевич Нежданов родился 13 марта 1950 года в подмосковной деревне Кривцово. В 1971 году окончил Московский институт культуры. Первый сборник стихов «До первого снега» выпустил в 1984 году.

Георгий Свиридов. Я тоже за связь слова со звуком!

Письма композитора поэту

Москва, 24 июля 1983 г.

Уважаемый Юрий Поликарпович, мне доставило большую радость получение в подарок книги Ваших стихотворений. Поэзию Вашу я знаю, и она мне по душе!

Кроме стихов «Русского узла» и того, что есть в хрестоматии В. Кожинова, мне очень нравятся и Ваши ранние стихи (не помню сейчас, где я их читал, в какой книге или журнале), которые отсутствуют в последних двух изданиях. Особенно стихотворения о военной службе, удивительные своей свежестью видения «военного» мира.

Стихотворение, посвящённое В. К., поразило меня глубиной и фантастической картинностью. Не случайно ведь два слова из него образовали многозначное название книги. Думаю, что я верно угадываю адресат Вашего посвящения, как и то обстоятельство, что присылкой мне Вашей книги, я м. б. косвенно обязан ему.

Хочу пожелать Вам здоровья и крепости духа, столь необходимой Русскому художнику «ныне и присно».

Хочу надеяться, что мы обязательно встретимся с Вами.

Г. Свиридов

Уважаемый Юрий Поликарпович!

Мне доставило большую радость знакомство с Вами. Я — Ваш давний почитатель, мне очень близко Ваше Слово, оно часто — как бы и моё. Т. е. в том смысле, что имея дар, я бы говорил именно так и именно то, что говорите Вы подчас. Такое бывает исключительно редко! Я пользуюсь случаем поздравить Вас с наступившим Новым годом, пожелать Вам всего (что возможно!)

хорошего. Мне было бы приятно увидеть Вас у себя дома, как только схлынут заботы, которые теперь лежат на мне.

Сердечный Вам привет!

Г. Свиридов

2 янв. 1986 г.

Дорогой Юрий Поликарпович!

Спасибо за книгу, за конструктивную (!) надпись (я тоже за связь слова со звуком!). Живу я теперь трудно, устаю быстро, много неприятного в жизни, такая полоса! Прошу Вас об одном деле: не пришлёте ли мне 2 экз. книги «Ни рано ни поздно». Я должен их подарить хорошим людям. 5 экз., купленные мною, все раздарены. Остался у меня один — с Вашим автографом. Очень хочу Вас повидать, притом в обществе Вадима Валерьяновича. Передайте ему привет и любовь мою. Крепко жму Вашу руку, желаю бодрости духа.

Г. Свиридов

Дорогой Юрий Поликарпович!

Письмо Ваше получил. К большому моему сожалению, не сумею принять участие в Вашем вечере. В этом году я перенёс тяжёлое заболевание и когда возвращусь к общественной жизни — не знаю. Сейчас я постоянно живу вне Москвы, совсем там пока не бываю. Жизнь веду совсем одинокую, по совету медицины. Хочу Вам передать моё непреходящее восхищение Вашим стихотворчеством. Желаю большого успеха Вашему вечеру.

Г. Свиридов

2 дек. 1986 г.

Ново-Дарьино

Дорогой Юрий Поликарпович!

Поздравляю Вас с Новым, Высокознаменательным Годом, шлю самые добрые пожелания. Читал в «Лит. обозр.» две статьи о Вас. Сергей Куняев написал «с сердцем»! Часто Вас вспоминаем, читаем стихи. Я живу трудно, очень уединённо, стараюсь работать. Сердечный, братский привет Вам.

Г. Свиридов

Дорогой и глубокоуважаемый Юрий Поликарпович!

Перед Новым годом получил от Вас новую книгу. Сердечно благодарю за этот драгоценный подарок. Сокровенный смысл Ваших стихов необычайно близок мне, поражает глубиной чувств и совершенно удивительной поэтической фантазией. Это наиболее животрепещущее русское слово наших дней. Счастлив, что Вы живёте и творите рядом.

Видел недавно Ваше лицо на газетном снимке. В глазах, где всегда таилась и проступала казацкая мощь, явственно обозначилось Страдание.

Я много болею (глазами) и живу трудно.

Примите сердечный привет и братское рукопожатие.

Г. Свиридов

14 января 1990 года, г. Москва

Багаудин Узунаев (Казиев). Портрет на фоне Дагестана

На моей памяти в Дагестане побывало много русских поэтов, но лишь появление здесь Юрия Кузнецова было воспринято дагестанцами, вернее, теми из них, которые вообще следят за такого рода событиями, анализируют их, дают им словесные характеристики, как прибытие русского поэта на Кавказ в том смысле, который такие визиты получили ещё со времен Пушкина и Лермонтова. Именно такой исторический контекст, именно эти имена вызывала в памяти долговязая и в некотором смысле нескладная фигура Юрия Поликарповича, которую мне посчастливилось наблюдать в течение нескольких дней в Дагестане. То есть местные (а возможно и все иные) любители словесности смотрели на него с ожиданиями творческих результатов, с предвкушением поэтических плодов этого приезда и не просто плодов, а плодов первоклассных, таких же, какими в своё время наградили их великие Пушкин и Лермонтов.

* * *

Юрий Кузнецов несколько выделялся в нашей группе (я говорю в нашей не только как собкор «ЛР», но и как человек, духовно больше связанный с Москвой, чем с Дагестаном) и не только своей нескладной фигурой. Весь его облик: высокомерно поджатый рот, обращённый внутрь взгляд зеленоватых глаз, неспешная — как бы нехотя — походка… — ничто не обнаруживало, что в нём происходит какой-то творческий процесс, идёт незримая работа мысли, зреет лирическая эмоция… Творческая лаборатория поэта Юрия Кузнецова казалась безжизненной и мёртвой, запертой снаружи на огромный амбарный замок с поджатыми губами. Зато вовсю резвился его ученик Игорь Тюленев, который никак не мог справиться с возбуждением, охватившим его, похоже, ещё в самолёте. Казалось, единственный объект, способный вызвать хоть какую-то реакцию Юрия Поликарповича — это был ученик, всё комментировавший и обо всем судивший в слегка юмористическом — от возбуждения — тоне.

* * *

Поликарпыч (как назвал его Игорь) время от времени делал ему замечания, призывая быть более серьёзным и солидным. Со стороны оба они напоминали привычную пару московских дворов: строгий и невозмутимый хозяин и пылкий, любопытный дог, готовый обследовать всё, что ни попадётся на его пути. Надеюсь, Игорь не обидится на меня за такое сравнение, тем более что его огромная лохматая шевелюра и чисто внешне приводила на ум именно этот образ…

Поликарпыч внимательно наблюдал за всеми действиями и словами своего ученика, но по выражению лица никак нельзя было определить, одобряет ли их мастер или наоборот. И лишь, когда раздавался отрывистый окрик: «Ну хватит, замолчи!», — становилось ясно: Поликарпыч сердится… Приведу ради иллюстрации один эпизод. При осмотре Дербентской крепости — знаменитой Нарын-кала Игорь, немного опередив нас, остановился возле купола, который, как пояснил гид, принадлежал расположенному под землёй помещению гарема. Игорь стал развивать это совпадение, уверяя присутствующих, что его сюда, на это место, попросту «потянуло»…

Однако Поликарпыч заставил замолчать его, не дав развить богатую гаремную тему: похоже, женский вопрос был не из тех, который он мог позволить трактовать в юмористическом тоне. Я невольно вспомнил знакомые мне ещё со студенческих лет строки Кузнецова:

— Родимый, на ком ты женился?
— А чёрт его знает на ком!

Человек, написавший такие стихи о жене, должен относиться к женскому вопросу очень серьёзно. Тут мы единомышленники. Недавно я стал объектом нападок прекрасного пола, написав статью «Дагестанки: одевание как способ раздевания», где возмущался тем, как откровенно выставляют наши землячки свои прелести — то ли через обтягивающие блузки и брючки, то ли через большущие — до копчика — разрезы… Мои оппонентки уверяли, что делают это вовсе не потому, что они испорчены или хотят заманить мужчин, а чтобы дать им возможность полюбоваться возвышенной красотой женского тела. А скромность? — возражал я. Ведь такая форма одежды совсем не оставляет места для проявления скромности, которая пока ещё не перестала быть добродетелью…

Позже, когда мы втроём, — Поликарпыч, Игорь и я, — сидя в машине, обсуждали эту тему, я понял, что наши взгляды на сей предмет совпадают, вернее, даже мои собеседники превосходили

меня, придавая ему некую апокалиптическую окраску. Слушая спор, кто из них двоих внёс больший вклад в дело разоблачения греховной, разрушительной сущности женщины, я вспомнил строки из «Слова Даниила Заточника»: «… злые жены ни бога ся боят, ни людей ся стыдят…».

Поговорить основательно с Юрием Кузнецовым мне не удалось. Во-первых, мне мешал пиетет, который я испытывал к нему, как к своему давнему, ещё с литинститутских времён, кумиру. В ту пору — это было начало 80-х — он был только восходящей звездой. Владимир Павлович Смирнов преподаватель Литинститута, известный своим чутьём на всё подлинно талантливое и перспективное в литературе, сразу же обратил наше внимание на поэзию Юрия Кузнецова, делая каждую его подборку, не говоря уже о книгах, предметом обсуждения и споров. А споров возникало много. Например, я помню, какую бурную реакцию вызвала всего лишь одна строчка Кузнецова:

Я в поколенье друга не нашёл…

Признаться, мне и тогда было не совсем понятно, что может возмутить в этой мысли. Совершенно нормальная мысль для русского поэта, продолжателя традиций Пушкина и Лермонтова. Каждый из них по-своему тоже высказал такую же мысль. «Пора, мой друг, пора…» — обращённое к самому себе, разве не показывает одиночество поэта среди людей, среди поколения? И наступает момент, когда остаётся только из мнимой пустыни уйти в настоящую, «в обитель дальнюю трудов и чистых нег». А слова Лермонтова «Выхожу один я на дорогу…» — разве не о том же? Один… на дорогу… Одиночество — путь поэта… У подлинного поэта не бывает друзей, друзей не в смысле сочувствующих, дружески относящихся к нему людей, а в смысле людей, способных понять всю глубину его переживаний, его отношения и понимания жизни. Поэтому жалоба поэта, высказанная, может быть, в несколько экзальтированном тоне, не казалась мне ни тогда, ни тем более теперь чем-то вызывающим или оскорбительным…

Из достопримечательностей Дербента хочу вспомнить ещё одну. Джума-мечеть. Слово «джума» означает «пятница», то есть буквально это означает Пятничная мечеть, по дню, в который происходит всеобщая молитва. Считается, что это самая большая мечеть на Кавказе, построенная ещё в VIII веке. Во дворе мечети растут четыре чинары, которым… по 700 лет! Мы восхищённо смотрели на толстенные, в три обхвата, стволы и, казалось, наполнялись воздухом былого. Именно в этот момент произошёл,

может быть, мелкий, но очень любопытный в контексте этого материала эпизод. Когда мы вошли во двор мечети, хозяева стали наперебой сообщать нам, что этим деревьям по семьсот лет. Но из-за специфического произношения слова «по семьсот» мы расслышали как одно слова «восемьсот» и уже повторяли между собой, что чинарам по восемьсот лет… Действительно, перед лицом стольких веков — что значит какое-то одно столетие?! Подумаешь, одной сотней лет больше, одной меньше… Велика ли разница?

И всё же Юрий Поликарпович однажды разговорился. Случилось это неспроста. Похоже, я задел его за живое. Дело было так. Между нами часто заходила речь о кумыках, об их истории, литературе, проблемах… А так как кумыки тюрки, то разговор этот расширялся до рамок русско-тюркских связей и отношений. Я осторожно предположил, что если эти связи оставили след в русской истории, языке, психике, культуре русских в целом, то могли ли они пройти бесследно для литературы?

Я высказался образно. Есть книга Н. А. Баскакова «Русские фамилии тюркского происхождения». А нельзя так сформулировать: русские поэты, писатели тюркского происхождения? Ведь таковых в русской литературе немало. Это и сам родоначальник и патриарх Державин, и Карамзин, и Тургенев, и Салтыков, и Бунин, и Куприн и многие другие.

В чём-то же выразилось их тюркскость непосредственно в тексте, в его построении, в самом способе их мышления и чувствования… Почему бы не исследовать этот вопрос. Юрий Поликарпович решительно стал возражать против этого, увидев в моих словах покушение на целостность русской литературы. Отдалённый намёк на некие, по его выражению, «татарские» проявления он согласился признать лишь в творчестве Куприна, определив их как несколько более повышенный темперамент. Что же касается русских писателей с тюркскими фамилиями, то они, по его мнению, уже полностью переняли русскую психологию и в них «татарским духом» уже давным-давно и не пахнет. Тем не менее, после моих объяснений, что меня это интересует вовсе не с политической точки зрения, а с чисто исследовательской — он согласился, что, может быть, заняться этим стоит, но добавил, что поколебать устои русской литературы мне всё равно не удастся… Особенно любопытно мне было услышать от него, что, оказывается, никому из нерусских по происхождению поэтов (прозаикам он ещё сделал какую-то скидку) писать по-русски в точном смысле этого слова никогда не удастся, ибо, подчеркнул Юрий Поликарпович, это даётся с молоком матери… Но ведь

именно об этом я говорю: тюркская или еврейская психология нерусского автора так или иначе находит своё выражение в русском тексте, в русских словах, в их строе, сочетании, особом подборе…

Юрий Поликарпович сделал признание, что русские как бы делятся на северных — лесных и южных — степных, отнеся себя к последним, так как родился он Ставрополье. Но я понимаю и северных тоже, сказал он, подразумевая под словом «понимаю» — испытываю родство, душевную близость… Я заметил ему на это, что тогда он должен понимать и тюркскую душу, которая также формировалась под влиянием степных просторов, не зря же русские называли их иначе «степняками».

Что ж, это его позиция, позиция великого поэта и над нею тоже стоит поразмыслить…

Но Юрий Кузнецов не только молчал и время от времени одёргивал Игоря Тюленева. Он и читал стихи. Два раза. Первый раз три стихотворения, а второй раз одно, третье из тех трёх, что читал он в первый раз, так как молва о нём уже успела распространиться по республике, и слушатели попросили его прочитать именно это стихотворение. Оно о Сталине. О том, как он отказывается утверждать на должность главы мира Черчилля и Рузвельта. Эти двенадцать строк вызывали всякий раз просто бурю восторга, что, кстати, весьма знаменательно. Дагестанцы уважают «крутых» мужиков, каковым Сталин, безусловно, в их глазах является, мужиков, способных разобраться с оппонентами не парламентскими методами, а по-свойски, по-мужски…

Я не знаю, какие впечатления унёс в своей душе русский поэт Юрий Кузнецов, побывав в Дагестане, — человек он, как я уже говорил, замкнутый, нелюдимый. Наверное, когда-нибудь мы узнаем об этом. Может быть, появятся стихи, если же не появятся, то это тоже будет своеобразным впечатлением…

Но как бы там ни было, а я, как и все, кто встречался, общался с Юрием Кузнецовым, был счастлив видеть его здесь, в Дагестане. Прощаясь, мы сердечно обнялись. По крайней мере я. Последнее, что я сказал ему было: «Спасибо, что приехали…». Юрий Поликарпович ничего не сказал, только посмотрел поверх меня на обступившее нас горы и качнул головой с неопределённым выражением лица.

Вскоре самолёт с нашими гостями взмыл в небо и стал точкой. Нам, оставшимся внизу, сделалось вдруг очень грустно. Точка — это всегда грустно.

г. Махачкала

Этот материал был написан и впервые опубликован в

газете «Литературная Россия» при жизни Юрия Поликарповича Кузнецова.

Багаудин Гаджиевич Узунаев (Казиев) родился 11 ноября 1957 года в селении Параул Дагестанской АССР. Окончил Литинститут. Начинал как поэт. Прославился в Дагестане острыми судебными очерками.

Евгений Чеканов. Мы жили во тьме при мерцающих звёздах

Как соотносится увиденное, услышанное и прочувствованное — с запечатлённым на бумаге? не бесплодны ли наши попытки передать с помощью чёрных иероглифов то, что живёт в памяти и сердце? Наиболее глубокие люди отвечают на этот вопрос однозначно: да, бесплодны. «Не поймать на лету ветра буйного, — сокрушённо вздыхает русская поэзия устами Алексея Толстого, — тень от облака летучего не прибить гвоздём ко сырой земле».

И всё-таки мы вновь и вновь пытаемся поймать ветер и приколотить тень. Что это с нами? уж не потому ли мы столь упорны в своих бессильных попытках, что не владеем никаким другим ремеслом, кроме сочинения текстов? Но если любой текст изначально обречён оказаться в лучшем случае бледной копией жизни — тогда зачем писать? не лучше ли просто жить, коль уж нам выпала эта доля? Жить, утопая в живой воде каждого мгновения, не тратя ни сил, ни времени на бесполезное сочинительство…

Писание мемуаров о великих современниках, кажется, несколько оправдывает нас; мы прикрываемся благородством задачи — сохранить для потомков черты гения, поведать о том, что происходило с ним, пока он ещё не опочил в силе и славе, записать его высказывания. Но и здесь нас подстерегает та же ловушка: гений есть такое же явление природы, как ветер и тень от облака, так же неуловим, неприбиваем, невоплощаем в чужом слове — и Эккерман, предваряя свои «Разговоры с Гёте» предисловием, не зря пишет в нём, что кажется сам себе ребёнком, пытающимся удержать в ладонях весенний ливень, в то время как живительная влага протекает у него меж пальцев.

Я, современник и собеседник недавно опочившего Юрия Кузнецова, нахожусь в той же двусмысленной ситуации. С одной стороны, двадцать лет близкого знакомства с великим поэтом прямо-таки обязывают меня оставить потомству воспоминания о нём; с другой — я отчётливо сознаю, что образ, запечатлённый в моих записках, обречён остаться лишь бледной тенью русского гения… да куда там!.. всего лишь штрихом этой тени!

И всё-таки даже с тенью дело обстоит не так-то просто. Словно наяву, вижу я выплывающее из тумана времени лицо моего Учителя; его крупные губы кривятся в вечной пренебрежительной ухмылке и произносят что-то вроде:

— Ты наивен… Что такое «тень»? Тень тоже материальна. Я даже попросил вырыть в ней мою могилу!.. помнишь?

Я киваю в ответ: да, я помню, Юрий Поликарпович… И память тут же уносит меня на четверть века назад, во вторую половину прошлого столетия. Вижу себя двадцатидвухлетним, с буйной шевелюрой, студентом-третьекурсником очного отделения истфака Ярославского университета, обожателем солженицынского «Ивана Денисовича», читателем каждой новой вещи Шукшина, Белова, Быкова, Трифонова. На дворе 1977 год, у кормила имперской власти стоит Леонид Брежнев, о котором народ рассказывает массу анекдотов; в Ярославле голодновато, в магазинах лежат лишь консервы «Завтрак туриста», но столица империи рядом — и я раз в месяц привожу оттуда на электричке («длинная, зелёная, пахнет колбасой») полный рюкзак московских продуктов. Деньги на это дают родители, полгода тому назад переехавшие из райцентра в Ярославль и купившие в Тверицах, на самом берегу Волги, половину деревянного дома с яблоневым садом; я живу в одной комнате с отцом и матерью, и уже поэтому прихожу сюда только ночевать. Да и дел у меня — выше головы: каждым вечером я встречаюсь с друзьями, пью с ними дешёвые вина и болтаю о литературе и искусстве, иногда попадая после этого в отделение милиции или вытрезвитель; кроме того, каждый день грызу гранит науки, посещаю лекции в «альма матер», иногда конспектируя их, но чаще читая под монотонный голос преподавателя свежий номер «Нового мира» или «Дружбы народов». А ночью, облачившись в фуфайку и валенки, пишу в холодной кладовке рассказы и дорабатываю свою первую повесть (её, вроде бы, хотят опубликовать в местном коллективном сборнике).

У меня есть девушка, которая через год станет моей женой, мы встречаемся в «гостевом режиме»; в перерывах между альковными ристалищами я пою ей песни Высоцкого и Окуджавы, хрипя под первого и подвывая под второго, а потом декламирую свои собственные стихи, полные недоверия и неуважения по отношению к власти. Девушка, дочь колхозного тракториста и доярки, слегка подтрунивает надо мной, но словам моим верит… да и как не верить? ложь и глупость власти видна каждому здравомыслящему человеку, вся общественная атмосфера пропитана скрытой критикой режима. Естественно, Контора Глубокого Бурения не дремлет, всякий человек, мыслящий критически, взят ею на учёт; а к таким, как я, позволяющим себе без санкции парткома и комитета комсомола вывешивать в стенах факультета поэтические стенгазеты, она даже время от времени подсылает разбитных молодцев, студентов юрфака, «поболтать за

жизнь, почитать новые стихи» — и я, святая простота, болтаю, читаю…

Именно тогда я и натыкаюсь в одном из номеров «Литературного обозрения» на цитату из дотоле неизвестного мне поэта Юрия Кузнецова, которая вспыхивает в моём сердце, озаряя неведомые прежде глубины. Это строки из стихотворения о стоящем на смолистом холме могучем дубе, в котором вдруг, откуда ни возьмись, поселилась нечистая сила:

Изнутри он обглодан и пуст,
Но корнями долину сжимает.
И трепещет от ужаса куст
И соседство своё проклинает.

«Боже мой! — восклицаю я, — так вот как, оказывается, можно „обо всём этом“ сказать! Но кто это такой — Юрий Кузнецов? Где найти его стихи?»

В областной библиотеке книг Кузнецова не оказывается; лишь летом следующего, 1978 года я вижу в продаже только что вышедший его сборник, — белый, с ласточками на обложке, — и, мгновенно проглотив его, на всю жизнь влюбляюсь и в эти стихи, и в их автора. Высоцкий и Окуджава оттесняются на периферию моего сознания, я брежу новыми образами, я пишу свои вирши с новой интонацией и ловлю в прессе каждое упоминание имени человека, обладающего волшебною властью над русским словом. Вечерами я щиплю свою шестиструнку и подбираю мелодии к стихам из книжки с ласточками на обложке — эти стихи певучи, полны загадок, почти всегда трагичны, — но прекрасны.

Этим же летом мне удаётся узреть своего кумира живьём — он приезжает на ежегодный литературный праздник в Карабиху, бывшую усадьбу Некрасова под Ярославлем. Стоя в шумной толпе своих земляков, любителей «поглядеть на писателей», я напряжённо вглядываюсь в лица приехавших литераторов, чинно сидящих на дощатом возвышенном помосте, под лёгким навесом, и ожидающих своей очереди для выступления с трибуны… да не врёт ли областная пресса? Приехал ли он? Наконец, я нахожу глазами человека, отдалённо похожего на того, что изображён на фотографии в книге с ласточками на обложке… но он ли это? Тот, из книжки, вроде бы не такой крупный… Однако, больше никого, похожего на «Юрия Кузнецова», на помосте нет. Значит, это он. Так вот он какой!

Мужчина в светлой рубашке сидит, глубоко задумавшись. Кажется, он совершенно не участвует в том, что происходит вокруг, не слышит ни гремящих из микрофона на всю поляну

стихов его собратьев по перу, ни плеска ответных аплодисментов… уж не работает ли он на публику, не притворяется ли этаким отшельником, постоянно погружённым в свои «мысли о вечном»? Проходят полчаса, час, а он сидит всё в той же отрешённой позе… но вот над поэтической поляной нависает невесть откуда взявшаяся тучка и из неё мгновенно сыплются крупные холодные капли.

Народ на поляне раскрывает зонты и не уходит; писатели тоже продолжают выступать — их под навесом не мочит. Но в том-то и дело, что человек в светлой рубашке сидит не прямо под навесом, а сильно выдвинувшись вперёд. Дождь льёт уже по-хорошему, а мой кумир сидит всё в той же позе… проходят минута, две — и тут кто-то из-под навеса, сжалившись, протягивает ему его же пиджак.

Это надо видеть!.. сыграть это невозможно! Человек в светлой рубашке недоумённо смотрит на пиджак, на того, кто его протягивает, озирается, бросает взгляд на небо — и только тут до него доходит, что сверху хлещет вода. Втянув голову в плечи и явно чертыхаясь, он перебирается под навес… и эта сцена производит на меня едва ли не самое сильное впечатление от поэтического праздника. Даже последующее чтение Кузнецовым своих стихов (он читает «Знамя с Куликова») не оставляет в моей душе такого восторга, какой производит «сцена с дождём». Так вот как должен вести себя истинный поэт!.. надо уходить в себя!.. не замечать ничего вокруг, кроме своих поэтических фантазий!..

Дождь и праздник заканчиваются; писатели один за другим уходят с помоста, сразу же окружаемые тесными кружками поклонников. Когда Кузнецов проходит мимо меня, я делаю несколько снимков старенькой «Сменой»… увы, этим снимкам не суждено стать фотографиями, проявленная плёнка будет впоследствии утеряна… где? когда? Не помню я и того, что происходило со мной дальше… подходил ли я к нему? пытался ли познакомиться? Помню, что с ним говорила молодая женщина, журналистка, что он отвечал на её вопросы… впоследствии выяснится, что это была Надежда Кускова, сотрудница редакции той самой областной молодёжной газеты «Юность», которую мне через пять лет предстоит возглавить. Выяснится также, что за это интервью (абсолютно, кстати, безобидное) Надежда получит от начальства некоторый нагоняй: как смеет какой-то Кузнецов говорить, что поэзия Тютчева оказала на него гораздо большее влияние, нежели поэзия Некрасова? Да ещё говорить это на некрасовском празднике! И как смеет молодёжная газета такие заявления печатать!

На меня, однако, и этот факт производит прямо

противоположное впечатление: я давно с восторгом отношусь к любому, кто, по выражению моего отца, «блистает поперёк»… и ещё сильнее влюбляюсь в человека, явно наплевательски относящегося и к капризам погоды, и к принятым в обществе глупым условностям.

Оказывается, Кузнецов давно известен; вскоре я нахожу в книжном магазине стенографический отчёт четвёртого съезда писателей РСФСР трёхлетней давности, с речью Юрия Поликарповича о современном состоянии поэзии — и эта речь переворачивает мои представления о поэтическом творчестве. Я начинаю задумываться о соотношении «быта» и «бытия», открываю для себя Тряпкина и Рубцова, меняю своё отношение к Шкляревскому (прежде восторженное). Критические стрелы, понёсшиеся в Кузнецова на том же съезде, заставляют меня понять, что «там, наверху», в писательской среде идёт страшная, не на жизнь, а на смерть, война… но кто с кем воюет? о чём вообще идёт речь?

Жизнь тем временем идёт своим чередом: я женюсь, через год рождается дочь, я заканчиваю вуз и начинаю работать корреспондентом молодёжной газеты. Повесть опубликована, в местных газетах проскакивают мои стихи, в родных краях у меня появляется пусть крохотное, но литературное имя. Естественно, провинциальная известность меня не устраивает; с пачкой стихов под мышкой я еду в Москву, обхожу редакции «толстых» имперских журналов. В журнале «Юность» до разговора со мной милостиво снисходит маленький чернявый человечек со щёгольскими усиками, сотрудник отдела поэзии Виктор Коркия. Он проглядывает мои стихи, играя губами, потом выбирает одно стихотворение, читает его. Как сейчас помню, это было стихотворение «Иней».

Нет, не вернулась весна —
Это лишь яблоня в инее.
Не пробудилось от сна
Колкое дерево зимнее.
Снова почудилась мне
Ты лепестки распускающей…
Снова кристалл прозвенел —
Иней! Лишь иней сверкающий!

Сотрудник отдела поэзии морщит губы, смотрит в сторону… потом, по-птичьи наклонив голову и понизив голос, говорит:

— Э-э… гм… речь идёт о женщине?

Я утвердительно киваю, внутренне удивляясь недотёпистости

собеседника: ведь это же и так ясно, из самого стиха. Но Коркия хмурит брови:

— Ну… э-э… тогда так и надо было написать… И вообще… сейчас так не пишут…

— А как же Юрий Кузнецов? Он вроде пишет…

Мой собеседник надолго умолкает, глядит в окно, затягивается сигаретой. Через пару томительных минут он, наконец, нехотя изрекает:

— Да… дорогу он проторил широкую…

Стихи мои Коркия всё-таки забирает, обещает показать их заведующему отделом Натану Злотникову… какая-то надежда на публикацию во всесоюзном журнале у меня остаётся, пусть и очень небольшая. Я тогда ещё не понимаю, куда я попал и кто беседует со мной, мне пока ни о чём не говорят имя и фамилия заведующего отделом, я по-детски верю в то, что главным критерием отбора произведений в этом журнале, как и в других, является только талант автора. Приехав домой, я разыскиваю в подшивке журнала «Юность» стихи самого Виктора Коркии, нахожу приличную по объёму подборку и с удивлением читаю беспомощные вирши:

Братские могилы,
Истины без слёз.
Значит, были силы
Лечь в ногах берёз.

Правда беспощадней
Вздохов площадей
И мундир парадный
Не висит на ней.

Как это «правда» может быть «беспощадней», чем «вздохи площадей»? Как соотносится с ней «мундир парадный», как он может «висеть на правде»? Что это за галиматья такая псевдопатриотическая? Да умеет ли этот Коркия вообще писать по-русски? читал ли он Пушкина? — думаю я потрясённо. Не-ет, в «Юность» эту я больше не ходок… Но Кузнецова всё-таки и там признают! А что, если послать стихи ему самому?

Набравшись наглости, я разыскиваю домашний адрес своего кумира и посылаю ему гору своих виршей, написанных «под Кузнецова». Адресат молчит… проходят месяц, два, три… полгода!.. и вот в апреле 1980-го, когда я уже бью подошвами армейских сапог бетонный плац «учебки» под Ленинградом, моя жена присылает мне письмо с вложенным в него ответом Юрия

Поликарповича.

«**Дорогой Евгений!**

Давно Вам собирался написать, но как-то не получалось. Вы талантливы, для меня это ясно. Но должен сразу предупредить, что перед Вами стоит, возможно, непосильная задача: вырваться из плена чужой поэтической системы. Почти всё, что вы прислали, мог бы написать и я, кроме стихотворения „Эпизод“.

Вы обживаете чужое пространство. Это хорошо на первых порах.

Пройдёмся по некоторым стихам.

1. „Эпизод“ — наиболее оригинальное. Новый взгляд Вашего поколения на мир.

Но два замечания: в строке „Пыльный колос бережно сорвав“ не годится „бережно“. Отдавая эти стихи в „День поэзии“ за нынешний год (не знаю, что получится), я заменил это слово на „наугад“. Далее. Плоха строка „Но шум мотора заглушает звук“. Что за звук, неясно. Заменена на следующее: „Во ржи раздался посторонний звук“.

Не обессудьте за правку. Она предлагательная, рабочая.

2. „Солдат“. Много лишнего, лучше сократить и начать со строки „Не их ли очи в спину нам глядят“. Название при этом необходимо изменить, примерно: „Погибшим солдатам“, что ли. В строке „И мы чутьём каким-то понимаем“ — плохо „каким-то“, нужен эпитет.

3. „Городской сюжет“ — расхожий размер, но тут уж ничего не поделаешь.

4. „Удар“ — глагол „пульнули“ — плох, исправьте на хотя бы „вломили“. В строке „Но сжалась сумрачно душа“ плохо „сумрачно“, не нагоняйте излишнего мрака.

А вообще стихотворение типично для Ю. Кузнецова, на что Вам сразу укажут.

Общие замечания по мелочам.

„Легенда об Угличе“ неумело писана. Пластична и зрима одна строфа:

Гасли звёзды в небе тёмном,
И над головами
Пролетал петух огромный,
Хлопая крылами.

„Продотрядникам 1918 года“ лично меня ужаснула своей политической незрелостью. Что Вы знаете о роли Троцкого в этом деле? Вы просто бессмысленно повторили сведения из школьного учебника. Но поэт должен кое-что знать и дальше учебников.

„Лес“ — вариация моего „Двуединства“.

„Выпад“ — интересны две последние строки.

„Дом“ — под Кузнецова.

„Границы слова“ — хороша строчка по парадоксальности:

Как залежалое яйцо,
Оно засижено веками.

„Взгляд после дождя“ — это под Бунина.

„Жизнь в микрорайоне“ — интересны две первые строфы.

„Связь“ — это не Ваше, а чужое.

„Бегущие мысли“ — интересна первая строфа.

„Поломка“ — любопытны две первые строчки. В них зерно Вашего замысла, но замысел решён в расхожем, рассудочном плане научной фантастики. Бегите от этого „научного“ чтива, как от чумы, а не то духовно одичаете.

„Притча об отроке“ — замысел интересен, решение плохое. Подражательное стихотворение.

Об остальном почти не стоит говорить.

Пишите, присылайте новые стихи. Подавайте в Литинститут. Вам нужна литературная среда.

Приятно было с Вами познакомиться.

На всякий случай, мой телефон: 281-00-86.

Ваш Ю. Кузнецов.

1. IV.80».

Так, значит, я талантлив? Значит, всё, что я написал за последние год-полтора — не блажь и не глупость, и я стою на верном пути? Значит, «так» — пишут?

Это письмо на долгие годы становится для меня точкой отсчёта, незыблемым символом веры. Страхи мои рассеиваются, как утренний туман, я перестаю сомневаться в своей творческой состоятельности. Если сам Кузнецов пишет: «Вы талантливы, для меня это ясно», чего же более желать? Нужно только работать!

Но взяться за перо всерьёз мне удаётся только через полтора

года, после увольнения в запас. «Служба в Советской Армии» производит на меня шоковое впечатление: с таким бардаком, таким циничным унижением человеческого достоинства я не встречусь больше нигде и никогда. Дедовщина, казнокрадство, ежедневный идиотизм армейских буден заставляют меня сжаться в комок — и, сжав зубы, выживать… тут становится уже не до стихов. Из Заполярья в Ярославль я возвращаюсь другим человеком — и стихи у меня начинают рождаться тоже другие. Честно говоря, они мне совсем не нравятся! Правду об армии, ту правду, которую я знаю и которая жжёт меня изнутри, я в своих сочинениях сказать не могу, боюсь… а неправду мне говорить не хочется. Где же выход из этого тупика?

Поработав немного инструктором обкома комсомола, я ухожу в партийную газету, тружусь там корреспондентом отдела сельского хозяйства, получаю первую в своей жизни квартиру. Семья в порядке, дочь подрастает, начальство меня хвалит… но мне, как воздуха, не хватает публичного признания моих литературных способностей, мне хочется печататься. Вечера и ночи я отдаю сочинению стихов, осмысляя в них то, что произошло со мной в минувшие полтора года, вновь переживая в своём сердце и ужасы казарменного быта, и счастливые моменты побед… и «Юрием Кузнецовым» в этих стихах совсем не пахнет. Мне даже немного стыдно посылать их своему кумиру; но кто же другой сможет оценить их по достоинству? ведь я больше никому не верю, ничьему мнению не доверяю! Что с того, что в ярославском отделении Союза писателей СССР мои армейские вирши хвалят? ещё неясно, радоваться мне, или огорчаться этому обстоятельству…

В апреле 1982 года я получаю от Юрия Поликарповича новое письмо:

> «**Дорогой Евгений!** Стихи порадовали. Армейский цикл самостоятелен. Конкретный материал дал себя знать. Лучшее стихотворение „Страж Заполярья“. Это, конечно, вершина.
>
> Что касается, так сказать, стихов общего плана, то Вы пока ещё не вышли из „магнитного“ поля моей системы. Избавляйтесь от Ю. Кузнецова во что бы то ни стало. Не читайте его, т. е. меня, я Вам мешаю.
>
> Показывал Ваши стихи литературоведу и критику В. Кожинову. Он отметил „Страж Заполярья“, высказать определённое мнение не мог, только сказал, что Вы ещё не „проявлены“, что Вам необходимо сделать рывок вперёд, чтобы обрести „лица необщее выраженье“. Что ж,

я с ним целиком согласен.

Сейчас Ваши стихи переданы в журнал „Наш современник“. Не знаю, что из этого получится, но надо надеяться…

Напишите о себе, присылайте ещё новые стихи.

Желаю удач. И надеюсь.

С приветом!

Ю. Кузнецов.

10.04.82 г.

P. S. Если случайно окажетесь в Москве, не забудьте мой телефон: 288-26-80».

Это письмо заставляет меня окончательно уверовать в свои силы. Я говорю себе, что раз меня хвалят за армейский цикл «с двух сторон», то ошибки быть не может — вот так, с этой интонацией, таким стихом и следует мне писать, чтобы «проявиться» и стать, наконец-то, подлинным «Чекановым». Имя Кожинова мне уже кое о чём говорит: я читал его «Книгу о русской лирической поэзии XIX века» и осознаю уровень этого учёного, понимаю, насколько высоко он поднимает планку своих требований к литературному произведению. Осенью того же года я покупаю книгу Вадима Валериановича «Статьи о современной литературе» — и буквально проглатываю её; а статью, посвящённую моему кумиру, перечитываю несколько раз. «Чёрт возьми! — говорю я себе, читая о критических баталиях вокруг стихов Кузнецова, — как же мне повезло тогда наткнуться на ту цитату из „Дуба“… значит, у меня и впрямь есть чутьё на талантливый текст? значит, я чувствую русское слово?»

Книга Кожинова побуждает меня найти и прочесть стихи Прасолова, Казанцева, Соколова, Куняева, перечесть Рубцова и Тряпкина, я смотрю теперь на этих поэтов гораздо более уважительно, нежели прежде… и всё же имя Юрия Кузнецова продолжает для меня сиять на литературном небосклоне не как самая яркая звезда среди прочих звёзд, а как Солнце, прогоняющее с неба все остальные звёзды. Да, Солнце — тоже всего лишь звезда, и причина её огромности и избранности для нас состоит, быть может, единственно в её близости к нам, — говорю я себе, — а Юрий Кузнецов — всего лишь поэт… но как же он сумел стать таким огромным, таким близким мне? и только ли мне?

В начале зимы 1983 года местный графоман, воображающий себя писателем и постоянно курсирующий между Ярославлем и

столицей, приносит мне весточку из Москвы: Юрий Кузнецов назначен якобы главным редактором очередного выпуска «Дня поэзии», крайне престижного общеимперского альманаха, издающегося стотысячным тиражом — и просит передать мне, чтобы я прислал новые стихи, так как имеющихся «не хватает до целой полосы».

Полоса в «Дне поэзии»? Да я и мечтать об этом не мог!.. в этот альманах, кажется, ни один ярославский литератор ещё не попадал… Но правда ли это? не брешет ли графоман?

Оказывается, не брешет. В ответ на моё письмо с новыми стихами и разными окололитературными опасениями Юрий Поликарпович пишет летом того же года:

«**Дорогой Евгений!**

В „День поэзии-83“ предложены Ваши стихотворения:

„Военный билет“,

„На плацу“,

„Страж Заполярья“,

„Пламя“,

„Вечернее возвращение“,

„У ночного окна“,

„Улыбка матери“.

Если в июле пройдут эти стихи в ЛИТО, то можно считать, что всё в порядке.

Что касается каких-то повторений в коллективных сборниках („Истоки“ и проч.), то не беспокойтесь. Это не имеет никакого значения.

С пожеланием успехов!

Юрий К.

29.06.83 г.».

Вместе с письмом мне приходит новая книга стихов Кузнецова, «Русский узел», с дарственной надписью автора:

«Евгению Чеканову на верный путь во мгле. Юрий Кузнецов, 29.06.83». Она чудесно издана; удивительные иллюстрации Юрия Селиверстова приковывают к себе, а уж сами стихи!.. Я моментально выучиваю их наизусть, читаю друзьям, пою под гитару… Буквально каждое стихотворение заставляет меня пережить целую гамму эмоций, я радуюсь появлению этой книги и факту своего знакомства с её автором чуть ли не больше, чем грядущей своей публикации в престижном альманахе.

На других фронтах меня тоже ждут в это время победы:

осенью я беру в свои руки бразды правления областной молодёжной газетой «Юность», становлюсь её главным редактором. Впрочем, эта победа — пока что номинальная, подлинным главным редактором мне ещё только предстоит стать. Никогда в прежней жизни не руководя даже самым маленьким коллективом, я вдруг получаю под своё начало десяток штатных журналистов областного уровня, большинство которых весьма поднаторело за долгую жизнь в разных интригах, да и старше меня лет на десять — и мне необходимо с первых же шагов показать, кто в доме хозяин. Слава Богу, за моими плечами — служба в армии; теперь я начинаю понимать, что эта школа жизни была в моей судьбе не напрасной… После первых боёв и увольнений коллектив утихомиривается, к декабрю все проблемы сами собой рассасываются, ЦК комсомола вызывает меня по какому-то делу в столицу, — и тут происходит моя первая встреча с Учителем.

После десятка таких встреч я перестаю записывать то, что происходило, прекращаю фиксировать наши беседы, — но вначале, понимая, какой подарок преподносит мне судьба и не надеясь на память, я записываю каждый такой разговор сразу же после встречи. Двадцать лет пролежат в моём архиве эти записи, никто никогда не видел их… но вот и пришло время обнародования. Править записанное не поднимается рука, хотя нынче я, разумеется, знаю и понимаю больше, чем в 1983 году. Что ж, умный читатель всё поймёт; кроме того, всем предыдущим повествованием я, кажется, достаточно подготовил его к дальнейшему чтению — ввёл, худо-бедно, в атмосферу описываемого времени, набросал портрет автора записей, двадцативосьмилетнего автора из провинции, обрисовал степень понимания им происходивших тогда в русской литературе процессов…

Остаётся добавить, что по ряду соображений я и сейчас ещё не могу публиковать эти записи без значительных купюр… пусть кое-что останется до времени в моём архиве.

А теперь — первая запись.

5.12.83.

Решение позвонить ему пришло внезапно. Хотя, уже собираясь в Москву, я предполагал эту встречу — и потому срочно перепечатал новые стихи. Но всё же в душе не надеялся на встречу. Мало ли что, ведь вызывают в ЦК… скоро ли там всё закончится?

Я приехал в Москву в воскресенье и часов в шесть вечера, сидя в гостинице «Орлёнок», с удивлением обнаружил, что мне нечего делать.

И набрал номер…

— А кто его спрашивает? — раздался в трубке тот же самый милый женский голос, который месяц назад ответил мне, что «его нет и вряд ли до вечера будет».

Я сказал.

— Юра, Чеканов! — раздалось отдалённо в трубке. Сердце моё заколотилось.

Потом пошёл какой-то сумбур. Я спрашивал, можно ли приехать; он говорил, что устал, но чтобы я приезжал. Я в ответ извинялся и говорил, что не настаиваю на аудиенции, он повторял: приезжайте! Я ещё раз переспрашивал, он меня плохо слышал…

— Ну, приезжайте, приезжайте сейчас! Мы поговорим полчаса; я думаю, этого будет достаточно.

Внутри у меня кольнуло. Полчаса! Или он так ценит своё время, или… или это показатель его отношения ко мне?

Что ж, полчаса так полчаса.

Дверь в подъезде была закодирована и, хотя он сказал мне код, я так и не смог её открыть. Меня выручили два мужика, выходящие из подъезда.

Поднялся на 15-й этаж. Позвонил.

Он открыл дверь.

Первое впечатление: нетороплив, замедлен, холодноват. Жестом пригласил пройти. Дочка, черноволосая раскосенькая смуглянка лет трёх-четырёх, поглядела на меня и убежала. Вторая, лет шестнадцати, тоже раскосенькая, выглянула из комнаты и скрылась.

Прошли в кабинет. Он сел в кресло и протянул сигарету мне. Я не курил, но не посмел отказаться.

— Ну, так как ваши дела, Евгений… э-э… Феликсович? — сказал он нехотя и с некоей заметной иронией по отношению к моему отчеству.

— Можно без отчества, — сказал я.

— Так, я тоже так думаю.

Помолчали. Курили. Он глядел на меня, скучая. Неохотно начал спрашивать.

Я отвечал что-то.

Постепенно разговор завязался. Кажется, это произошло после того, как я признался, что приехал поглядеть на него, на живого Юрия Кузнецова.

Впрочем, я тут же оговорился, что мы с ним виделись — в Карабихе, на Некрасовском празднике поэзии. Он припомнил, что там к нему подходили двое — девушка и молодой человек. Вспомнив о Карабихе, стал рассказывать, что вообще не любит

никуда ездить. И что на всех комсомольских собраниях засыпал. И что однажды директор школы, ругая его, сказал: «Как же ты, такой, в комсомол вступил?». А он в ответ директору заявил: «А я не вступал, меня насильно затащили, как всех».

— Директор ахнул! А ведь я сказал правду…

Я понял, что это — камень в мой огород, в мой комсомольский значок.

— Мне положено по штату, — отбоярился я.

Постепенно мы разговорились-таки. Пошли речи, которые я не раз уже слышал в Ярославле <…>.

Я дал ему свои новые стихи. На прощанье он сказал весело:

— Ну, комсомолец, хочешь, я тебя удивлю?

— Чем можно удивить комсомольца? — откликнулся я.

Он поднёс к моим глазам фотографию: сумрачный человек, глядящий исподлобья, волосы пострижены в скобку, глухая гимнастёрка. Подпись он зажал пальцем.

— Кто это?

— Н-ну… — неуверенно сказал я, — судя по одежде и причёске… начало двадцатого века?

— Так кто?

— Не знаю.

Он открыл подпись: Нестор Махно.

— Стенька Разин двадцатого века, — сказал он, довольно улыбаясь. — И даже переплюнул Стеньку!

Договорились встретиться через два дня, чтобы поговорить о моих новых стихах.

Первое впечатление: сумбур. Возвращаясь в гостиницу, я постоянно спрашивал себя: так кто же это? Большой ребёнок, отгородившийся от мира книжной стеной? Поэт, играющий в политическую оппозицию? Кто?

Я ехал в метро и вспоминал нашу беседу, пытаясь нарисовать для себя его портрет.

Очень ленив. Когда говорит, между словами делает большие паузы; иногда забывает мысль, ищет. Похоже, что ему всё на свете — всё равно. «Ленив и тяжёл на подъём» — точная самохарактеристика. Иногда хохочет. Поймав точное слово, складывает пальцы в щепоть и «ыкает», то есть делает неясный, что-то вроде «ы», или «эге», звук горлом: мол, так ведь, ы?

Много и охотно говорит о себе. «Кузнецовых много, но я их всех забил».

— Я читал Кожинова, — сказал я. — Поразила его статья о Трифонове. Я считал Трифонова честным, одним из самых честных…

— Кожинов его разоблачил, — сказал он довольно.

— Разве Трифонов в самом деле был конъюнктурщиком? — спросил я осторожно.

— Конечно! — сказал он без тени сомнения. <…>

Я спросил, почему взяли в «День поэзии-83» моё стихотворение «У ночного окна». Может быть, это случайность? Ведь в Ярославле его никто не понял.

— Ваши стихи отобрал Кожинов. Я ему доверяю. Так что это — не случайность.

Через два дня я позвонил вновь. Тот же расслабленный голос, вялость. «Ну, приезжайте, приезжайте…»

На этот раз дверь подъезда открылась легко.

Портрет: грузный, крупный мужчина с мясистым лицом, уши торчат, короткие чёрные волосы зачесаны назад. Рубашка заправлена в брюки. Неторопливые движения.

Мы сели друг напротив друга, в те же кресла.

Начали со стихов, но тут же отвлеклись. Больше всего ему понравились «Воскресные стихи». Правда, название ему не понравилось, он его тут же заменил на «Воскресное».

Остальное медленно, вяло ругал.

Главная претензия — быт, несопричастность к бытию. «Есть великие, высоковольтные передачи, несущие ток из века в век. К ним надо подсоединиться, подключиться. Но это дано не каждому». Он привёл в пример Василия Фёдорова:

— Он хотел «закрыть тему Дон Жуана»! Женить его! Ха-ха-ха!.. Но какова наглость! Чушь. Я еле одолел три песни. Чушь!

Короче говоря, Фёдоров не смог «подключиться».

Я стал спрашивать, как мне быть и о чём писать.

Он ответил, что не знает, что надо быть предельно откровенным, вот и всё.

Я сказал, что пишу нечто вроде книги об армии.

— Попробуйте написать что-то под Киплинга. Возьмите у него… Надо просто уметь взять, «уметь украсть»… Ничто не ново под луной. Всё уже было. Надо только суметь подключиться к великому наследию…

Говорили о Кольцове и Прокофьеве (он сказал, что сам — из этого же ряда), о Николае Фёдорове и Александре Солженицыне («Матрёнин двор» и «Иван Денисович», по его мнению — хорошая русская проза, а «Август четырнадцатого» — плохо, пошёл «не туда»), о русской государственности (показал себя ярым сторонником централизма), о русской натуре («европейский гуманизм узок русскому человеку, мы, русские, не влезаем в его рамки»)…

Я сказал полувопросительно, что мне, наверное, надо подождать писать… Он резко ответил:

— Нет! Нельзя, это мстит…

Сказал, что в «Чистякове» не 150 строк, а 700, что его никогда не напечатают… Советовал мне больше читать — Герцена, Киреевского, Данилевского, Чаадаева. Всё это — очень современно.

Хохотал, когда я сказал, что мучаюсь несоответствием своей реальной солдатской службы — и тем, что я о ней пишу.

— Если бы я был священником, я бы отпустил этот грех! — воскликнул он.

Отсмеявшись, сказал серьёзно:

— У искусства — другие законы. Тут главное — можешь ты, или не можешь…

Говорили о моём подражании ему. Он заметил:

— Вы попали в поле притяжения мощной звезды… Как бы вам от меня избавиться?

Посоветовал наложить табу на его, Кузнецова, поэтический словарь — очень, по его словам, бедный.

Я поинтересовался его мнением о современных русских поэтах. Он ответил, что лучшие из ныне пишущих — это, безусловно, Николай Тряпкин и Василий Казанцев.

Говорили о поэте Викторе Лапшине из Галича. Я рассказал, что ездил недавно в Кострому, в редакцию молодёжной газеты — и что всех там поразила публикация большой подборки стихов Лапшина в «Литературной учёбе». Он сказал радостно:

— Будет ещё большее потрясение, когда выйдет «День поэзии» — там мы дали ему триста строк. Триста! Я сам больше ста двадцати — никогда, нигде…

Выяснилось, что Лапшин заезжал к нему.

Я рассказал о своих редакционных делах, в том числе о том, как мой шофёр облил свою неверную жену бензином и пытался поджечь. С первой спички она, правда, не загорелась, дело для изменщицы кончилось небольшими ожогами, а для водителя — увольнением. Он слушал снисходительно, потом заметил, что этот случай может стать материалом… Рассказал мне о том, как сам работал в своё время в издательстве «Современник» в отделе национальных литератур, как боролся с нерадивыми сотрудниками.

— Я их выгонял! Принесёт, бывало, рукопись — я сразу почеркаю: а тут почему не поправил?.. а это что такое? Сами уходили. Человек шесть ушло. Дочку Льва Ошанина выгнал…

Выяснилось, что он и в газете в своё время работал (кажется, это было в Краснодаре).

— Полгода сидел. Последние три месяца вообще ничего не делал. Зайдёт редактор: чего делаешь? — Ничего. — Уйдёт… А

мне надо было до Литературного института досидеть, я ведь уже поступил.

Подытоживая разговор о газете, сказал с сочувствием:

— Замучают вас эти летучки-текучки…

Я сказал, что, конечно, эта работа для поэта — не из лучших, да и вообще трудно отключаться от повседневности…

— Оно, — заметил он, показав глазами вверх, — само отключает… ы?

В первый раз я просидел у него полтора часа, во второй — часа три. Что ещё поразило меня: некоторые стихи мои (в том числе те, что были про него) он, кажется, совершенно не понял. Или они были просто неинтересны ему?

Впрочем, я ни на секунду не усомнился в том, что был в гостях у гения.

* * *

…Жизнь идёт; в январе 1984 года на прилавках книжных магазинов появляется, наконец, «День поэзии-1983»; я скупаю все экземпляры, которые могу найти, дарю их друзьям-приятелям с дарственными надписями. Друзья-приятели радуются за меня, многие (особенно те, что сами марают бумагу) откровенно завидуют… но большинство не видит особой разницы между этой моей публикацией — и другими: главное ведь, что печатают, а где — вопрос второй. Но в местном отделении Союза писателей отношение ко мне резко меняется… как сейчас, помню коллективную пьянку в домике писателей на улице Терешковой и хмельной спор двух старых литераторов-фронтовиков.

— Ну, вон и с Женей Чекановым сколько мы возились, — говорит один, — пока он наверх не взлетел…

— Нет! — кричит другой, потрясая вилкой, — Чеканов пробился сам!..

Масла в огонь добавляет статья Юлии Друниной в номере «Правды» от 31 января: поэтесса-фронтовичка громит кузнецовский «День поэзии» за «глубокий минор», недостаток «гражданственности», «смакование душевных мук»… и тут я оказываюсь в двусмысленном положении: упоминая мои строчки, Друнина их как раз не ругает, а хвалит, называет точными. Положим, Друнина для меня — никакой не авторитет… но всё-таки статья опубликована в «Правде», то есть самой главной газете империи… так радоваться мне, или возмущаться?

Я вновь и вновь перечитываю «День поэзии-83». Наибольшее впечатление оказывает на меня, конечно же, новое мощное

стихотворение Учителя — «Поединок»:

Противу Москвы и славянских кровей
На полную грудь рокотал Челубей,
Носясь среди мрака…

А вот и «триста строк» Лапшина: кое-что мне нравится, но далеко не всё; многие слова кажутся нарочитыми, придуманными, неуклюже стилизованными «под старину»… почему же Юрий Поликарпович такого высокого мнения о нём?

Из других поэтов, представленных, как и я, под рубрикой «Новые имена», мне больше всего нравится Михаил Шелехов, хотя и у него я нахожу подражания Кузнецову. А вот Александр Логинов, этот вроде бы совершенно самостоятелен, одно его стихотворение, про сторожку лесника — прямо-таки блестящее… Свою собственную подборку я перечитываю по нескольку раз на день: почему же всё-таки именно эти стихи отобрал Вадим Кожинов? где тот нерв, что объединяет их, делает их «чекановскими»?

Меня потрясают впервые опубликованные стихи Сергея Маркова «Когда нахмурен небосклон», «Дочери», «На дне походного мешка» — отныне и навсегда я начинаю чтить этого мастера слова; врезаются в память стихи «метаметафориста» Александра Ерёменко; даже стихотворение моего знакомца Виктора Коркии запоминается ударной концовкой: «Иду по вагону назад — пролетаю вперёд!» А вот и стихи его начальника, Натана Злотникова… точнее, это не стихи, а рифмованная проза. И такие-то люди руководят отделами поэзии во всесоюзных журналах?

Впрочем, мне уже плевать на это: мощной рукой Учителя я поставлен в один ряд с другими молодыми поэтами империи, меня цитирует в «Правде» Друнина, я, наконец-то, признан в Ярославле. Теперь нужно думать о выходе первой собственной книги… да ведь я уже о ней и думаю! Это будет книга, состоящая в основном из стихов о моей армейской службе — о заполярных сопках, о казарменном быте, о лютой сердечной тоске… о том, что «можно сказать», говоря об армии. А то, «о чём нельзя» — пусть пока остаётся только в моём сердце.

Так думаю я в то время.

Будучи «зачисленным в крут» литераторов Ярославля, я начинаю выступать перед читателями по линии местного бюро пропаганды художественной литературы; помимо приятного общения с публикой, это приносит и кой-какие деньги, за каждую встречу со слушателями платят что-то около 7 рублей. Семь раз в

месяц выступил — полтинник в кармане; а между прочим, моя зарплата главного редактора областной газеты составляет всего около 300 рублей… не так уж и плох «приварок»! Естественно, главное тут — не деньги, главное — восхищённые глаза читателей, улыбки и прочие эмоции зала в ответ на особо удачные строчки… очень скоро я, как сказали бы сейчас, «подсаживаюсь» на эти встречи, мне начинает их не хватать.

В писательской организации частенько устраиваются застолья; я теперь участвую в них на равных с людьми, которые значительно старше меня, у многих за плечами война. Особенно благоволит ко мне Пал Палыч Голосов, тот самый поэт-фронтовик, которому перепуганные преподаватели университета в своё время отдали на рецензию мою студенческую поэтическую стенгазету — он одобряет намерение издать «армейскую» книжку стихов, хвалит удачные строки, критикует провальные. Положим, его собственные стихи не производят на меня особого впечатления… но ведь и Юрий Кузнецов считает лучшим у меня именно «армейский цикл». Значит, со стороны виднее, значит, мне стоит прислушаться и к оценкам Голосова. А Владимир Сокол, штатный сотрудник писательской организации, у которого в писательском домике есть собственный кабинет, вообще привечает меня, мы постоянно пьём с ним чай, а то и что покрепче. Я приношу в домик на улице Терешковой свои новые стихи, спорю, веду разговоры о жизни и литературе, знакомлюсь практически со всеми более-менее заметными литераторами края…

В июле 1984 года Владимир Сокол знакомит меня с московскими поэтами Николаем Старшиновым и Геннадием Серебряковым, вологодцем Александром Романовым — они приехали на очередной поэтический праздник в Карабихе. С Геной Серебряковым, бывшим редактором ивановской молодёжной газеты, год поработавшим в секторе печати ЦК ВЛКСМ, а ныне «свободным художником», мы распиваем бутылку водки, болтаем о литературе; он с ходу обещает помочь мне с публикацией книжки в столичном издательстве «Современник». Я интересуюсь его мнением о Кузнецове, он отзывается в целом положительно; зато Кожинова почему-то называет «масоном»:

— Вадик? Масон!

— А Тряпкин и Казанцев?

— Коля Тряпкин ничего уже не пишет, а Вася Казанцев ничего особенного и не писал никогда!..

Листаю книжку самого Гены: стихи его, честно говоря, в подмётки не годятся казанцевским и тряпкинским, не говоря уж о

кузнецовских, — это плоские, заурядные вирши. Но сам он явно так не считает и очень гордится «шумом» вокруг некоторых из своих творений, особенно вокруг «Чёрных полковников», написанных, по его словам, с намёком на Брежнева.

— После этой публикации Юра Верченко собрал все «телеги» на меня и отнёс в ЦК партии!.. — говорит он хвастливо.

Что ж, каждому своё. Лично мне Брежнев до лампочки, реальные политические деятели меня интересуют мало. В своих стихах я раздумываю о парадоксах человеческой жизни, о страстях и разочарованиях, о связи мёртвых и живых, неба и земли… и мой Учитель поддерживает эту устремлённость, жёстко критикуя мои новые вирши на «армейскую» тему, написанные в расчёте на выход будущей книжки, «для объёма». В конце августа он пишет мне:

«**Дорогой Евгений!**

В последних Ваших стихах наметился резкий отход от Ю. Кузнецова в сторону, условно скажем, В. Лапшина (стихи „Свеча“, „Русский мотив“).

Вот Ваш актив:

„Свеча“, „Гощу в деревне“ (прокитайское название, смените), „Вечер на Волге“ (две первые строчки расхожи, плохая строчка „Мирно светит луна вполнакала“, „вполнакала“ не ассоциируется с человеческой ступнёй), „В автобусе“ (тут засилие быта, быт слишком мелок для такого обобщения: „нас сближают только беды“), „Запретные темы“ (непроходимый для цензуры эпитет „запретные“ смягчите на „опасные темы“), „Русский мотив“, „Не век же себя ожиданьем томить“ (расслабляют подряд четыре глагольные рифмы, само стихотворение, без последней строчки, напоминает… Надсона. Странный рецидив!), „Районный сюжет“, „Если тебя не слышат“ (вообще-то довольно привычный ход мысли), „Выходя в свет“ (тут старая эстетика, прошлый век).

Армейские стихи мне не понравились: сплошной быт, газета. Вы слишком доверяете быту, товарищ „комсомолец“. Вы находитесь в опасной близости к быту.

Покамест лучшим Вашим стихотворением остаётся „Страж Заполярья“.

Старайтесь всегда думать только высокими категориями, например: правда, долг, родина, женщина, бог. К сожалению, о последних двух Вы не имеете решительно никакого представления.

С пожеланием грядущих удач.
До встречи!

Ю. Кузнецов.

28.08.84.»

В тот же день я записываю в дневнике: «…упрекает меня за „засилие быта“. Что ж, я сам понимаю это. Но всё время думать о быте — и не писать о нём? Я не могу отделиться от быта, так как он у меня не налажен, всё под сомнением — и семья, и работа, и жильё… Но всё же я оторвался от Ю. К. и теперь ухожу в свой собственный полёт, в „путь во мгле“!..».

О неустойчивости своего быта я пишу не просто так: в моей жизни в это время намечается развод, и я очень тяжело переживаю это. Не радуют уже ни первая в моей жизни поездка за кордон, в Венгрию, ни выступления по местному телевидению и радио, ни литературные успехи, хотя они, несомненно, есть: в ноябре заведующий отделом поэзии «Нашего современника» Алексей Шитиков сообщает, что главный редактор этого журнала Сергей Викулов отобрал для публикации пять моих стихотворений, сказав при этом: «Поэт он интересный, даровитый, думающий. Напишите ему письмо, чтобы в первую очередь все новые стихи показывал нам».

Грядущий развод совершенно вышибает меня из колеи; я всерьёз думаю об уходе из редакторского кресла, даже нахожу уже другую работу… и именно в этот момент, в начале декабря 1984 года ЦК комсомола вызывает меня на учёбу в Москву, в Высшую Комсомольскую Школу. Две недели подряд нас пичкают с трибуны «проблемами совершенствования развитого социализма», пожеланиями «чаще писать о Ленине» и «актуальными вопросами повышения профессионального мастерства журналистских кадров».

Впрочем, есть и интересные выступления… но мне гораздо интереснее встретиться с Учителем — и я буквально в первый же свободный вечер звоню ему и напрашиваюсь в гости.

А теперь — две записи, сделанные в те дни.

8.12.84.

Я позвонил ему, будучи сильно пьян (в компании других редакторов выпил около бутылки водки и вдобавок бутылку красного). Он сказал: приезжайте сейчас.

Спьяну я забылся и приехал вместо Рижского метро на Курское; потом звонил ему ещё раз, уточнял адрес. Попал к нему поздно, около девяти вечера.

Сели за стол, я предложил выпить водки. Он неожиданно

легко согласился. Принёс капусты. Крикнул жене, чтобы сготовила пельменей.

Говорили о разном. Поскольку я был пьян, то запомнил лишь несколько отрывков.

Спросил о жене его. Это — та самая Батима, которой посвящено стихотворение «В твоём голосе мчатся поющие кони». Она училась вместе с ним, окончила переводческий факультет, казашка по национальности.

Говорили о любви и страсти. Он сказал, что мы не знаем любви, не умеем писать о любви, умеем — лишь о страсти, а ведь это — разные вещи. <…>.

Говорили о литературе. Я сказал, что прочитал недавно в Ярославле несколько «самиздатовских» вещей <…>. Ю. К. тут же поправил: это — не самиздат, а ксерокопия. Вот альманах «Метрополь» — самиздат. А ксерокопия, рано или поздно, будет опубликована.

Я спросил, насколько высоко он меня ставит, как поэта. Он захохотал и воскликнул: «Дитя!». Потом сказал, что «Страж Заполярья» — явление одного порядка с «Враги сожгли родную хату».

Ещё я спросил, почему он так холоден со мной. Он сказал, смутившись, что это не так, что он «вообще такой».

Я рассказал, что поднял свою родословную по пятое колено. Он похвалил и сказал, что у него всё иначе — «за отцом всё обрубается».

Поговорили о моих газетных делах, о том, что я собираюсь уйти из редакторов.

Я сказал: может быть, пока я ещё редактор, мне можно напечатать что-то из неопубликованного Юрия Кузнецова? Например, «Чистякова» в полном виде… — Он резко ответил:

— Нет! Тогда на Чеканове будет поставлен крест!

Посоветовал мне «сидеть в редакторах», пока я не стану членом Союза писателей. Но если я так уж твёрдо решил уходить, то… в редакции «Молодой гвардии» есть сейчас некое свободное место. Я честно ответил, что не справлюсь.

Спрашивал о друзьях и врагах его. Оказалось, что его враг номер один — Сергей Сартаков, который много ему нагадил. О моём знакомом, столичном поэте-фронтовике Викторе Кочеткове Ю. К. отозвался так: «Как поэт он — так… ничего… пустое место. А как человек — да, хороший». Кочеткова, по его словам, сильно обидели, убрав из секретарей какого-то парткома. Тогда, вслед за ним, ушёл из парткома и сам Кузнецов.

Гена Серебряков, по его мнению, прохвост, но «если он обещает подтолкнуть книжку — пусть толкает», не надо

пренебрегать подобной помощью.

Я заметил, что Юрия Кузнецова сейчас что-то перестали печатать…

— После моей смерти всё напечатают!

Я расчувствовался, попросил разрешения обнять его. Он похлопал меня по плечу.

На прощанье я спросил, пишет ли он что-нибудь сейчас.

— Лучшие свои стихи я написал в последнее время.

Пили водку и ели пельмени с корейским соусом.

На другой день я проснулся с болью в копчике. Вспомнил, что вчера неудачно приземлился, перелезая часа в два ночи через ограду ВКШ (идти в пьяном виде через вахту поопасился). Закон компенсации — за всё хорошее надо платить.

Вспомнил, что сегодня в Центральном Доме литераторов — вечер поэзии, и что вроде как Ю. К. меня туда приглашал, обещал провести. Пошли вместе с Вовкой Кудрявцевым, редактором «Вологодского комсомольца».

Я был в ЦДЛ впервые. Оказалось, что на этот вечер продавали билеты, причём свободно. Купили билеты, пошли в буфет пить пиво. Я увидел Джемса Паттерсона, с которым знакомился как-то в Ярославле, поздоровался.

Появился Ю. К. Спросил, как я вчера добрался, вынул деньги за пиво. Пили, болтали. Вовка начал разговор о недавно скончавшемся Юрии Селезнёве, восхищённо о нём отзываясь. Юрий Поликарпович заметил, что жена Селезнёва поступила крайне непорядочно — «уехала, бросив труп в Германии. Это — чёрт знает, что такое!..».

Я припомнил, что Александр Романов назвал как-то Селезнёва «генератором идей». Ю. К. резко опроверг это: «Своих идей у Селезнёва не было — всё заёмное. Всё это носится в воздухе!» Сказал, что это явление он заклеймил в стихотворении, которое сегодня прочтёт.

Болтали о том, о сём. Речь почему-то зашла об Азии. Ю. К. к слову рассказал, как он однажды искал в Туве «Центр Азии». «Все показывают примерно… а где точно — никто не знает!»

На вечере председательствовала Щипахина. Ю. К. читал стихи «Учитель хоронил ученика» (я понял, что это — о Селезнёве), «Духи».

В зале, кажется, сидел народ случайный — всем хлопали одинаково.

25.12.84.

Поскольку пишу через два дня после встречи (да ещё все эти дни я пьянствовал с приятелями-редакторами), многое передаю примерно. Многое попросту забыл.

Позвонил в понедельник, попросил разрешения увидеться. Договорились на вторник. Я взял с собой бутылку «Пшеничной» водки (0,9) и пол-литровую бутылку «Старки».

Когда мне открыли, он говорил по телефону. Старшая дочь молча указала мне на тапочки — меня уже ждали.

Ю. К. вошёл, пожал мне руку. Прошли в его комнату, он начал накрывать на стол. Много всего принёс, даже супу.

Помогала накрывать дочь. Я спросил, как её зовут.

— Аня.

— А сестру вашу?

— Катя.

Заходила и жена, Батима; он почему-то звал её «Галей», мягко, по-украински произнося звук «г».

Сели, наконец. Он достал из кармана брюк поллитровку. Я остановил его словами: «Может, начнём с другого формата?».

Он глянул недоумённо. Я в ответ вынул свою 0,9.

Покачал головой: большая больно… Потом подумал и послал дочку за капустой на балкон. Дочка что-то замешкалась, он подошёл к ней и помог оторвать кастрюльку с капустой от пола — примёрзла.

Опять сели. Разливал я; по недосмотру налил себе чуть больше, чем ему (стаканы стояли один за другим, я сидел в глубоком кресле и не видел уровней). Он жестом показал: добавь.

Помолчали.

— Я хотел бы извиниться за задержку… — начал я. — У нас была лекция представителя Главлита, хотелось послушать его…

Он махнул рукой: стоит ли, мол, об этом говорить. Я, однако, продолжил:

— Так я задал этому, из Главлита, вопрос: «Что вы думаете о Юрии Кузнецове и Станиславе Куняеве?». А тот ответил, что обоих не любит. «Куняев — это литературный ширпотреб, а Кузнецов в последнее время впал в дикую мистику».

Юрий Поликарпович хмыкнул. Это его задело.

— Мистика… Да что они понимают! Они же не знают смысла-то слова «мистика», не умеют отличить религиозного сознания от обычного! Блаватскую хоть бы почитали! «Утопленник» Пушкина — тоже мистика? Весь Гоголь — мистика? Ерунда, чушь!

— Ну, — прервал он сам себя, — давай! За твоё московское пребывание!

Выпили. Я налёг на суп. Налили по второй. Он сходил за стихами, которые я ему оставлял.

— Ну, что… Вот, «Путнику». Название не то. Но есть образ, есть правда: действительно, эти ветки хлещут по глазам. Но плохо «сквозь век» и ещё «вослед идущего потомка». Не надо

ставить стихотворение на котурны. «Крепость»… ну, это уж слишком. Вот «Осветить лицо!» можно печатать… но ведь это — проза. «И стал здороваться со мной за ручку старшина» — ведь это проза! Ы?

— В общем, — он протянул мне рукопись, — хорошо, что твоя мысль идёт в верном направлении. Задумываешься о Павлике Морозове — это хорошо. Об этом надо думать. Но выражено всё это пока что…

— То есть, претензии к форме?. — начал было я.

— А что такое форма? — осадил он. — Без неё нет содержания!

— Ну, а что, по-вашему, в этих стихах самое «чекановское»?

Он вяло махнул рукой: мол, не надо об этом. Я настаивал.

— Ничего тут сказать нельзя! — наконец, разразился он. — Пиши, будь откровенным, и всё! Я тоже, когда служил на Кубе и писал стихи об этом, думал, что прославлюсь именно ими. Ведь ничего подобного в русской поэзии раньше не было: русский солдат — на Кубе… А вышло так, что Юрия Кузнецова знают по другим стихам. Ничего тут сказать нельзя. Я сам про себя ничего не могу сказать… как я буду писать завтра?

Выпили. Я рассказал, что был недавно в гостях у Владимира Крупина и узнал у него, что стихотворение Кузнецова «Ты стоял на стене крепостной…» посвящено Крупину.

— Нет, это не ему, — заметил Юрий Поликарпович.

— А он считает, что ему…

— Ну, пусть считает. А может, Вадиму Кожинову? А может, Вадиму Кожевникову? Я не пойму, как вообще можно посвящать кому-то стихи без его на то согласия. Вот мне тут графоман один прислал стихи, мне посвятил… Как так можно? Вообще, этика требует: если живущему посвящаешь — спроси разрешения. Вот я посвятил Палиевскому «Змеи на маяке» — так я спросил сперва.

— Мне кажется, — вставил я, — эта вещь у вас — самая совершенная по композиции. За каждым образом — символ…

— Жуткая история! — махнул он рукой. — Нам, мне и Белову, рассказал её Палиевский, правда, в разное время. Белов сделал что-то на иностранном материале из неё… А сам Палиевский выкопал её из средневековых хроник.

Я сказал, что Крупину запомнились мои стихи из «Дня поэзии» (имея в виду стихотворение «На плацу»), Ю. К. подумал, однако, что речь идёт о «Страже Заполярья», и откликнулся:

— А! Так ведь я ещё давно читал «Стража Заполярья» в Союзе писателей, и тогда же сказал: вот это стихи! А то у нас полно «литературных мальчиков» — пишут, книги издают, а всё в мальчиках ходят…

В комнату вошла Батима. Юрий Поликарпович представил ей меня.

— А, это вы поздравили Юру… (Я в своё время поздравлял его из Ярославля с награждением орденом «Знак Почёта»). Вы закусывайте, закусывайте!

Я стал спрашивать про его поэму «Дом»: почему в разных изданиях публикуются всё время разные варианты?

— Это не варианты, это я восстанавливаю то, что у меня раньше резали. Они убирали, а я восстанавливал. До сих пор не могу, правда, восстановить небольшой кусок, про Сталина — мой герой Лука сидел вместе с его сыном в тюрьме. Ничего тут нет такого, я не ругаю Сталина и не хвалю… а вот нельзя, и всё!

Дал мне прочесть только что написанное им стихотворение «Маркитанты» — о том, как встретились два войска, как маркитанты обеих сторон были посланы на разведку, как они выдали все секреты друг другу — и оба войска полегли наутро. А маркитанты, награбив добра, разъехались по домам.

Маркитанты обеих сторон —
Люди близкого круга.
Почитай, с легендарных времён
Понимают друг друга.

Дальнейшее помню плохо, но, кажется, я держался молодцом.

Утром я проснулся у себя в общежитии с книгой Розанова «Уединённое» в кармане пиджака. Позвонил Юрию Поликарповичу и, не помня точно, подарил он мне её или дал только почитать, начал благодарить…

— Книгу пришлёшь ценной бандеролью! — сказал он. — Ну, давай! Всех благ!

Я чувствовал себя ужасно гордо.

* * *

…Наступает весна 1985 года, я вновь оказываюсь в Москве, на XII Всемирном фестивале молодёжи и студентов, живу в гостинице «Россия». Днём я работаю, что-то там делаю для ЦК комсомола, а вечером время у меня свободно. Естественно, я всей душой рвусь к Учителю… и в середине мая мне удаётся дважды побывать у него. Вот записи об этом.

18.05.85.

Обе эти встречи (14–15 мая и 17 мая) произошли, как говорится, «по пьяному делу», поэтому я записываю лишь

обрывки… то, что смог вспомнить.

Набрал номер из гостиницы. Батима сказала, что он будет через два часа. Позвонил через два часа. Он говорил доброжелательным тоном, но к себе не приглашал. Я что-то мямлил, спрашивал, выходит ли у него вскоре что-нибудь… он буркал в ответ что-то, потом, всё поняв, сказал:

— Ну, ты что — приехать, что ли, хочешь?

— Так ведь вы не приглашаете!

— Ну, давай, приезжай!

Я ринулся в буфет и, решившись сразить Ю. К., взял бутылку итальянского джина за 15 рублей. Кроме того, у меня в дипломате была бутылка коньяка, початая с поэтом Владимиром Фирсовым (я к нему недавно заходил вместе с приятелем, поэтом из Рыбинска Сергеем Хомутовым). Итак, горючего хватит. Поехал к Рижскому вокзалу (оттуда ходит трамвай в сторону Олимпийского проспекта).

Дверь открыла Батима. Я прошёл в комнату, где уже сидел какой-то узколицый парень.

— Женя Чеканов.

— Гена Фролов.

Уж не тот ли Фролов, с помощью которого Гена Серебряков обещал пристроить мою рукопись в «Современник»? Нет. Тот, как выяснилось, Лёня. А этот гордо охарактеризовал себя так:

— Меня называют собутыльником Юрия Кузнецова!

Фролов с Ю. К. пили медицинский спирт. Мой джин они поставили под стол. Юрий Поликарпович принёс окрошку — и началось… Мне хватило трёх или четырёх стопок, я лёг пластом, а они всё продолжали. Хозяин принёс телогрейку, укрыл меня.

Помню ещё маленький казус. Фролов, оказывается, забрал мой джин с собой и поехал домой. По дороге его ограбили, забрали и деньги, и джин. Я выразил сожаление по этому поводу. Но Ю. К. сказал:

— Это отрава! Я ведь попробовал, глоток отпил. Еле удержал в желудке…

Тогда я стал злорадствовать по поводу незадачливого вора.

На прощание он дал мне обещанную книгу <…>. Сказал, шатаясь:

— Это не бомба, не мина… Это — сильнее. По крайней мере, на меня это лет десять назад произвело страшное впечатление. Поэтому неси, как святыню.

— Я же трезвый! — храбро ответствовал я.

Помнится, ещё несколько ранее Дробышев (его давний знакомец, тоже появившийся на кухне) и Фролов засомневались: стоит ли ему давать мне эту книгу? Ю. К. пресёк их, уверив, что я

— надёжный человек.

Через два дня я вновь позвонил ему.

— Ну, что — маешься? — спросил он. — Приезжай.

…Ели мясо, блинчики с мясом. Выпили бутылку коньяка. И говорили, говорили до сумерек.

Я впервые, кажется, вгляделся близко в Ю. К. Отличительная особенность его лица — мощные, грубые складки на верхней губе и меж бровей. Лицо — добродушное, ласковое. Волосы вьются. Несколько золотых зубов.

Говорили о войне. Он дал мне прочесть своё стихотворение об окруженцах. Я прочёл и ничего не понял. Он растолковал: два миллиона русских солдат, сдавшихся в плен (а верней, сданных своими генералами) сегодня прокляты в памяти народной:

Они сдаются? Поднимают руки?
Пусть никогда не опускают рук!

Он же сделал из этого образ: люди с поднятыми руками — это одна из опор мира, не слабей других. Он оправдал их, так как в сдаче в плен они не были виноваты.

Рассказал мне, что «власовцы» — ярлык. Власов спас Москву в 41-м году. А потом, в Чехословакии, бойцы его РОА пришли на помощь восставшей Праге — как братья-славяне.

Я спросил, как у него с публикациями, с книгами. Он ответил, что, наконец-то, «прорвало». В издательстве «Молодая гвардия» выходит книга стихов, совершенно новых, кроме одного старого стихотворения. Редактор, некий Зайцев, заставил, правда, убрать всю «пьянку» и всех «богов». Ещё в «Современнике» выходит книга и ещё однотомник «Избранного» в «Художественной литературе».

— Сразу получу восемнадцать тысяч!

— <…>

Я спросил: как, по его мнению, остаётся поэт в памяти народной — несколькими стихотворениями, или всем творчеством? Он ответил совершенно определённо: несколькими произведениями.

— Вот ты — останется у тебя «Страж»… ну, и ещё надо несколько. У Есенина, у Блока, у Пушкина, у Лермонтова в творческом наследии очень много лишнего… Тот же «Евгений Онегин» — сколько милой, гениальной болтовни! Остаться в литературе можно даже одним стихотворением…

Он подошёл к книжной полке, нашёл книжку из серии «Классики и современники» и прочёл стихотворение Туманского — о птичке, выпущенной поэтом на волю:

Вчера я растворил темницу
Воздушной пленницы моей.
Я рощам возвратил певицу,
Я возвратил свободу ей.
Она исчезла, утопая
В сиянье голубого дня,
И так запела, улетая,
Как бы молилась за меня.

— Вот! Он сумел передать живой трепет! И оно — живёт!..

Ещё говорили о язычестве. Я сказал, что интересуюсь язычеством, чувствую в себе склонность принять его. Он отнёсся к этому отрицательно, сказав, что все мы на протяжении многих веков испытывали влияние христианства и не можем быть язычниками, мы — христиане. Я упорствовал, говоря, что я христианин — головой, а сердцем могу быть и язычником. Тогда он снял с полки и дал мне книгу Рыбакова о язычестве древних славян.

Ещё обрывки из этих дней:

* * *

Я: — Во мне есть натиск!

Он: — Тогда тебе надо было родиться Киплингом!

Я: — Киплинг тоже был маленький — вот и стал резкий, боевой!

Он: — Нет, это чисто англо-саксонская черта.

* * *

Я: — Я развожусь с женой, Юрий Поликарпович.

Он: — Тогда тебе надо перебираться в Москву.

Я: — Мне и в Ярославле неплохо.

Он (смеясь): — Это комплекс провинциала!

Я: — В Москву… Я там стану клерком!

Он: — Не успеешь! Сейчас Россия в страшном напряжении, всё быстро, всё мгновенно ломается, всё на грани. Не успеешь!

* * *

— Говорят, что поэт Николай Дмитриев на вас молится…

— Да, он монографию обо мне написал.

* * *

Чуть ранее, с Дробышевым. Читает нам (предварительно сбегав в свой кабинет, отпечатав там на машинке текст и дав его нам):

Планета взорвана! И в ужасе
Мы разлетаемся во мрак.
Но всё, что падает и рушится,

Великий ноль зажал в кулак.

Держа былое и грядущее
В сосредоточенной горсти,
Он держит взорванное сущее
И голоса: «Не отпусти!».

Дробышев (брюзгливо):

— Что ещё за «великий ноль»? Опять ты со своими символами!..

Ю. К. (пожимая плечами):

— Откуда я знаю? Надо полагать — Бог…

* * *

Читал ещё стихи про Генеральный штаб… я их не запомнил, запомнил только комментарий к этим стихам: будто бы какой-то родственник Ю. К. там работает (брат?), и этот родственник вроде бы признался ему, что они там «занимаются не тем». Недавно вот устраивали «войну всех против всех» — и продули… При этих словах Ю. К., по обыкновению, насмешливо улыбнулся.

* * *

Я рассказал ему и Дробышеву, как лез недавно в Ярославле с пятого на четвёртый этаж через балкон (отпирал захлопнувшуюся дверь соседке), как было страшно, когда я посмотрел вниз…

— Никогда не смотри! — заорали они. — Не смотри вниз!

— Это сатана тебя смутил, — убеждённо сказал Ю. К.

Когда же Дробышев усомнился в существовании сатаны, Ю. К. воскликнул:

— Сатаны нет? Да он в каждом из нас! В каждом, сидящем здесь! И во мне…

* * *

(Обращаясь ко мне, со смеющимися глазами):

— Ты, функционер…

* * *

(Гневно):

— Они меня «пацифистом» называют… Да я же наношу удары направо и налево! Какой же я пацифист?

* * *

Проходит год, вместивший в себя очень многое — мой развод, размен квартиры, разъезд с бывшей женой, новую свадьбу… На работе у меня всё в порядке, газету мою хвалят, хотя

с цензурой порой приходится вступать в настоящие сражения; первая книга стоит в плане Верхне-Волжского издательства; я мечтаю о столичной книжке, часто выступаю перед ярославскими читателями. Новые стихи пишу с оглядкой на наставления Учителя: стараюсь быть искренним и думать только высокими категориями… хотя работа в газете ориентирует на прямо противоположное.

Он тоже помнит обо мне: на моём письменном столе лежит его новый сборник «Ни рано, ни поздно» с дарственной надписью: «Евгению Чеканову с пожеланием добра в нашем опасном мире. Юрий Кузнецов. 22.11.85». Вновь и вновь перечитывая эту книжку, я с радостью нахожу в ней стихи, ранее слышанные мною из уст автора, отголоски наших бесед с ним… Вот «На смерть друга», обличающее подругу Юрия Селезнёва, которая «отпрянула тенью от мёртвого тела» (я сразу вспоминаю разговор в ЦДЛ и возмущённую реплику Ю. К. «… уехала, бросив труп в Германии. Это — чёрт знает, что такое!»). Тут же — слышанное мною в тот же день «Учитель хоронил ученика…», о похоронах Селёзнева. Рядом — стихотворение «Другой», также явно написанное под впечатлением от этой смерти:

Светит луна среди белого дня.
Умер другой, а хоронят меня.
— Что за безумство! Что за безумство!

Рядом — «Знак»:

О древние смыслы! О тайные знаки!
Зачем это яблоко светит во мраке?
Разрежь поперёк и откроешь в нём знак,
Идущий по свету из мрака во мрак
И первый убийца на этой земле
Несёт, как проклятье, его на челе.

Из памяти моей тут же всплывает забытый было разговор с Юрием Поликарповичем об этом стихотворении:

— …они там, в издательстве, мне говорят: «Резали мы это яблоко — ничего не понимаем». Я им говорю: «Как вы резали? Там же ясно написано: „Разрежь поперёк“»!

При этих словах он берёт со стола яблоко, на моих глазах режет его ножом «поперёк» и показывает мне одну из половинок: пять тёмных семечек на светло-зелёном фоне явственно обозначают пятиконечную звезду…

Вот мини-поэма «Седьмой» с ужасным сюжетом: семеро бандитов насилуют старуху и один из них вдруг узнаёт в ней свою мать. Осознав, что произошло, бандиты решают смыть вину кровью и убивают друг друга; оставшаяся в живых мать оплакивает детей, их кровь смывает их вину… По привычке вслух читать близким поразившие меня стихи, я читаю эту поэму своей тёще, желая удивить её сюжетом — но старая женщина, крестьянка по происхождению, сбежавшая в город и всю жизнь протрубившая «на вредном производстве», реагирует совершенно неожиданным образом:

— Я эту историю знаю! Это у нас в Ярославле произошло! Я даже место тебе могу показать, где это было!

Подумав, я прихожу к выводу, что мой Учитель использовал так называемый «бродячий сюжет» — из тех, что на Руси всюду признают своим, «тутошним»… но ведь Ю. К. ничего не пишет просто так, он всегда вкладывает в свои стихи тайный смысл. В чём же смысл «Седьмого»? Уж не в том ли, что банда мерзавцев в уходящем веке буквально изнасиловала Россию — и в этом насилии участвовал, как это ни горько признавать, самый близкий ей человек? И всем нам, детям России, так или иначе участвовавшим в унижении нашей матери-Родины, предстоит теперь смыть эту вину собственным страданием и смертью?

Вот стихотворение «Я скатаю родину в яйцо…», заставляющее меня вспомнить, что на обороте одного из присланных мне писем рукою Учителя был начертан другой вариант этой строчки — «Я скатал бы родину в яйцо…». Вот «Фаэтон», читанный мне и Дробышеву («Планета взорвана…») — эти стихи тоже явно доработаны, вот «Духи», оставшиеся, кажется, неприкосновенными. Вот «Маркитанты» и «Стихи о Генеральном штабе», читанные год назад — здесь тоже, вроде бы, нет правки. Вот «Сталинградская хроника», с изуродованной редакторами концовкой «Ганс, срывайся! Они наступают!..»; концовка эта зачёркнута шариковой ручкой — и снизу твёрдым почерком Ю. К. начертан канонический текст: «Ганс, назад! Пусть они заседают!..»

Вот «Фомка-хозяин», ранее опубликованное в одном из журналов и давящее на мою психику тёмным предчувствием опасности, исходящей от Запада:

Фомка — изрядный хозяин двора,
Но не державы.
А на закате пылает гора,
Блики кровавы.

Глянь: полыхает! Но он не глядит,
Не замечает.
— Там ничего моего не горит, —
Так отвечает…

Через несколько лет, когда империя развалится на куски, я не раз вспомню это стихотворение, это мрачное пророчество Учителя — и в который раз пойму, что он, как всякий великий поэт, обладал мощным даром предвидения, прозревал в настоящем черты будущего… а в тот момент я понимаю это стихотворение по-другому: Фомка-хозяин не должен бояться ни кровавого «Запада-заката», ни раскатов грома над головой. Пусть мир «в пропасть летит» — что нам, русским, до этого? Надо стоять на своём, как стоит Фомка:

Топнул ногой, никуда не глядит,
Не замечает.
— Там ничего моего не летит, —
Так отвечает.

Так он стоит, и не сдвинуть его
С точки завета…
Может, и впрямь не летит ничего
С этого света.

Между тем в стране — оживление; у руля имперской власти встаёт Михаил Горбачёв, провозгласивший «ускорение»… никто, правда, толком не понимает, что это такое, но все чувствуют запах некоей «грядущей весны», особенно мы, газетчики. Весной 1986 года меня вновь вызывают в Москву, на «комсомольскую учёбу» — и я вновь стремлюсь попасть в дом на Олимпийском проспекте, в гости к Учителю…

23.04.86.

Позвонил. Он спросил:

— Ты надолго?

Я обиделся:

— Ну, часа на полтора-два…

— Нет-нет, надолго в Москву?

— Послезавтра уезжаю.

Он помолчал.

— Ну… может быть, завтра?

Я согласился.

На другой день, сбежав с выступления секретаря ЦК ВЛКСМ

Федосова, я устремился на поиски водки (с этим уже были проблемы, началась «борьба с пьянством»). Спросил у алкашей, где взять. Оказалось, что надо ехать шесть остановок, до улицы Строителей.

Приехал, увидел очередь… человек восемьсот, берут рюкзаками. Вернулся восвояси на Ленинский проспект и купил в «Варне» бутылку коньяка за 13–50.

Приехал на Олимпийский проспект. Меня ждали. Тут же раздался звонок, Батима взяла трубку.

— Юра! Это Катя Крупина…

Я понял, что Катюшке (17-летней дочери Владимира Крупина, студентке журфака, которую отец прошлым летом присылал ко мне в газету на практику), не терпится «позвонить на квартиру самому Кузнецову» — она тоже обожала его стихи.

Ю. К. сказал восхищённо:

— Ну, ты даёшь! Не успел войти, тебе уже звонят… Иди, бери трубку!

Поговорил с Катюшкой минуту, потом с Батимой — она всё удивлялась: неужели у Володи Крупина уже такая большая дочь?

Сели с хозяином в кресла. Он, как всегда, холодно помолчал минуты две, потом улыбнулся и спросил, как моя молодая жизнь. Я сказал, что отпустил жену в Питер, в аспирантуру, к античнику Фролову на обучение. Он хмыкнул:

— Что ж это за молодая семья?

— Я не мог разбить её мечты…

Разговор не вязался, я достал коньяк. Ю. К. матюгнулся. Сказал, что он пьёт только водку, но все почему-то идут к нему с коньяком — и только с этим, азербайджанским. Водки-то в магазинах нет, вот все и покупают коньяк…

— У тебя ещё ничего, за 13–50. А то все несут за 11–50, это — нечто убийственное!..

Заметил, что мне придётся выпить львиную долю, ибо он «сбавляет обороты». Батима принесла закусь. Привычно пожаловалась:

— И вы с бутылкой? Хоть бы один пришёл без бутылки…

Выпили, стали говорить. Он сказал, что сегодня в 21.40 его будут показывать по телевизору, он прочтёт и мои стихи (если не вырежут). Спросил, читал ли я дискуссию о нём в «Литературной газете».

— Нет. А кто спорит?

— Рассадин. Злобная статья…

— А за вас кто?

— Валентин Устинов.

— Это хорошо, что он стал секретарём, — заметил я, — он

вас любит…

Он помолчал.

— Зато меня другие секретари не любят, большие. Исаев… Я его, кстати, ругнул, когда записывали на телевидении. Вырежут…

Я спросил, какое сейчас время.

— Для меня-то хорошее. Стаж всё-таки. А молодые стонут…

Пошли речи о том, кто его душит.

— «В „Вопросах литературы“ очень злобная статья обо мне. Сколько злобы кругом…»

— А Друнину — натравили, или она сама? Тогда, в «Правде»…

— Конечно, натравили! Олег Чухонцев… я не знаю, конечно, как он ко мне относится, полагаю — лояльно… он сказал, что её после этого выступления — вообще больше нет. Не существует!

— Но хоть кто-нибудь в вашу поддержку выступает?

— Да есть… — ответил он нехотя. — Даже в ту же «Правду» предлагали материал обо мне… Евгений Осетров. Отвергли… Ещё профессор Фёдоров из Донецка пишет, поддерживает… Палиевский? Ну, он больше по прозе. Ильин? Да… Лавлинский? <…> Аннинский? <… >

— Но он же вас в «Венке критических сонетов» высоко поднял…

Ю. К. (усмехаясь):

— Он не может мне простить «Маркитантов»…

— А вот Дедков такой в Костроме есть… Он — кто?

Я сказал, что читал статью Кожинова в «Литературной России» о периодизации современной отечественной поэзии… Он махнул рукой:

— Ерунда всё это! Через двести лет останется только один поэт. Его и будут помнить. А кому нужны будут эти периодизации?

— А кто из молодых поэтов сейчас, на ваш взгляд, лучше всех пишет?

— Лапшин. Поэму написал. Был недавно.

— А Шелехов?

— Шелехова уже нет! Если б он мне по пьяному делу в морду дал — это бы ещё куда ни шло. Но после того, что он сделал — его нет!..

Его то и дело звали к телефону. Он вставал, извинялся, говорил, что сегодня день такой — косяком звонят.

— А много вообще у вас бывает народу, Юрий Поликарпович?

— Много.

— А чего все хотят?

— Урвать… — по обыкновению, насмешливо ответил он (и

мне тут же вспомнилась его давнишняя строчка «каждый хочет урвать от огня…»). — Недавно вот звонили две девушки из какой-то области… специально приехали, чтобы увидеться. Я сказал: нет, это невозможно!

В его отсутствие мы выпили с Батимой. Она спросила, почему я разошёлся с первой женой. Я ответил, что плохо жили. Спросил, в свою очередь, почему они не приехали на свадьбу мою (я приглашал). Ответила, что лень было собираться, готовиться… Ещё я спросил, чем она занимается. Оказывается, работает переводчицей в Верховном Суде — переводит с казахского, киргизского, украинского…

Вдруг ворвался Ю. К., сунул мне книжку своих переводов Ласло Надя.

— Прочти «Свадьбу»!

И опять ушёл звонить.

Этот поступок меня растрогал: разговаривая с другими, он думал о том, чтобы мне не было скучно! Вернулся, выпили ещё.

— Моя шестилетняя дочь, — сказал я, — тоже тут недавно стихотворение написала:

Цапля ногу подняла,
Плавно опустила.
Вот какие, брат, дела —
Цапля ногу подняла!

— Ну, что ж, — заметил он с той же насмешливой улыбкой, — некоторые взрослые дяди пишут и печатают ничуть не лучше…

Я сказал, что хотел бы подарить ему сюжет — и рассказал историю о змее и солдате, которую недавно поведал мне мой водитель: как русский солдат в Афганистане приручил змею, как она однажды обвила его и удерживала, шипя, целый час — и как потом он, поседев за этот час, пошёл к сослуживцам и увидел, что все они вырезаны душманами. Он слушал с интересом, по окончании поднял бровь, усмехаясь:

— Восточный сюжет…

Потом опять вышел на кухню, откуда то и дело раздавались телефонные звонки. Вскоре оттуда донёсся его громкий рассерженный голос:

— Но ведь меня же много лет, постоянно, принципиально не желают печатать в журнале «Наш современник»! Принципиально!..

Поневоле вслушиваясь в эту тираду, я почувствовал себя несколько сконфуженно: самого-то меня в прошлом году в этом

журнале публиковали дважды. Вспомнил, что Шитиков, завотделом поэзии, в ответ на мой вопрос на ту же тему (почему «Наш современник» не печатает Кузнецова) пожал плечами и показал глазами на потолок:

— Не знаю… главный не ставит. Мы взяли у Кузнецова для публикации «Сказку гвоздя»… не ставят… Это, брат, ты у начальства спрашивай, а не у меня.

Я стал бродить по кабинету Ю. К., вглядываясь в названия книг. Нагло бросил взгляд на его бумаги, лежащие на письменном столе, пробежал глазами несколько строчек… Как раз в это время он вернулся. Я спросил, кивая на бумаги:

— А разве «Сказка гвоздя» и «Пролог» — это часть одного целого? Я и не предполагал…

— А вот это уже нельзя, — сказал он мягко, но строго. И решительно отогнал меня от стола.

Допили коньяк, пошли смотреть телевизор. Он предполагал, что сюжет о нём вообще выкинут, — но вдруг, после Кондратьева и Быкова, на экране появились он и Кожинов. Вся семья радостно загудела и засмеялась: наша берёт! Папу по телевизору показывают!

Ю. К. прочитал несколько своих стихотворений, а потом моего «Стража». Сказал, что я, конечно, не свободен от заимствований, но в лучших стихах…

Это был триумф! Я бросился к телефону, позвонил Катюшке:

— Видела?

— Да! Да!

Звонили ещё какие-то люди, поздравляли Ю. К. Позвонил Кожинов. Я набрался наглости, попросил у Ю. К. трубку, поздоровался с Вадимом Валериановичем и попросил разрешения прочесть стихотворение. Тот сказал, что со слуха не воспринимает, и что если бы я не уезжал, то мы бы познакомились…

Потом говорили с Ю. К. о моём «Страже». Я сказал, что он навеян известным памятником в Мурманске. Ю. К. отозвался о памятнике резко отрицательно:

— Гадость! Истукан!

Я стал объяснять, что я писал, конечно, о другом, хотел передать то-то и то-то… Он оборвал:

— Ну, будем считать, что ты писал не об истукане.

Пора было уходить.

— Когда появишься опять?

— Не знаю. Может, осенью…

— Машина у тебя есть?

— Да… А что?

— Да… я думаю — может, и приехать когда бы в Ярославль. На рыбалку там…

— На рыбалку? Ну, это можно устроить!

— Да нет… не надо ничего устраивать. С удочкой посидеть, так просто… Да ладно!

Кажется, именно в этот мой приезд Батима провожала меня до трамвая (ей было по пути), разговор зашёл о семейной жизни.

— Трудновато вам с Юрием Поликарповичем, — осторожно заметил я. — Пьёт он много… такие, как я, наверно, валом к вам валят…

Батима махнула рукой:

— Я своим детям ещё давно сказала: «Ваш папа — гений, ему позволено всё!»

Через час из гостиницы я звонил Катюшке, пьяным и счастливым голосом рассказывал ей обо всём…

Через месяц, в майском номере «Нового мира» появляется письмо Марка Соболя «Прошу слова», адресованное Юрию Кузнецову: старый поэт-фронтовик нападает на моего Учителя за несколько строк о стихотворении Симонова «Жди меня» (несколько раньше в «Литературной учёбе» Юрий Поликарпович квалифицировал это стихотворение как агрессивный эгоизм чистой заморской воды, не имеющий ничего общего с народным воззрением на любовь). Соболь мечет громы и молнии, жалеет, что «дуэли отменены, а пощёчины подсудны», а затем в жалких, кое-как зарифмованных строчках наступает Юрию Поликарповичу на «больную мозоль»: напоминает, что он, Соболь, как и погибший на фронте отец Кузнецова, тоже воевал. И подначивает:

> Ну, а вдруг с отцом его делили мы
> На двоих табак да котелок?

Уверенный в том, что публикация письма Соболя — спланированная акция, призванная спровоцировать моего Учителя на ещё более резкие высказывания, я с трепетом ожидаю продолжения этой полемики. Слава Богу, скандал затухает в зародыше: видимо, Ю. К. просто не счёл нужным далее продолжать разговор. Тем более что по существу дела Соболь не сказал ничего, ловко подменив тему: Юрий Поликарпович говорил о мировоззренческом расхождении симоновского стихотворения с народным взглядом на любовь, а Соболь заявил, что критиковать «Жди меня» — значит кощунствовать.

Выстрел «Нового мира», таким образом, не достигает цели; лёгким эхом чуть позднее, на 8-м съезде писателей СССР прозвучит злобная реплика Друниной, половину своего

выступления посвятившей нападкам на Кузнецова (что-то там такое об отважной фигурке Соболя, одиноко взлетевшей на брустверк и никем не поддержанной), — но на этом дело и кончится. Впрочем, мне предстоит узнать об этих «невидимых миру» боях только через два года, когда будет опубликован стенографический отчёт писательского съезда. Пока что я осознаю только одно: война продолжается, и мой Учитель — на переднем крае.

Осенью 1986 года я с помощью Сергея Хомутова «пробиваю» ещё одну свою книжку — она должна выйти через год в Москве, в библиотечке журнала «Молодая гвардия»; редактор — Игорь Жеглов. Юрий Поликарпович благосклонно соглашается написать к этой книге вступительное слово. Кроме того, стихи мои должны через год появиться ещё в двух коллективных сборниках издательства «Современник», надеюсь я и на публикацию в новом «Дне поэзии». Начиная с весны 1985 года, меня регулярно публикует в «Нашем современнике» Сергей Викулов (а тираж у этого журнала вдвое больше, чем у «Дня поэзии» — аж 220 000); проскакивает подборочка в «Волге»; на подходе давным-давно поставленная в план Верхне-Волжского издательства книга стихов «Ночная тревога»… я начинаю всерьёз подумывать о вступлении в Союз писателей СССР и о будущем уходе на «вольные хлеба». В трудах и ожидании проходит год.

И вот наступает осень 1987 года… мы с женой возвращаемся из поездки на юг и вдруг в вагоне я вижу девочку-подростка, читающую мою первую столичную книжку «Осветить лицо». Значит, книжка уже вышла в свет? Я узнаю её по давно известному мне рисунку: на юное лицо набегает лунный лик… всё-таки слишком прямолинейно понял художник название! Ну да ладно, самое главное — книжка уже появилась в продаже, её покупают и читают! Я выскакиваю на перрон на каждой остановке — и вот, наконец-то, в одном из киосков «Союзпечати» покупаю единственный имеющийся там экземпляр. Вот она!.. я держу в руках первую собственную книгу, изданную в Москве! Вновь перечитываю свои стихи и, в который уже раз — предисловие, написанное Учителем:

«Приход каждого молодого дарования всегда радует: ещё одна надежда, ещё одно обещание. Правда, радость тревожна: а исполнится ли обещание? Это покажет время.

Евгений Чеканов обещает. Он не блуждает в метафорических туманах, не вязнет в рутине абстракций, а ищет точного слова. Видение его не расплывчато, а конкретно, у него верные ориентиры: родина, добро, правда. Родина даёт ему твёрдую почву под ногами, а добро и правда — свет и путь.

Конечно, по пути в страну поэзии не обошлось без посторонних влияний, но Чеканов строг к себе и намерен их преодолеть. Стих его предметен, зорок, чётко сфокусирован, бытовые сцены, житейские мелочи, полные потаённого смысла, следуют в стихах одно за другим, как кадры в кино. Он хочет много схватить, увидеть. При этом молодого задора и напористости ему не занимать.

Я всё начинаю сначала,
Я снова хочу побеждать.

Он по натуре боец и хочет побед. Похвально. Но есть ли они у него? Есть. Впрочем, пусть об этом судит читатель. Я укажу одну безусловную победу. Это стихотворение „Страж Заполярья“.

Имя есть. Но не так уж и важно,
Как потомки его нарекли.
Быть осталось ему — только стражем
Этой каменной русской земли.
Только стражем! Ни милым, ни мужем,
Ни весёлым и сильным, отцом…
Эти облики вымело стужей
И сожгло беспощадным свинцом.

Тут и сила, и мужество, и беззаветная преданность Родине, а главное — краткость. Так оно и должно быть: большое чувство немногословно.

Юрий Кузнецов».

Проходят ещё три недели; я еду в Москву на очередную «комсомольскую учёбу», везу с собой предназначенные для дарения экземпляры обеих книжек («Ночная тревога» тоже уже вышла в свет) и шесть бутылок водки — напряг со спиртным в стране продолжается.

30 сентября вновь попадаю на Олимпийский проспект, вновь поднимаюсь на 15-й этаж… а спустя примерно месяц записываю для памяти, «как оно было».

…10.87.

Вновь та же квартира, та же комната. Батима с кухни здоровается со мной, как со старым знакомым. Да я и есть старый знакомый!

— Вы ещё не член Союза? — спрашивает она.

— Нет ещё. Собираюсь только.

Ю. К. в добром расположении духа.

— Ну, как там «ускорение» у вас идёт? — спрашивает он насмешливо.

— Да так… — машу я рукой.

— А ты знаешь, что в переводе с восточных языков означает «ускорение»?

— ?

— «Пилить струны»!

— «Пилить струны»?

— Да!

— Как это?

— Ну, струны… их обычно перебирают, создавая музыку, гармонию… А тут пилят! — и он делает движение рукой, будто что-то пилит ножовкой.

Тут уж и до меня доходит — и мы вместе с ним хохочем.

— Ну, что — вышла твоя книжка?

— Вышла… — Я открываю дипломат, подаю ему «Осветить лицо». Заодно и бутылку водки ставлю на стол.

— Ага… — листает он мою книжечку. — Это что ж такая тоненькая? Это разве книжка? Сколько листов? Один и три… Что, много вырезали?

— Да вроде нет… А вы посмотрите — ваше предисловие не сократили?

Внимательно читает.

— Нет, всё так… А твой редактор говорил — трудно идёт, будут резать. Ну, что ж… вон тебе комсомол даже свечку на обложке нарисовал!

— За полгода вышла, — хвастаюсь я. — А у вас ничего вскоре не выходит?

— Какой быстрый! — качает он головой. — Поднимает рюмку. — Ну, давай! За твои успехи!

Закусываем. Разговор идёт о членстве в Союзе писателей. Ю. К. говорит, что хотя бы одну рекомендацию надо брать у себя в организации. Правда, бывают и исключения. Например, он дал не так давно рекомендацию Юрию Доброскокину: того в Воронеже душили, не принимали, и он прошёл в СП, минуя Воронеж.

— Да и у меня тоже… неизвестно, как будет, — замечаю я. — Есть враги…

Речь заходит о приёмной комиссии СП РСФСР. Юрий Поликарпович перечисляет всех, кто, кроме него, туда входит.

— Ну, а всё-таки русские люди перевес имеют?

— Разные есть… Вон Романов, вологодский… Недавно такую чушь нёс! Это ж уши вянут, что он говорит!

— Так ведь и у нас такие же! — кричу я, уже опьяневший. —

И у нас! Бездари! А всех талантливых называют жидами!

Выпиваем ещё по стопке. Я спрашиваю, каково его мнение о Емельянове, о «Памяти».

— Читал я эту «Десионизацию»! — машет он рукой. — Да ну… Что, до Емельянова никто с Сионом не боролся? И с масонством тоже… Ты что же, хочешь под знамёна Емельянова? Брось… Начни-ка его внимательно читать — обнаружишь ложь. Там у него богатырь кресты с церквей сбивает из лука… Это что же — и Сергия Радонежского долой? Прокол! Начнёшь дальше читать — опять прокол… «Единый антимасонский фронт»… Да он же сам масон! Ы? Сам масон!

Смеётся, показывая золотые зубы. Он удивительно смеётся — сразу становится похожим на лопоухого мальчишку.

Разговор о «Памяти» продолжается. Я рассказываю ему то, что Вячеслав Кузнецов однажды рассказал мне и Вовке Кудрявцеву — как «Дим Димыч» в своё время их, «отцов „Памяти“», выщелкал из «Памяти».

— Вот, ты даже так знаешь… — удовлетворённо говорит Ю. К. — Я этого не знал. Я вообще далёк от этой «Памяти». Васильев этот… он своим крайним антисемитизмом, может быть, всё дело портит, своими криками…

— Может, это провокация? — предполагаю я. — Специально такого Гапона новоявленного подталкивают, чтобы опорочить всё движение…

— Ну, я не знаю. Это ты политик, — смеётся Ю. К. — А я всего лишь идеолог…

Выпиваем ещё. Разговор идёт.

— Пишут про вас опять, Юрий Поликарпович, в «Литобозе».

— Ругают?

— Хвалят.

— Не читал. Раньше всё читал, что обо мне писали, а потом бросил.

— А Глушкова половину книги вам посвятила. Хлещет вас, что есть мочи.

— Это личное, — убеждённо говорит он. — Она сначала очень мной интересовалась, всё ходила, указывала мне, что писать, что не писать, командовать начала. Это не говори, это говори, туда ходи, туда не ходи… Мне надоело, я сказал: «Вон!..»

Ю. К. делает мощный жест. В эту минуту он величественен.

— «Вон!..» — говорю. С тех пор она на меня и злится…

Я дарю ему «Осветить лицо» с дарственной надписью «Моему любимому неускоряющемуся поэту». Показываю новые стихи. Он хвалит одно, о старухе, плетущейся с рюкзаком, но рекомендует усилить его следующим образом: «жизнь стоит на месте»

заменить на «мы стоим на месте».

— Мы стоим, а она всё-таки идёт! Ы?

Говорит, что написал недавно эссе о женской поэзии, даёт мне его прочесть. Мне западают в память строчки: «рукоделие — тип Ахматовой, истерия — тип Цветаевой…»

Домой я добираюсь на «автопилоте»: всё-таки выпили мы с ним на двоих литр водки. Правда, закуска была…

* * *

Середина ноября 1987 года; наверху — некоторый откат назад от «перестройки» и «гласности», Ельцина из верхнего эшелона выкидывают. Вообще, кажется, возвращаются прежние времена: из обкома ВЛКСМ мне поступает указание перепечатать из «Комсомольской правды» статью ведьмы Лосото «„Божественная“ полемика». Я не верю секретарю обкома комсомола, сказавшему мне об этом, звоню в Москву заведующему сектором печати Юрию Пилипенко: правда ли это?

— Правда, — говорит он. — Это — указание вышестоящих товарищей…

Впрочем, всё это меня не так уж сильно трогает. Я занят своими делами: пишу стихи, готовлю документы для вступления в СП СССР, вечерами усердно читаю книгу Сергия Нилуса «Близ есть при дверех», данную мне на несколько дней под страшным секретом. В эти дни мне на новой квартире ставят, наконец-то, телефон — и я звоню Ю. К., чтобы сообщить ему свой номер.

— Юрий Поликарпович!

— Да.

— Это Чеканов.

— А! Здорово!

— Мне телефон поставили. Вот звоню, чтоб вы записали номер.

— Ага. Сейчас. Ну, как твои дела?

— Рекомендации собираю. До Нового года велели сдать.

— Ага. Ну, хорошо. Как молодецкие силы?

— Втянули головы. И смотрят, что там у вас происходит.

— А! Как черепахи?

— Ага. Ну, вы пишете?

— Кое-что.

— Нет, номер записываете?

— Сейчас, вот ручку принесут. Ну, давай… Та-ак… Ну, хорошо.

— Звоните, если что. Извините, что побеспокоил.

— Ну, давай!

В декабре политическая ситуация в стране становится ещё более тягостной. Один из моих сотрудников, съездив на слёт «неформалов», рассказывает ужасные вещи. В своём дневнике я записываю:

«…происходит то, чего и следовало ожидать, — они хотят сломать государство… Их враги — государство и „великорусский шовинизм“. А „неформалы“ эти — альтернатива прогнившему комсомолу. На слёте этом, оказывается, прямо говорили о том, что в середине 90-х годов у нас будет гражданская война… Похоже, что в стране налицо противоборство четырёх сил <…> Есть, конечно, и другие группировки, но эти видны невооружённым глазом. У них имеются даже свои собственные журналы и газеты. На Ярославском моторном заводе недавно произошла стачка, была демонстрация. КГБисты у нас в редакции выступали, заявили: „Это — не наше дело, пусть сами там, на заводе, разбираются…“»

За политической ситуацией я, таким образом, кое-как слежу и некоторые тенденции, кажется, улавливаю — но все мои душевные устремления направлены по-прежнему к литературе. В это время я получаю письма от Владимира Бояринова и Петра Палиевского: оба пишут мне добрые, хорошие слова. Палиевский, как и Юрий Поликарпович в своё время, отмечает в лучшую сторону стихотворение «Враг» (то бишь «Эпизод»), а Бояринов присылает книжку с дарственной надписью. Присылает свою книгу и литовский поэт-верлибрист Витаутас Бложе, с которым я несколько лет назад познакомился, когда лечился в Друскининкае, — Бложис меня очень любит и ценит.

14 января 1988 года на собрании ярославских писателей меня «на ура» принимают в Союз писателей — из 17 присутствующих 17 голосуют «за». Таким образом, начинает сбываться моя многолетняя мечта — стать членом СП СССР. Теперь можно готовиться и к уходу из осточертевшей журналистики… я начинаю было вести тайные переговоры о своём переходе из газеты в краевое книгоиздательство, на пост главного редактора. Но вскоре приходит весть: коллектив издательства против меня, мешает моё газетное амплуа «агрессора».

Весной того же года я готовлю рукопись третьей поэтической книги для издательства «Современник», отдаю стихи в журналы «Москва» и «Молодая гвардия», где мне благоволят; в мае еду в Мурманск на семинар молодой поэзии Севера. В сентябре меня принимают в СП СССР уже в Москве. А в октябре я совершаю поездку к автору рецензии на мою грядущую третью книжку — поэту Виктору Лапшину. Живёт он в Костромской области, в

городе Галиче; увидевшись как-то на одном из писательских сборищ, мы договорились встретиться — и вот я еду к человеку, который, как и я, «вырван из бездны» Юрием Кузнецовым…

…Проходят почти полтора года, в течение которых мне доводится раз пять-семь побывать в гостях у Юрия Поликарповича. Разговоры с ним я уже не записываю (о чём впоследствии очень сожалею), ибо считаю, что ничего нового к его портрету мои записи более не добавят. Я уже называю его на «ты» и разговариваю с ним почти на равных; наши встречи проходят по одному сценарию — мы пьём, закусываем, обсуждаем его и мои стихи, треплемся обо всём на свете…

Во время одной из встреч я рассказываю ему о своей поездке к Виктору Лапшину, живописую детали этой встречи, рассказываю о Витином сыне-инвалиде. Внимательно выслушав, Ю. К. морщится:

— Правильно я не поехал… он ведь приглашал меня. Я — очень впечатлительный… очень впечатлительный! Правильно сделал…

Осенью 1989 года выходит в свет его очередной сборник «После вечного боя». Я нахожу в нём стихотворение «Голубь» — и сразу вспоминаю рассказ Ю. К. о мальчике из еврейской семьи, который кричал прохожему, отобравшему у детей голубя: «Дяденька, что ж вы делаете, его ж продать можно!» Раздумье моего Учителя о глубинных корнях такого поведения (откуда это в них? почему это так глубоко в них?) вылилось в стихотворении в чеканные строки, проникнутые христианским мироощущением:

Курчавый Ицек подскакал, как мячик,
И человека начал осаждать:
— Отдайте мне!
— Зачем тебе он, мальчик?
— Поймите! Я бы мог его продать!

Звенело что-то в голосе такое
Глубокое, что вздрогнул человек.
— Пускай летает, — и взмахнул рукою.
— Пускай летает! — повторил навек.

Всё видела и слышала старушка,
Дремавшая у господа в горсти.
И, как в бору печальная кукушка,
Запричитала: — Боже, возврати!

Так, значит, есть и вера, и свобода,

Раз молится святая простота
О возвращенье блудного народа
В объятия распятого Христа.

Для меня эти строки становятся почти открытием: неужели Юрий Поликарпович всерьёз верит, что иудаизм — всего лишь «заблуждение» евреев, что Христос, раскинувший в вечной крестной муке свои руки, до сих пор ждёт, что в его объятья возвратится и «блудный народ»? Может быть, и так… хотя в самом стихотворении об этом возвращении молится не автор, а старушка (олицетворяющая, естественно, русских). Автор же убеждён только в том, что «есть и вера, и свобода» — и применительно к поднятой теме это, наверное, можно понять так: эта вера и свобода есть, прежде всего, у нас — русский православный народ доселе верит, что путь к Христу для евреев не закрыт, свободен, мы верим, что именно по этому пути они, в конечном счёте, и пойдут…

Вообще, по сравнению с прежними книгами, в этом сборнике христианское начало явлено гораздо резче, это бросается в глаза. Вот «Портрет Учителя» — прямо об Иисусе Христе. А «Ложные святыни», «Видение», «Число» — это борьба с сатанизмом, пришедшим на русскую землю… похоже, Юрий Поликарпович окончательно утвердился на позициях ортодоксального православия. Или он всегда на них стоял — а я, по недомыслию своему, раньше об этом просто не задумывался как следует?

Листаю сборник: многие из этих стихотворений Ю. К. читал мне во время наших встреч. Вот про «свечу закона и солнце благодати»… помнится, как-то Юрий Поликарпович обмолвился, что хочет перевести на современный язык «Слово о Законе и Благодати» митрополита Илариона — эта тема явно оттуда. Вот «Родное»… так значит, Будённый и Махно — это не враги, а братья?.. для меня, выпускника советского истфака, такая логика — почти открытие. Вот знаменитое «Откровение обывателя», читанное мне ещё в самом начале горбачёвской «перестройки» и опубликованное затем в «Новом мире»… так и вижу перед собой перекошенное яростью лицо Учителя, слышу его возмущённый голос:

Кем мы втянуты в дьявольский план?
Кто народ превратил в партизан?
Что ни шаг, отовсюду опасность.
«Гласность!» — даже немые кричат,
Но о главном и в мыслях молчат,
Только зубы от страха стучат,

Это стук с того света, где ад.
Я чихал на подобную гласность!

А вот и триптих о Ленине, который мне, давно уже ненавидящему «Ильича», не совсем понятен: так «за» или «против» Ленина стоит мой Учитель? Окончательно ли он определился в своей позиции?

Вот «Захоронение в Кремлёвской стене», высмеивающее геронтократов, стремящихся попасть в историю России хотя бы в виде коробочки с прахом; вот «Полёт» — о пролёте ангела над Чернобылем… и я сразу вспоминаю реплику Юрия Поликарповича:

— Эти места вообще загадочные… я пролетал над ними. Даже названия там такие… Страхолесье, например… Об этих местах, кстати, ещё Вернадский писал…

Вот «Превращение Спинозы», «Молчите, Тряпкин и Рубцов…», «Наваждение»… всё это я уже слышал. А вот «В деревне», написанное, как мне кажется, после моих рассказов о своих предках (похоже, Ю. К. эти рассказы запали в душу, и он тоже кое-что предпринял для исследования собственной родословной).

Любовная лирика представлена тоже… несколько сильнейших стихотворений на эту тему потрясают меня. А вот «переделанные анекдоты» оставляют иное впечатление: неужели Юрий Поликарпович полагает такую переделку делом перспективным?

В сборнике есть несколько переводов, обозначенных как «стихи, созданные по мотивам» — Байрон, Китс, Мицкевич… а вот и перевод «Пьяного корабля» Артюра Рембо. Эти переводы меня, ранее не знакомого с этой стороной творчества Ю. К., прямо-таки ошарашивают: оказывается, мой Учитель легко вживается в мироощущение каждого из этих поэтов, таких разных… он чувствует себя в разных стихиях, как рыба в воде! «Пьяный корабль» буквально пьянит меня, я перечитываю его множество раз — и постоянно спрашиваю сам себя: в чём же причина? это Рембо гениален — или перевод?

Новая книга ещё раз убеждает меня в том, что мой Учитель находится на переднем крае — переднем крае русской поэзии, русской философии. Сам же я в эти времена продолжаю печататься в «Нашем современнике» и даже удостаиваюсь некоторых нападок во враждебной этому журналу прессе: моё стихотворение «Гроздь», которое кое-кто в редакции викуловского издания именует чуть ли не «манифестом», некий Анатолий Пикач поливает в «Литературной газете» зловонной грязью…

впрочем, это вызывает у меня лишь радость: если я не нравлюсь врагам — значит, стою на верном пути. Книга моя в издательстве «Современник» готовится к выходу в будущем году, я связываю с ней большие надежды, много пишу нового.

Нашему знакомству с Ю. К. скоро двадцать лет; в своих мыслях и записях о нём я уже позволяю себе не только восторженные оценки… Вот запись середины зимы 1990 года.

13.02.90.

Вчера узнал, что Ю. К. <…>. А когда по телефону ему позвонил какой-то молодой поэт из Одессы, он, подбоченившись, говорил в трубку:

— Вы что? Я Блока критикую! А вы кто? На что вы надеетесь?

Я, конечно, списал это поведение на то, что он был пьян… но вот в чём штука: я это не у него одного наблюдаю. Таков же и мой ярославский приятель К. — когда его избрали в бюро писательской организации, он напился пьян и стал качать пальцем у моего носа, говоря:

— Ну, теперь твоя песенка спета!..

Откуда эта фанаберия, это хвастовство, «купечество»? Реакция на прежнюю загнобленность? Национальная черта?

Да ведь и я такой же, особливо в пьяном виде! Ничуть не лучше. Эх, русачки…

Болтали о том, о сём. Он собирается в Японию, в туристическую поездку. Я спросил о смысле «Запломбированного вагона».

— Речь о том, что идея — пустая, — ответил он, — матрос хотел увидеть, что за идею привёз вагон, открыл — а вагон пустой.

— Но это ведь ещё Мор с Кампанеллой выдумали…

— Да-да-да!.. Это эти гады, утописты…

Тем временем в стране мало-помалу начинается брожение. В конце февраля в Ярославле по призыву «межрегиональной депутатской группы» проходит митинг против «партократии», за «многопартийность», собравшиеся машут лозунгами «Руки прочь от Гдляна — Иванова», «Сахаров — совесть нашей страны» и т. д. В дневнике я записываю:

«Вот странный оскал времени — главное противоречие затушёвано, выступает в облике борьбы между якобы „консерваторами“, „стагнатами“ — и якобы „радикалами“. И надо быть либо за тех, либо за этих. А я — ни за тех, ни за этих, я — за русских. Но так, оказывается, нельзя. Нельзя быть „за Россию“, надо — либо за Россию „стагнатов“, либо за Россию „радикалов“… И вот я думаю: почему же так — нельзя? И кому это надо, чтобы так было нельзя? Кому это выгодно? И ещё

думаю: а ведь это всё уже было в нашей истории, было… Что же, опять: сын на отца и брат на брата?»

Журналистская работа осточертевает мне, я буквально рвусь из газеты — и именно в это время, в начале весны 1990 года предлагаю свою кандидатуру на пост главного редактора журнала «Русь», который создаётся у нас в Ярославле. Но неудачно: «братья-писатели» не видят меня в этой роли, я для них — не слишком правоверный «русофил»… а кое для кого, пожалуй, и «жид». Кажется, именно в это время мне приходится услышать почти анекдотическую историю: в писательском домике на улице Терешковой сидят два местных литератора-«русофила», пьют водку и клеймят евреев. На улице — тёмная ночь, двери домика заперты изнутри на ключ, кроме этих двух людей, в помещении больше никого нет. И вот, пугливо оглянувшись, один из литераторов шёпотом (!) говорит другому:

— Слушай, а Чеканов — не еврей?..

В истории с «Русью» меня больше всего поражает поступок того самого К., которого я за пятнадцать лет близкого знакомства привык уже считать своим другом: при обсуждении моей кандидатуры он заявляет буквально следующее: «Если Чеканов станет редактором, он нам всем тут башки пооткручивает!»

Спустя много лет этот человек вновь начнёт набиваться мне в друзья, будет объяснять, что, мол, «тогда я тебя боялся», а потом, после моего отказа возобновить прежние отношения, напьётся в хлам — и весь вечер будет то костерить меня на чём свет стоит, то плакаться в жилетку своей сожительнице… но тогда, в марте 1990 года, он вместе с другими «ярославскими писателями-патриотами» закроет мне дорогу, о которой я давно мечтаю, — и «толстый» литературный журнал я создам только через полтора десятка лет.

Моё огорчение в эти весенние дни 1990 года несколько скрашивает весьма лестное предложение, поступившее от обкома партии: возглавить единственную в области партийную газету «Северный рабочий» с тиражом 120 000 экземпляров. Очевидно, мою кандидатуру в местном «Белом доме» считают «срединной», устраивающей и коммунистов, и «демократов». Я, однако, наотрез отказываюсь от этого предложения (о чём впоследствии буду неоднократно жалеть). Мотивировка всё та же: я хочу быть писателем, а не журналистом…

Мои творческие устремления подогреваются очередной серьёзной публикацией в «Нашем современнике»; стихи для неё отбирает Юрий Поликарпович, с недавних пор сотрудничающий с этим журналом, поэтому подборка получается весьма солидной — а одно стихотворение из неё вскоре перепечатывает нью-йоркская

газета «Русский голос». Я узнаю об этом от своего знакомого, работника местного издательства.

— Мне тут ребята из КГБ газетку принесли с твоими стихами, — звонит он, — зайди, возьми на память.

Я захожу, беру: и правда, Нью-Йорк. Однако!.. не зря свой хлеб едят ребята, каждый чих отслеживают, — думаю я. — Наверно, в Конторе Глубокого Бурения на меня специальное дело заведено, вот и эта газетка в особую папочку аккуратно ляжет…

В начале сентября мы с Юрием Поликарповичем встречаемся вновь; на память об этой встрече у меня остаётся книга его переводов «Пересаженные цветы», которую я специально везу из Ярославля в Москву, дабы получить дарственную надпись. В поезде ещё раз листаю её и ещё раз убеждаюсь в безусловном поэтическом гении Юрия Кузнецова. Перечитываю ту самую «Свадьбу» Ласло Надя…

> …радуйся, море, стоим мы и тихо цветём
> на каменистом утёсе, открытые миру
> по приказанию белых, как пена, бород,
> за руки взявшись, конца церемонии ждём…

…вновь с восхищением погружаюсь в магическую стихию «Пьяного корабля»…

> …Ледники, перламутровый свет, водопады,
> Глубь фиордов, сосущий провал пустоты,
> Где кишащие вшами гигантские гады
> Наземь падают, с треском ломая кусты…

…со священным ужасом знакомлюсь впервые с творчеством сербохорватского классика Мирослава Крлежи…

> …хлев на трёх столбах дымится, словно это на холме
> тридцатью тремя ходами брезжит мельница во тьме,
> тайна ада в рваных тряпках, тьма в расстроенном уме,
> зад елозит, как на санках, в своём собственном дерьме —
> это яд бесовских лакомств, поклонение чуме…

И тут живо вспоминается мне, как в одну из предыдущих встреч Ю. К., как раз в те времена переводивший этого самого Крлежу, тыкал пальцем в эту строфу и говорил мне с гордостью:

— Очень близко к оригиналу!..

Впрочем, в этот период Юрий Поликарпович, кажется, более всего гордится своей работой над «Орлеанской девой» Фридриха Шиллера; в ответ на какой-то мой вопрос относительно перевода этой романтической трагедии он замечает горделиво:

— Текст так и льётся… — и даже показывает рукой, как льётся его поэтическое слово.

Я показываю ему газету «Русский голос» с моим стихотворением:

— Юрий Поликарпович, а меня в Америке опубликовали. Это из той подборки в «Нашем современнике» перепечатали, из тех стихов, что ты отбирал…

Он мельком смотрит, удовлетворённо хмыкает. И подытоживает:

— Та подборка — лучшая твоя публикация на сегодняшний день.

Я дарю ему свою третью московскую книжку «Место для веры», только что вышедшую в «Современнике». А домой увожу книгу переводов с дарственной надписью: «Евгению Чеканову с надеждой на образование (!!!). Ю. Кузнецов, 4.09.90 г.» — так Учитель «подкалывает» меня, намекая на моё, и вправду, крайне недостаточное знание мировой литературы.

В конце ноября 1990 года Юрий Поликарпович приезжает ко мне в гости: он задумал купить дачу и просит меня подобрать на Ярославщине домик. Я нахожу где-то в Некрасовском районе домушку, подходящую по цене, он приезжает, смотрит… а потом категорично говорит о требующей ремонта избе:

— Нет, не подниму!

Ночует в этот день он у меня дома; это — первый и последний его визит ко мне. Меня поражает его вид: он сильно похудел и уже не так могуч, как прежде.

Пить он, однако, не бросает — и мы пьём и у меня дома, и в электричке, по пути в райцентр… помню, что в вагоне мне становится плохо и я долго стою в холодном тамбуре, приходя в себя; он же тем временем читает мою новую книжку, изданную, по новой моде, за свой счёт. Когда я возвращаюсь, он признаётся, что над одним стихотворением даже всплакнул — и я с тех пор, читая или показывая кому-то свои «Ладони», не устаю хвастливо повторять: «Над этим стихотворением плакал Юрий Кузнецов!»

Вскоре в моей судьбе начинаются перемены. Из газеты я, как и намеревался, ухожу — почти в никуда, с временным маленьким «приварком» в виде зарплаты заведующего литературным отделом этой же редакции. Параллельно создаю первое в своей жизни предприятие. «Проев» за год вместе с коллективом из трёх человек приличную сумму денег, данную мне «на развитие»,

создаю ещё одну фирму, беру кредит в банке, покупаю бумагу, размещаю заказы в типографиях, покупаю грузовик… в общем, всячески пытаюсь стать предпринимателем. Результат печален — предприниматель из меня никакой, я бьюсь, как рыба об лёд, и с каждым месяцем беднею.

В стране свирепствуют «рынок» и «демократия», каждый выживает, как умеет; особенно интересны метаморфозы, происходящие с «комсомольцами». Мой бывший начальник из ЦК ВЛКСМ редактирует порнографическую газету; бывший секретарь нашего обкома комсомола становится важным лицом в губернии и, по слухам, тут же даёт крупный валютный кредит известному городскому фарцовщику, почему-то поставленному накануне моего ухода из редакции на должность заведующего отделом пропаганды обкома ВЛКСМ. Другой бывший секретарь обкома ВЛКСМ торгует крупными партиями разного товара и, между прочим, «подводит под монастырь» поручившуюся за него свою приятельницу, тоже бывшую комсомольскую функционерку. Та не платит требуемых денег — и бандиты бросают в окно её квартиры гранату… всё в квартире разносит в клочья. Ещё один бывший «комсомолец», инструктор нашего обкома ВЛКСМ, чеченец по национальности, закачивает из ухтинской скважины на наш нефтеперерабатывающий завод на 18 миллиардов нефти и, получив от этой сделки свои десять процентов, собирается покупать себе «пятисотый» мерседес… но вскоре, взорванный зарядом пластита, гибнет в лифте вместе с приятелем.

Мне, такому же бывшему «комсомольцу», члену бюро обкома ВЛКСМ, бросившему журналистику ради литературы, очень скоро становится ясно, что я совершил ошибку. Поэтам при новом режиме живётся, пожалуй, тяжелее всего, ведь они умеют делать хорошо только одно — профессионально работать со словом… но это уже никому не нужно. От Вити Лапшина идут просьбы «помочь с табачком» (почему-то он думает, что в Ярославле с этим проще, чем в Галиче); ярославские литераторы стонут и ропщут на жизнь; некогда весёлый и шумный домик писателей на улице Терешковой наполняется почти гробовой тишиной.

Я продолжаю пописывать стихи, хотя в них преобладает лишь озлобленность и отчаяние; к Учителю уже не езжу и ничего о его жизни не знаю. И всё-таки встреча между нами происходит… но какая!.. через два года на одном из столичных рынков, где мы с напарником торгуем розничным товаром, я издалека замечаю мощную фигуру Юрия Поликарповича — одетый в свой длинный, чёрный кожаный плащ, он мрачно идёт между рядами, медленно приближаясь ко мне… и я не выдерживаю! Я сбегаю, покидаю своё место в торговом ряду. Я не хочу, чтобы Учитель видел меня

торговцем!

Несколько раз он снится мне — и всё время либо как-то очень странно, либо при странных обстоятельствах… В середине ноября 1993 года, кое-как заклеив дырку на подошве сапога своей жены (мы уже обеднели настолько, что у меня нет денег на покупку ей новой зимней обуви), я около двух часов ночи ложусь спать… вижу себя в гостях у Юрия Поликарповича: в ожидании близящейся выпивки сижу на кухне, Батима хозяйничает.

— Ну, как вы живёте? — вежливо интересуется она.

— Да так… — машу я рукой, — на выживание…

И тут меня будит реальный звонок в дверь: на пороге стоит мой знакомый, полусумасшедший местный стихотворец, бывший ранее пару раз у меня в гостях. Он весь трясётся:

— А я к тебе! Понимаешь, очнулся в сугробе… надо похмелиться…

— Да ты что, Серёга! — шёпотом ору я. — У меня спят все! Ночь на дворе! Какие ещё опохмелки!

Тот делает изумлённые глаза и, извинившись, ретируется; а я, тихонько матерясь от возмущения, вдруг бросаю взгляд на часы — они показывают совсем не ночное время, а семь утра. «Кто это приходил?.. Серёга ли? — вдруг приходит мне в голову мистическая мысль. — Может, это была проверка? И я её не выдержал… прогнал посланца…»

* * *

В самом конце года в жизни моей всё волшебно меняется. Оставив мелкий бизнес, я устраиваюсь в мэрию, становлюсь чиновником и начинаю получать твёрдую зарплату, на которую могу вполне сносно существовать; кошмарный призрак бедности разжимает свои костлявые пальцы, уже почти сомкнувшиеся на моём горле. На радостях я обзваниваю друзей-приятелей, поздравляя их с новым, 1994-м годом. Звоню и Ю. К. (пожалуй, впервые за три последних года).

— Здравствуйте, Юрий Поликарпович! Это Евгений Чеканов, Ярославль. С Новым годом вас!

— А, ты ещё жив…

Голос Учителя мрачен, к разговору Ю. К. явно не расположен. Но я всё же продолжаю:

— Жив ещё… Самого доброго хочу вам пожелать, а главное — здоровья…

— Ну, ладно, привет… — говорит он, явно заканчивая разговор.

— Пока… — упавшим голосом говорю я.

Похоже, Ю. К. обижен на меня… что ж, он где-то и прав — я пропал из поля его зрения на огромный срок. Но со своей натурой я всё равно ничего поделать не могу: когда жизнь меня прижимает, я предпочитаю не «светиться», на свет Божий вылезаю, только будучи «в добром здравии».

Проходят ещё почти полтора года; я тружусь пресс-секретарём областной думы, редактирую созданный мною же думский журнал. Бедность давно позади, я зарабатываю достаточно, чтобы прокормить семью; стихи помаленьку пишутся.

В апреле 1995 года еду по делам в Москву и впервые за последние четыре с половиной года решаюсь показаться на глаза Учителю. Вот запись об этом.

13.04.95.

Позавчера был в Москве, занёс стихи в «Наш современник» и «Литературную Россию», побывал на парламентских слушаниях (слушал стенания районных газетчиков об их проблемах), пил водку с Димкой из Костромы, бывшим редактором тамошней «молодёжки». Потом поехал к Ю. К.

Юрий Поликарпович обеднел: получает тысяч 200 в «Современном писателе» и ещё 400 тысяч в Литературном институте; Батима — 200 тысяч. По московским меркам, они — нищие.

Батима встретила меня фразой:

— Надо было ту домушку покупать!

Я ей поддакнул. Но Поликарпыч непреклонно заявил:

— Нет! Мне её было не поднять!

Покурили, побежали за выпивкой на улицу. Ю. К. стал очень осторожен в выборе напитков: подойдя к двум киоскам, внимательно осмотрел ассортимент — и отверг всё, и лишь в третьем велел мне брать «Белый аист».

— Остальное — отрава!..

Выпили и, как всегда, заспорили — о выборе жизненного пути, о детях.

— Юрий Поликарпович, семья ваша бедствует, у Батимы зубов нет… судьба детей ваших непонятна… Так что главное — поэзия? Или всё-таки, как Розанов говорил, наши дети, «с их тёмным и милым будущим»?

— Поэзия!

— А как же дети?

Он (в страшном гневе, выпучив глаза):

— Да что ты говоришь? Что ты говоришь?!..

Узнал новости. Все московские русофилы в страшной нищете, один Куняев держится. Куча всяческих русофильских начинаний

развалилась.

Я смотрел на него и вслух сокрушался: ну, как же так? Пускай «за взгляды» его никуда не берут на жалованье, но неужели в столице нет ни одной семьи из «новых русских», которая, например, взялась бы платить великому поэту… ну, хотя бы за «национальное воспитание» их детей?

Ю. К.:

— Нет! Зачем им это?

И с улыбкой горечи добавил:

— Вот так, бодрячок…

— Это я к вам приехал бодрячком! — сказал я с обидой. — А все эти годы я жил плохо…

Обменялись мнениями по поводу «политических стихов». Я сказал, что в такое время, какое мы сейчас переживаем, почти невозможно удержаться от сочинения всякого рода гневных инвектив в адрес власти, не загубить поэзию политикой. Он горячо меня поддержал, сказал, что политика просто съела в последнее время многие русские таланты, но что сам он, однако, смог «удержаться», остался художником.

Общее впечатление: стал проще. Осталось то, что и было вначале — хороший мужик, талантище, отец семейства. Старшая дочь работает бухгалтером, получает 150–200 тысяч. Младшенькая оформилась в хорошенькую полуказашку: фигурка, ножки, глазки…

Вскоре в моей судьбе происходят новые изменения: оставив чиновную карьеру, я решаю вернуться в провинциальную журналистику, участвую в конкурсе на должность главного редактора вновь создаваемой областной газеты — и легко выигрываю. Наступают горячие денёчки: нужно поставить газету на ноги. Начинать приходится буквально с нуля, но опыт издательской и редакторской деятельности не проходит даром: я быстро набираю коллектив, и новая газета начинает с августа того же года регулярно выходить в свет. Накануне нового, 1996 года я звоню Учителю и поздравляю его с наступающим праздником.

Ю. К.:

— Ну, как ты там?

— Да так… Снова вернулся в газету…

— Ну, держись!

Я кладу трубку, вполне удовлетворённый: помнит, старый чёрт! И погружаюсь в размышления… да, ничего нельзя отринуть в жизни, ни старую любовь, ни старую вражду — всё остаётся с нами.

В новой должности я вынужден проявлять себя прежде всего

как коммерческий директор — покупаю бумагу, нахожу оптимальные варианты размещения заказов, много времени посвящаю работе с типографией и почтовиками. Газета выходит в свет ежедневно, поэтому времени на стихи остаётся совсем мало… но всё же кое-что мне удаётся сочинить и в эти месяцы.

11 февраля 1996 года Ю. К. исполняется 55 лет; накануне я публикую в редактируемой мною газете полосу его стихов, с портретом и редакционной врезкой. Во врезке пишу то, что думаю:

«Юрий Кузнецов — живой классик русской литературы. Это ясно не только его поклонникам, но и врагам (по крайней мере, тем из них, кто не утратил литературного вкуса и способности адекватно оценивать действительность). Над бездной современного виршеплётства, над буграми и высотками отечественной поэзии его имя высится и сверкает подобно вершине Эвереста.

Завтра Юрию Поликарповичу исполняется 55 лет. Поздравляя своего дорогого учителя с юбилеем, я хочу пожелать ему добра и ясного неба, радости и удачи в нашем мире, ставшем в последние годы куда более опасным, чем прежде. А ещё — терпения и веры. И, конечно же, новых прекрасных стихотворений.

Евгений Чеканов».

Несколько экземпляров этого номера я посылаю Учителю на его домашний адрес: а вдруг ему будет приятно, хоть он, вроде бы, и презирает газеты…

* * *

Осенью, как раз в день своего рождения, попадаю в Москву и заезжаю к Ю. К.; на память об этой встрече у меня остаётся его новая книга с характерным названием «До свиданья! Встретимся в тюрьме» и дарственной надписью: «Евгению Чеканову в день его 41-летия с пожеланием удач. Ю. Кузнецов, 19 сентября 96 г.». В этой книге есть и «Афганская змея», написанная на подаренный мною сюжет: я с удивлением вижу, что Ю. К. практически ничего не изменил в моём рассказе.

— Концовку только… — говорит он, слегка шевеля в воздухе пальцами, — но это… так…

— А почему солдат у вас присел? Я вам этого не рассказывал.

— Я подумал: а как же змея смогла его обвить? И понял: от страха он присел!

В книге, как всегда, множество потрясающих стихотворений — «Цветущий шиповник», «Пульс», «Жена-сомнамбула», «Струна»,

«Уроки французского»… да всего не перечислить! Стихотворение «Стояние» живо напоминает мне один из наших прошлых разговоров — о стихотворении моей дочери про цаплю… похоже, Юрий Поликарпович ничего не забывает и многое из застольных разговоров использует в качестве материала для стихов.

Он уже не употребляет спиртного и вследствие этого выглядит лучше, чем бывало; в кабинете я замечаю новшество: большой портрет его отца в военной форме. Похоже, он уже не так сильно бедствует; да и в семейной жизни у него, кажется, наступил перелом к лучшему… по крайней мере, некоторые из появившихся в печати его стихов, датированные 1994-м годом, ясно говорят мне об этой перемене, о его благодарности по отношению к Батиме, достойно пронесшей по жизни крест, выпавший на её долю.

В моей же собственной жизни всё, как раз наоборот, туманно: употреблять спиртное я тоже прекращаю, зато уж в остальном себе не отказываю. Последующие годы я проживаю очень бурно, волны «рынка» и личной жизни швыряют меня из стороны в сторону, словно щепку, пишу я мало и лишь в 2001-м году удосуживаюсь издать новую, шестую по счёту книгу стихотворений «Дождь в империи»; между ней и предыдущей книгой лежат десять лет. Зато следующие два сборника выпускаю в свет быстро, в течение года. У этих книжек ничтожный тираж, распространяются они только в пределах Ярославщины… но я уже давно понял, что это — не главное. Главное — чтобы стихи были написаны.

В новом веке я вновь, мало-помалу, начинаю публиковаться в столице: стихи появляются в журналах, коллективных сборниках. Из присланного мною Юрий Поликарпович, ставший к этому времени заведующим отделом поэзии «Нашего современника», отбирает приличную подборку — и она появляется в последнем номере этого журнала за 2001 год. Через полтора года судьба вновь заносит меня в Москву: я ношусь с идеей регионального литературного журнала, прошу у Ю. К. стихи. Он отказывает, мотивируя это тем, что всё, им написанное, немедленно публикуется в общероссийской прессе — но беседуем мы по-прежнему самым задушевным образом.

Я жалуюсь на то, что Василий Белов тоже не захотел дать мне что-нибудь новое, и передаю мою с Беловым телефонную беседу.

— Я говорю: Василий Иванович, вы же пишете о Гаврилине сейчас… дайте хоть одну главу! А он: нет, ничего у меня нового нет, Евгений… э-э-э… Феликсович? И так это «Феликсович» произнёс… вижу: отчество моё ему кажется весьма подозрительным. Я ему: побойтесь Бога, Василий Иванович, мы

же с вами вместе ещё пятнадцать лет назад в одном журнале у Викулова печатались! Он опять подозрительным голосом: «Мало ли с кем я знаком…» И сразу начинает про Грешневикова спрашивать. Я говорю: Толя в чистую политику ушёл, а я политикой не занимаюсь, моё дело — литература… Он опять: «Не занимаетесь политикой? Нет, нету у меня ничего нового…». Вот так и поболтал с гением русской прозы…

— Ну, — ухмыляется Ю. К. — он уже не от мира сего…

Говорим о журнальной работе. Он сетует на скудость современных поэтических талантов на Руси («есть края и области, где совершенно нечего взять… всё выжжено!..»), советует мне завлекать авторов в журнал гонораром («хоть по пять рублей за строчку!»), я оставляю ему новые стихи — и отбываю в Ярославль в полной уверенности, что Учитель мой находится в добром здравии.

И вдруг, как гром с ясного неба, приходит весть: 17 ноября Юрий Кузнецов скончался! Моментально собравшись, еду в Москву и застаю в квартире на Олимпийском проспекте плачущую Батиму и её племянницу; обе в чёрных платках. Тело покойного уже увезли в больницу, дочки там же. Весь в слезах, я хожу по кабинету Учителя, по той самой комнате, в которую я с трепетом вошёл впервые ровно двадцать лет тому назад. Книги, книги… И повсюду — его фотографии разных лет. Вот и та, которую когда-то сделал я…

Оказывается, это инфаркт, и уже не первый; о первом он никому не сказал.

— Легко ушёл, — утешаю я Батиму. — Хорошие люди уходят без мучений…

— Это его распад Союза подкосил, — плачет она. — Он очень переживал… Как же мы теперь будем жить? Все на Юрке держалось… Женя, садись, супу похлебай.

Племянница приносит тарелку супа, но мне кусок не лезет в горло. Я уезжаю, чтобы приехать через два дня, на похороны. Везу с собой несколько экземпляров газеты с написанным мной некрологом:

«Русская культура в трауре: на 63-м году жизни в Москве после сердечного приступа скончался один из самых глубоких поэтов XX столетия, классик русской национальной литературы, наш современник Юрий Кузнецов. Мастер поэтического слова, въяве изменявший на наших глазах сам процесс развития отечественной литературы, он был и останется знаменем для всех тех, кому дороги Россия, русская культура, русское слово. Скорбя вместе со всеми, кто осиротел в этот горький час, мы вспоминаем сегодня его строки:

Бог свидетель, как шёл я при жизни —
Дальше всюду и дальше нигде
По святой и железной отчизне,
По живой да по мёртвой воде.

Я нигде не умру после смерти
И кричу, разрывая себя:
— Где ловец, что расставил мне сети?
Я — свобода! Иду на тебя!».

На прощальной панихиде в Центральном Доме литераторов меня опять душат слёзы. Лицо Учителя спокойно и величаво; лишь иногда (когда кто-то из говорящих над гробом несёт уже явную чушь) он, как мне кажется, иронически улыбается. Станислав Куняев руководит панихидой; выступают Сергей Есин, Феликс Кузнецов, Валентин Распутин… все говорят то, в чём я был убеждён ещё четверть века тому назад: Кузнецов — русский гений, уровня Александра Блока или выше.

Похоронный автобус везёт тело к церкви, что рядом с ЦДЛ; мне доводится вкупе с другими втащить полированный, тёмно-красный гроб в православный храм; наступает момент прощания. Священник произносит надгробное слово. В руках у двух сотен людей горят восковые свечи; слышно, как в гулкой тишине попискивают мобильные телефоны, такие чужеродные и этому храму, и стихам Ю. К.… и я сразу вспоминаю его угрюмо-безнадёжные строки о XXI веке:

Зачем мы тащимся-бредём
В тысячелетие другое?
Мы там родного не найдём,
Там всё не то, там всё чужое…

Еду на кладбище, в Троекурово; оказывается, похоронить Ю. К. поближе и попрестижнее власть не разрешила. Что ж, долг платежом красен: он всю жизнь презирал её и ни разу, сколько я помню, не сказал о ней доброго слова.

Я бросаю горсть земли на гроб; выпиваю стопку водки за упокой души. Мной почему-то овладевает спокойствие. О чём горевать? Мой Учитель сделал в этой жизни всё, что намеревался. Ну, разве что не написал поэму «Вознесение в Рай», последнюю из цикла поэм о Христе. Но главное он сделал — то, о чём мечтал в юности, когда бил кулаком по столу и восклицал: «Я переверну всю эту литературу!»

Может быть, не всю литературу… но русская поэзия теперь никогда не сможет сделать вид, что в ней не было Кузнецова. Правильно сказал кто-то из выступавших над гробом: влияние его теперь будет только нарастать.

На поминках я сижу рядом с Куняевым и Есиным; Станислав Юрьевич говорит, что не доверит отдел поэзии никому, будет сам отбирать стихи. Говорю Есину, что лучший профессиональный анализ поэзии Ю. К. сделал, на мой взгляд, Кирилл Анкудинов из Майкопа… оказывается, он даже не слышал этого имени. Пьяненький Олег Кочетков почти срывается на истерику, Евгений Рейн сидит молча. Включают плёнку с записью голоса покойного — и спокойный, торжественный голос моего Учителя плывёт над залом:

Мы тёмные люди, но с чистой душою.
Мы сверху упали вечерней росою.
Мы жили во тьме при мерцающих звёздах,
Собой освежая и землю, и воздух.
А утром легчайшая смерть наступала,
Душа, как роса, в небеса улетала.
Мы все исчезали в сияющей тверди,
Где свет до рожденья и свет после смерти.

История моих встреч с Юрием Кузнецовым на этом, однако, не заканчивается, а продолжается самым мистическим образом. 29 декабря, в канун нового, 2004-го года я сижу у себя дома, за компьютером — и вдруг чувствую совершенно непреодолимый позыв ко сну. Веки мои слипаются, я ложусь в постель и тут же засыпаю. Через три часа меня будит телефонный звонок.

— Женя! Это вы? Это Батима Кузнецова. Знаете, мне Юра приснился. Сказал: «Позвони Че…», а дальше я не расслышала. Стала перебирать, кого я знаю на «Че…», только двоих и вспомнила — с одним в школе в Казахстане училась, но тут явно не о нём речь… Я думаю, что это о вас. Я вам уже много раз звонила, но у вас всё короткие гудки…

— Это так модем отвечает, я часто в Интернете сижу, — говорю я, совершенно оглушённый этим звонком. — Батима, но это же чистая мистика! Вы знаете, я только сегодня закончил писать воспоминания о Юрии Поликарповиче… а тут вы звоните… Это что ж получается? Получается, что он оттуда контролирует процессы, идущие здесь! Батима, это мне знак: я должен показать вам эти воспоминания…

— Ну, хорошо, присылайте, — говорит она. — У Кати есть электронный адрес, сейчас она вам продиктует…

Мы болтаем ещё минут двадцать. Она спрашивает моего совета о том, публиковать ли ей куски «Рая», расспрашивает о бывшем на поминках писателе N… к сожалению, я уже так далёк от столичных разборок, что ничего вразумительного сказать не могу.

Повспоминав покойного, мы заканчиваем разговор. Холодок потустороннего присутствия лижет мне затылок, я никак не могу прийти в себя. Значит, Учитель прочёл то, что я написал — и решил, что написанное может при публикации как-то повредить его семье… или мне? Тогда нужно немедленно отослать эти материалы вдове!

13 января вновь звонок Батимы, она прочла мои записки.

— Женя, вот об этом можно публиковать только лет через двадцать… а об этом — года через два-три хотя бы… Если вы сейчас это опубликуете, нам тут будет не выжить… И про этого не надо сейчас писать! Ну его…

— Ваше слово для меня — закон, — говорю я ошарашенно. — Вообще-то я уже и так многое убрал, об очень многом не написал, что знаю… Хорошо, я всё уберу, что вы сочтёте нужным…

— Через двадцать лет опубликуете! А сейчас не надо… ладно?

— Конечно-конечно, — успокаиваю я её. — Вы порежьте, что сочтёте нужным… и сбросьте мне на электронный адрес ваш вариант…

Разговор заканчивается. Но ещё долгое время спустя я мысленно возвращаюсь к этой ситуации, думаю о том, что случилось.

«Вы попали в поле притяжения мощной звезды… как бы вам от меня избавиться?» — эти слова Юрий Поликарпович произнёс два десятилетия тому назад. И они верны до сих пор. Звезда по имени «Юрий Кузнецов» продолжает излучать в пространство мощные гипнотические волны, светя мне и после смерти. Прах физического тела моего Учителя истлевает на Троекуровском кладбище, но дух его неуничтожим и духовная длань его так же сильна, как и четверть века тому назад.

«Что это было в моей жизни?» — шепчу я, сидя в своём Ярославле за письменным столом. — «С кем я был знаком? Кто это был? Он читает то, что я написал… он читает самого меня, Господи!..»

Январь 2004 г., Ярославль

Евгений Феликсович Чеканов родился в 1955 году в Кемерово. Автор сборника стихов «Место для веры», выпущенного в Москве в 1990 году.

Живёт в Ярославле.

Михаил Шаповалов. И поле широко, и небо высоко

Зазвонил телефон. Я поднял трубку, говорил Саша Герасимов, студент Литературного института:

— Умер Юрий Поликарпович Кузнецов…

Ещё один из плеяды славных, чьё признание произошло на моём веку. В давнем своём стихотворении он писал:

Вчера я ходил по земле, а сегодня
Хоть бейте мячом — моё место свободно.

А в мире, я слышал, становится тесно…
Займите, займите — свободное место!

Но «занять» его некому. Поэты такого масштаба не ходят в литературе «косяком».

С Юрием Кузнецовым я был знаком с институтских лет. Держался он обособленно, своего общества не навязывал, в кругу «заводил» не блистал. Памятен мне один наш ранний разговор. В общежитии на кухне мы столкнулись по одному делу: и у него, и у меня на ужин запланирована была жареная картошка. Пока её чистили, мыли, готовили — разговорились. С чего начали, не помню, но «вышли» к Лермонтову. Кузнецов спросил:

— Любишь Лермонтова?

— Да, конечно.

— А за что?

Я высказался.

Кузнецов кивнул, и это можно было посчитать за знак согласия. Но тут он подхватил сковороду с жареной картошкой и отбыл из кухни. Я остался в недоумении — разговор был явно не окончен. Но Кузнецов для себя что-то выяснил, а собеседника оставил без своих «корректив». К такой манере общения не всякий готов.

Известность Юрию Кузнецову принесла «Атомная сказка». В то время как пропаганда славила то одну, то другую победу науки и «светлое будущее», поэт с болью высказался о бесчеловечном опыте над царевной-лягушкой. «Сказка» кончалась убийственным сарказмом:

В долгих муках она умирала,

В каждой жилке стучали века,
И улыбка познанья играла
На счастливом лице дурака.

Вот так! Это была авторская дерзость. В поэзию пришёл неудобный талант.

Самоутверждение Кузнецова поддержал Вадим Кожинов, известный литературовед, позднее — историк и культуролог.

— У меня душа оттаивает, — признавался он, — когда я его слушаю.

Дружба двух русских людей, причастных слову, останется в анналах нашей литературы.

Газетчики и литературная критика долго не могли привыкнуть к поэтике Юрия Кузнецова. Возмущались его антиэстетичностью, издевались над абсурдностью его мысли, над его русским сюрреализмом. Лирический герой кузнецовских книг (а часто прямо — я, Юрий Кузнецов) своими высказываниями дразнил «линейные» умы, эпатировал. На страницах многих изданий, как пример нелепости, отмечалась кузнецовская строчка «Я пил из черепа отца…» Заведующий редакцией, где мы с Кузнецовым работали в издательстве «Современник», В. И. Чукреев говорил, удивляясь:

— Руку бы дал на отсечение, что с такими стихами не пробьёшься.

Но Кузнецов пробился. Заставил с собой, как автором, считаться. В поэтическую летопись о Великой Отечественной им вписана баллада «Возвращение» об убитом отце. Я прочитал её своему отцу — солдату, ветерану войны. Он сказал:

— Страшная картина… И выстраданная… Это видишь. Кто автор?

…Неподалёку от ЦУМа располагалось в 70-е годы кафе «Арарат». Войдёшь — во всю стену цветное изображение библейской горы, под ней диваны, а зал разделён деревянными перильцами на открытые купе. В каждом — столик. Там однажды вечером мы сидели втроём: Ванцетти Иванович Чукреев, Юрий Кузнецов и я. Зал быстро заполнялся, и гул голосов креп. Кузнецов рассказывал нам о долгих сутках Карибского кризиса, во время которых он был в составе армейской бригады на острове:

— Войну вдали, вот-вот… Нервы у всех на пределе… Спали по два-три часа, не раздеваясь, с оружием в обнимку… Американцев ненавидели и готовы были по команде разнести все Штаты к чёртовой матери…

Я не выдержал:

— Но ведь Третья мировая окончилась бы атомной катастрофой.

Кузнецов пропустил мои слова мимо ушей, продолжил:

— Когда дали «отбой», у большинства на лицах читалось не облегчение, нет, а — досада… Я же сел писать письмо домой: здоровье моё в порядке, кормят хорошо, не беспокойтесь. Домашние, понятно, не знали, что я на Кубе.

Появилась официантка и стала расставлять по столу салатницы и тарелки с земными яствами, а в центр водрузила бутылку армянского коньяку. И мы воздали еде и питью должное.

Издавали по нашей редакции книги авторов малых народов Российской Федерации. Юрий Кузнецов курировал поэзию. Как-то я подал ему тощую папку подстрочников одной поэтессы из Махачкалы со своим редакторским заключением. Он прочитал заключение. Усмехнулся:

— Всё правильно ты написал. Убедительно. Рукопись возвращаем. Но учти, сие — всего лишь передышка. Всё равно её придётся издавать.

— Почему? — возмутился я. — Здесь нет книги.

— Не будь наивным. Расул Гамзатов просил нашего директора обратить внимание на рукопись молодой талантливой даргинской поэтессы… Понял? — Кузнецов смотрел на меня иронически. Чего ж тут было не понять.

Рукопись отправили в Махачкалу, но дней через десять она вновь лежала у меня на столе. Судя по всему, автор даже не читала моего заключения, ничего не исправила, ни страницы не добавила. Настойчиво на имя директора просила включить книгу в план наших изданий. Я доложил ситуацию Кузнецову. Лицо его исказила гримаса:

— Ладно, не переживай. Что-нибудь придумаем.

Не могу поручиться за давностью, но скорее всего «молодая талантливая» книгу на русском «пробила»: её сочинили поэты-переводчики.

Память — субстанция причудливая. Одно прочно хоронит, другое, независимо от значимости, сохраняет на уровне почти зримом. Когда я думаю о Юрии Кузнецове, в сознании возникают разные эпизоды.

…Большая редакционная комната. Все редакторы в сборе, за своими столами. По радио идёт трансляция выступления «дорогого Леонида Ильича». Во рту у генсека «каша», треть слов не понять. Слушать такое тяжело и стыдно. Но все уткнулись в бумаги, ни у кого не хватает мужества встать и выключить радио, висящее на стене. Неожиданно в комнату быстро входит

Кузнецов, брезгливо морщится и выдёргивает штепсель из розетки. Проходит в малую комнату-кабинет. Наступает тишина. Мы переглядываемся.

…Электричка спешит в Троице-Сергиев Посад. Я — в тамбуре, здесь прохладнее. Перед очередной остановкой «видение»: из вагона в тамбур выходит Кузнецов, держа за руки двух смуглых девочек. Поздоровались.

— В Лавру? — спросил он.

— Да… давно с женой собирались.

— Надо! — сказал он, словно печать поставил.

…В последний раз я видел Юрия Кузнецова в особняке на Комсомольском проспекте. Он стоял внушительный, как памятник себе, и жадно курил. Мы не виделись несколько лет, однако диалог наш вышел лапидарным:

— Как живёшь? — выдохнул он после затяжки.

— Терплю, — отозвался я.

— Мы все терпим, — подтвердил он.

Я хотел разговора о его последних публикациях, но его кто-то окликнул, Кузнецов кивнул мне и ушёл.

Когда я думаю о Юрии Кузнецове, я слышу его голос:

Завижу ли облако в небе высоком,
Примечу ли дерево в поле широком, —
Одно уплывает, одно засыхает…
А ветер гудит и тоску нагоняет.

Что вечного нету — что чистого нету.
Пошёл я шататься по белому свету.
Но русскому сердцу везде одиноко…
И поле широко, и небо высоко.

В августе 1976 года он подарил мне книгу своих стихов «Край света — за первым углом», надписав: «Михаилу Шаповалову на добрые воспоминания, на успех безнадёжного дела».

Прошли десятилетия, пожелания поэта сбылись.

г. Подольск,
Московская обл.

Михаил Анатольевич Шаповалов родился 1 января 1942 года в Таганроге. В 1967 году окончил Литинститут. Первую книгу стихов «Грусть о снеге» выпустил в 1966 году. Много лет занимается также историей русской литературы XIX–XX веков.

Приложение

Юрий Кузнецов. Письмо в Тихорецк

Уважаемый Евгений Михайлович!

Прежде всего благодарю земляков и Вас лично за юбилейные поздравления. Правда, благодарность моя запоздала, но лучше поздно, чем никогда. Я прочитал все присланные Вами газетные вырезки. Впечатление такое, что я свалился тихоречанам, как снег на голову. Поэтому авторы заметок цитировали моё предисловие к «Избранному» и выдержки из письма, посланного мною в «тихорецкую литературную общину». Тут авторы заметок не перевирают. Что до остального, то — сплошь неточности и причуды воображения. Так в номере «Тихорецких вестей» за 8.02.2001 года помещена групповая фотография, где запечатлён Ваш покорный слуга в окружении… «тихорецких любителей поэзии». Уточняю. Группа снята в 1977 году в краснодарском сквере, примыкающем к ул. Гоголя. Кроме меня, слева направо: Юрий Сердериди — человек неопределённой профессии, Иван Даньков — краснодарец рязанских кровей, пишущий плохие стихи, Валерий Горский — мой друг золотой — потемневшая тень Краснодара, и Евгений Чернов — тоже мой друг, в то время собкор «Комсомольской правды». Но Сердериди и Даньков — тут люди случайные.

Заметка Генриха Ужегова — плод его фантазии. Как в песенке брежневских времён: «Что-то с памятью моей стало: то, что не было со мной, помню». С Ужеговым на Кубани я никогда не общался. И видел я его всего, так сказать, полтора раза. Один раз это произошло, когда он приезжал в Москву, кажется, в 1995 году. А на остальную половину раза приходится необычное имя Генрих, прозвучавшее давным-давно. Это могло быть после августа 1964 года, когда я вернулся с Кубы, и дальше в неопределённом времени. Кажется, в Тихорецке мы с В. Горским шли по улице, и к нам подошёл случайный человек, перебросился с Горским двумя-тремя фразами и удалился. «— Кто такой?» — спросил я, а мог бы и не спросить. Горский помялся и неопределённо ответил: «— Да так, Генрихом звать, тоже стихи пишет».

Вот и всё о Генрихе, который, оказывается, меня знал по школе № 3. Что это за школа, не помню. Я сменил несколько школ, и тогда у школ были другие

номера. А литгруппу при газете «Ленинский путь» я посетил два-три раза, не больше: мне там нечего было делать. Ходил ли туда В. Горский, не знаю. С ним я познакомился в 1958 году. Мы подружились.

В 1957 году с нами в одном доме по ул. Меньшикова, 98 (ныне там пустое место) жил некто Павлов, собкор газеты «Советская Кубань». Это он мне посоветовал писать на рабочую тему. С его лёгкой руки я послал своё стихотворение о трактористе в газету «Ленинский путь». Через две недели оно было напечатано. То-то было радости! А ведь стихотворение «дежурное», слабое. Вскоре в редакции «Ленинского пути» я познакомился с главным редактором. Это был Григорий Арсениевич Дзекун, добрый человек и большой патриот Тихорецка. Это он поведал мне анекдот о Марке Твене. И охотно продолжал печатать мои серые стихи, про которые мне стыдно вспоминать.

Моя мать была в ужасе, что я всё время пишу стихи, вместо того что делать уроки… А ксерокопия газеты с моим первым напечатанным стихотворением, которую мне любезно прислали, пригодилась для оформления пенсии, ибо трудовой стаж члена Союза писателей исчисляется со дня первой публикации. Видите, как всё прозаично.

Теперь о родне. Свою родню я знаю только по материнской линии, да и то неглубоко. Мой прадед Прохор лежит на кладбище в деревне Лубонос Шиловского района Рязанской области.

Мой дед Василий Прохорович Сонин родился в 1879 году в деревне Лубонос, тогда Касимовского уезда. Умер в 1958 году в станице Тацинской Ростовской области, где и похоронен.

Моя бабка Елена Алексеевна Сонина (в девичестве Громова) родилась в той же деревне, и была на три года старше деда. Умерла в 1952 году и похоронена на тихорецком кладбище. Это была набожная старушка. Благодаря ей сестра и я были крещены в тихорецкой церкви. После её смерти наш дед продал хату и переехал к сыну Ивану в станицу Тацинскую.

Мой дед по отцовской линии был скотопромышленником средней руки, имел несколько табунов. Умер в 1908 году. Из каких русских мест он приехал на Ставрополье, неизвестно. Вероятно, из степных российских губерний: воронежской или

тамбовской. Кроме моего отца, у него было ещё три старших сына. Двое из них умерли незадолго до 1917 года, а третий умер глубоким стариком в селе Александровское в 80-х годах 20 века.

Мой отец Поликарп Ефимович Кузнецов родился в 1904 году на Ставрополье. Погиб 8 мая 1944 года в Крыму на Сапун-горе.

Моя мать Раиса Васильевна Кузнецова (в девичестве Сонина) родилась в Астрахани в 1912 году. Умерла в 1997 году в Новороссийске, похоронена на тихорецком кладбище.

Мой брат Владилен Поликарпович Кузнецов родился в 1930 году на польской границе, где отец служил пограничником. Несколько последних лет он прожил пенсионером в Тихорецке, где умер в 1996 году и похоронен на здешнем кладбище.

Моя сестра Авиета (по крещению Валентина) Поликарповна Внукова родилась в 1935 году в селе Попёнки на бессарабской границе, где служил отец. Живёт в Новороссийске.

У деда с бабкой было пятеро детей: Дарья, Раиса, Василий, Иван и Анна. Теперь в живых осталась одна Дарья, рождения 1908 года. Тянет свой век в Новосибирске.

В Тихорецке до сих пор живёт младшая двоюродная сестра матери. Мы с сестрой останавливались у неё два раза: когда хоронили брата, а потом мать.

Актёра М. Кузнецова, кроме как в кино, я в глаза не видал. Он просто однофамилец.

Моё отношение к Тихорецку самое тёплое и нежное.

Не знаю, удовлетворят ли мои ответы любопытных тихоречан, но должен заметить, что вопросы мне задали чисто внешние и не главные. Ведь главное — моё творчество. Но о нём ни звука. А ведь о моих стихах написано и наговорено больше, чем о всех современных поэтах вместе взятых… Эх, милые земляки, ох, родное захолустье! И зачем-то вы вспоминаете мои слабые детские поделки! Это всё равно что хвалить Гоголя за ранний бездарный опус «Ганц Кюхельгартен» или Некрасова — за первые подражательные «Мечты и звуки».

Пожалуй, всё.

С пожеланием здоровья!

Ю. Кузнецов

352120, Тихорецк, Краснодарский край, ул. Меньшикова, 82

Редакция газеты «Тихорецкие вести»

Сидорову Евгению Михайловичу

Краткая библиография

Поэтические сборники Юрия Кузнецова на русском языке

Гроза: Стихи. — Краснодар: Кн. изд-во, 1966. — 80 с. — 4 000 экз.

Во мне и рядом — даль: Стихи и поэма («Дом»). — М.: Современник, 1974. — 112 с. — 10 000 экз.

Край света — за первым углом: Стихи и поэмы. — М.: Современник, 1976. — 142 с. — 18 000 экз.

Стихи. — М.: Советская Россия, 1978. — 224 с. — 25 000 экз.

Выходя на дорогу, душа оглянулась: Стихотворения и поэмы. — М.: Молодая гвардия, 1978. — 112 с. — 40 000 экз.

Отпущу свою душу на волю: Стихи и поэмы. — М.: Советский писатель, 1981. — 96 с. — 25 000 экз.

Русский узел: Стихотворения и поэмы. — М.: Современник, 1983. — 224 с. — 25 000 экз.

Ни рано ни поздно: Стихи и поэмы. — М.: Молодая гвардия, 1985. — 96 с. — 30 000 экз.

Душа верна неведомым пределам: Стихотворения и поэмы. — М.: Современник, 1986. — 72 с. — 20 000 экз.

Золотая гора: Стихотворения и поэмы разных лет. — М.: Советская Россия, 1989. — 112 с. — 25 000 экз.

После вечного боя: Стихи. — М.: Советский писатель, 1989. — 112 с. — 38 000 экз.

Стихотворения и поэмы / Вст. статья Вадима Кожинова. — М.: Детская литература, 1989. — 206 с. — (Поэтическая библиотечка школьника). — 100 000 экз.

Стихотворения. — М.: Молодая гвардия, 1990. - 256 с. — (Биб-ка избранных стихотворений: БИС). — 35 000 экз.

Пересаженные цветы: Избранные переводы / Предисл. Вадима Кожинова. — М.: Современник, 1990. — 400 с. — 25 000 экз.

Избранное: Стихотворения и поэмы. — М.: Художественная литература, 1990. — 400 с. — 25 000 экз.

Орлиное перо. — М.: Советский писатель, [1990]. — 1 л. (слож. в 8 с.).

Стихотворения и поэмы. — М.: Современник, 1990. — 352 с. — (Библиотека поэзии «Россия»), — 25 000 экз.

Ожидая небесного знака: Стихотворения и поэмы. — М.: Воениздат, 1992. — 364 с. — 5 000 экз.

До свидания! Встретимся в тюрьме. — М.: Современный

писатель, 1995. — 96 с. — 5 000 экз.

Русский зигзаг. — М.: Московское отделение Союза писателей России, 1999. — 125 с. — 1200 экз.

Путь Христа: Поэма. — Советский писатель, 2001. — 60 с. — Без указания тиража.

Юбилейное. — М.: Воениздат, 2001. — 80 с. — Без указания тиража.

До последнего края [Стихотворения и поэмы]. — М.: Молодая гвардия, 2001. — 462 с. — (Библиотека лирической поэзии «Золотой жираф»), — 3 000 экз.

Любовная лирика. — Пермь: Реал, 2002. — (Серия «Поэты России. XXI век»). — 40 с. — 1000 экз.

Крестный ход: Стихотворения и поэмы. — Москва: СовА, 2006. — 640 с. — 3 000 экз.

Поэтические сборники Юрия Кузнецова на языках народов СНГ

Ни рано ни поздно: Стихи и поэма / Пер. Аскара Егеубаева и Ерлана Багаева. — Алматы: Жазушы, 1988. — 128 с. — 2 800 экз. — Казахский яз.

Возвращение: Стихи / Пер. Камола Насрулло. — Душанбе: Адиб, 1989. — 48 с. — 3 000 экз. — Таджикский яз.

Поэтические сборники Юрия Кузнецова на европейских языках

Край света — за первым углом: Стихи / Перевод Георгия Борисова. — София: Народна культура, 1982. — 92 с. — Болгарский яз.

Вирши: Стихи. — Будапешт, Европа. — 76 с. — Венгерский яз.

Поэтический альбом. — Берлин: Новая жизнь, 1990. — 32 с. — Немецкий яз.

Книги в переводах Юрия Кузнецова

Атабаев Атамурад. Восход солнца: Стихи / Авториз. пер. с туркменского Юрия Кузнецова. — М.: Советский писатель, 1981. — 64 с. — 10 000 экз.

Атабаев Атамурад. Глубина до небес: Стихи / Пер. с туркменского Юрия Кузнецова. — М.: Советский писатель, 1988. — 80 с. — 4500 экз.

Пересаженные цветы: Избранные переводы [Юрия Кузнецова]. — М.: Современник, 1990. — 516 с. — 20 000 экз.

Книги и исследования о творчестве Юрия Кузнецова

Анкудинов К. Н., Бараков В. Юрий Кузнецов: Очерк творчества. — М., Вологда: Свеча, 1996.

Рахматуллина Э. А. Метаязык поэзии Юрия Кузнецова в традициях мировой мифологии: Автореф. дис. … канд. филол. наук / Удмуртский госуниверситет. — Ижевск, 2004.

Ступников Д. О. Традиционная и авторская символика в современной поэзии: Юрий Кузнецов и московские рок-поэты: Автореф. дис. … канд. филол. наук. — М., 2004.

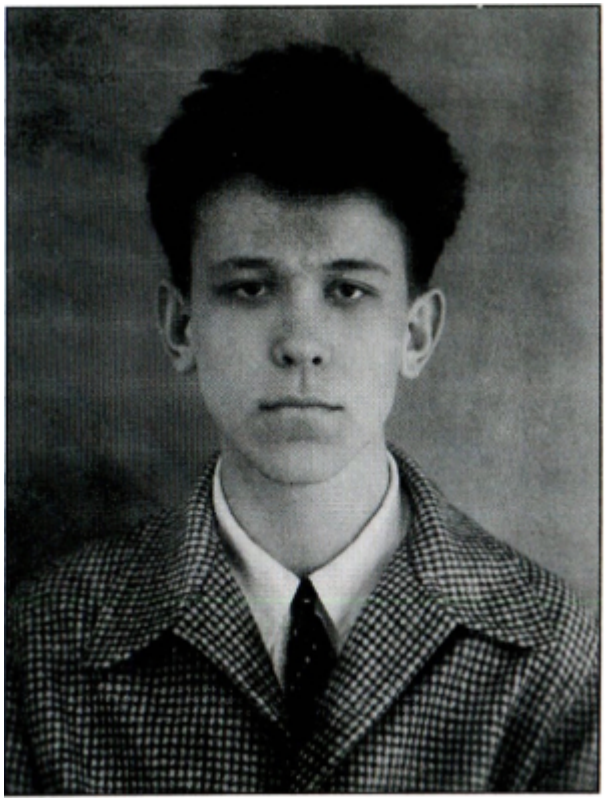
Он стоял перед самым Ответом…. Вера и судьба России. Век XX-й. Юрий Кузнецов — поэт и мыслитель: Сборник материалов конференции / Сост. В. Н. Шапошников, Е. В. Богачков. — М.: Московская городская организация Союза писателей России, 2007.

Книга 1. — 154 с. — 150 экз.

Книга 2. — 140 с. — 150 экз.

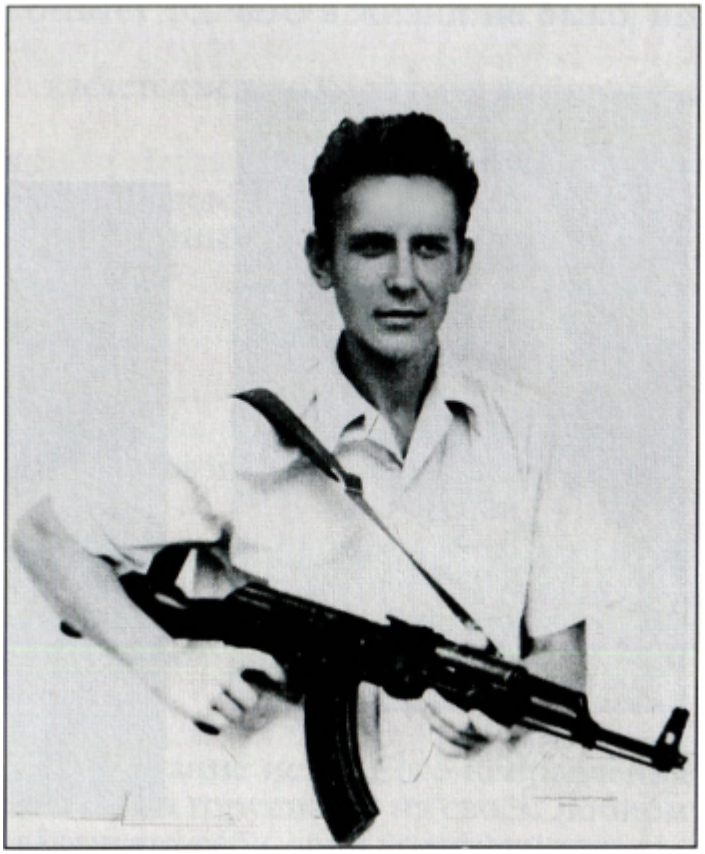
С мамой, сестрой и братом

Лето 1956 года



Перед армией. Март 1960 года

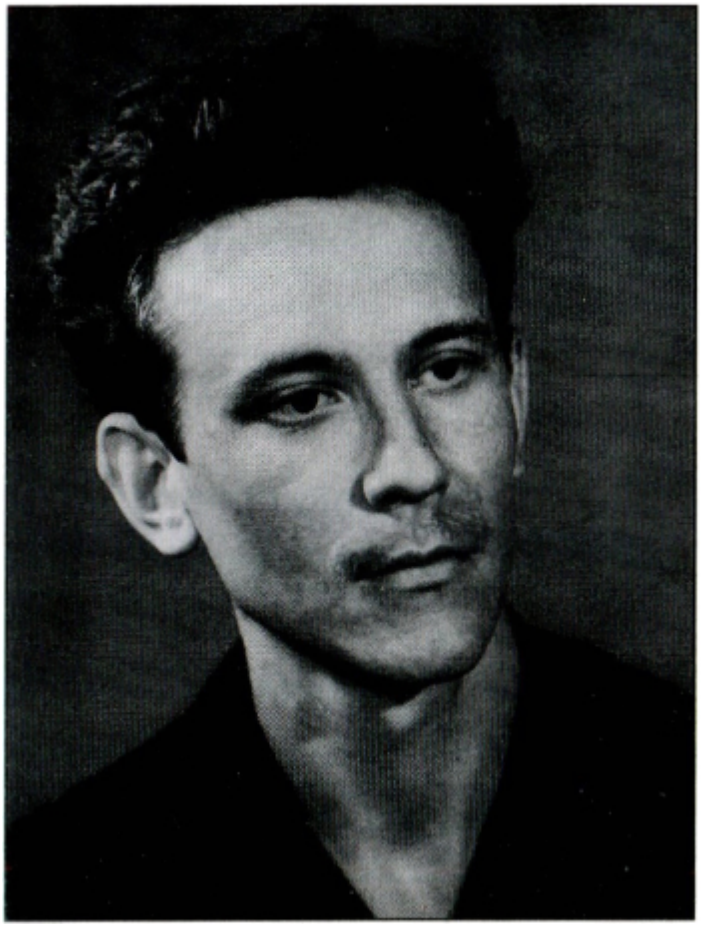
К армейской службе готов



На Кубе во время Карибского кризиса

Забайкалье, 1962 год

Безмятежная юность



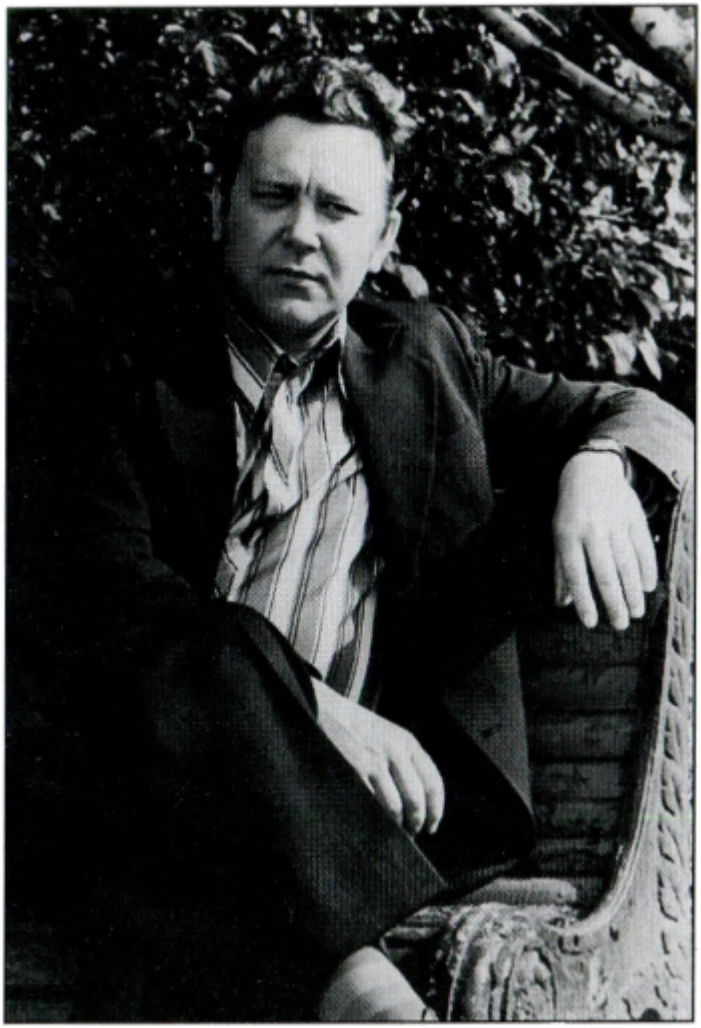
Молодость

С любимой невестой в ЗАГСе. 1969 год

Махачкала, 1971 год

Москва, 1976 год

С Батимой



Таким поэта увидел фотограф Николай Кочнев

На встрече с читателями, 1978 год

1979 год

В ЦДЛ (за спиной улыбается Станислав Куняев)

Геленджик, 1982 год

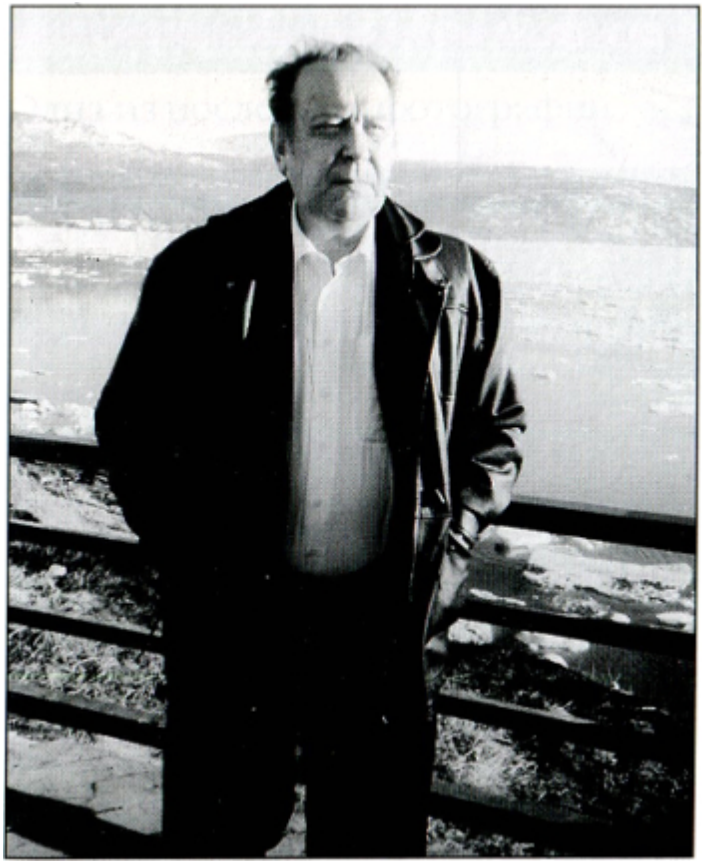
С абхазскими друзьями в Сухуми, 1984 год

В Якутии, 1987 год

1989 год

В своём кабинете в редакции журнала «Наш современник»

В Дагестане с Виктором Кашлевым, 2001 год

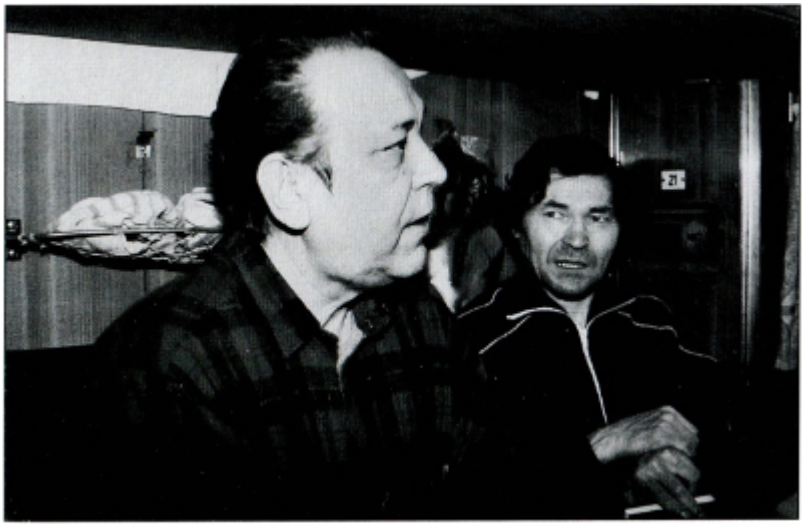


На берегу Нагаевской бухты. Магадан. 2001 год

В редакции «ЛР» с Вячеславом Огрызко

Колымская трасса, 2001 год

Одна из последних фотографий



С хантыйским писателем Еремеем Айпиным

Владимир Крупин, Юрий Кузнецов и Владимир Костров

В Якутии: Валентин Сорокин, Виктор Кочетков, Юрий Кузнецов и Николай Шундик

Юрий Кузнецов, Сергей Наровчатов и Лариса Васильева

Игорь Шафаревич, Юрий Кузнецов и Вадим Кожинов

В горах Азербайджана (справа — поэт Магомед Исмаил)

Дорогой Юрий Поликарпович!
Какое спасибище! Читаю - перечитываю
который уже раз, и вам, и поздно - вос-
хищаюсь и сердцем [illegible] не умиляюсь.
Какая сила, какая боль, какой изумительный
артистизм! Осмеливаюсь порекомендовать на музыку.
Низкий поклон Вам.

Ваш В. Гафт

14.7.86
Ремпо.

СОДЕРЖАНИЕ

Вячеслав ОГРЫЗКО. Мир мой неуютный.....3
Мария АББАКУМОВА. Последнее тепло.....19
Кирилл АНКУДИНОВ. Неправильные воспоминания.....23
Магомед АХМЕДОВ. Моя поэзия – вопрос грешения.....32
Владислав БАХРЕВСКИЙ. Юрий Кузнецов и наша культура.....40
Николай ДМИТРИЕВ. Ничего мы не знаем о смерти.....45
Елена ЕРМИЛОВА. Придите на цветы взглянуть.....52
Мамед ИСМАИЛ. И верный путь во мгле.....59
Юрий КАБАНКОВ. Я в поколенье друга не нашёл.....78
Диана КАН. Полёт над пропастью.....86
Константин КЕДРОВ. Чаша Юрия Кузнецова.....101
Вячеслав КИКТЕНКО. Китоврас.....104
Владимир ЛИЧУТИН. Между небом и землёю.....113
Ал. МИХАЙЛОВ. Перед бездной. Письма критика поэту.....119
Валерий МИХАЙЛОВ. Ты шла за мной по склону бытия.....122
Валерий МИХАЙЛОВ. Крестный путь Юрия Кузнецова.....139
Геннадий МОРОЗОВ. Среди смутной, рассеянной думы.....186
Сергей НЕБОЛЬСИН. Юрий Кузнецов – мыслитель.....191
Священник Владимир НЕЖДАНОВ. Последние встречи.....196
Георгий СВИРИДОВ. Я тоже за связь слова со звуком!
Письма композитора поэту.....199
Багаудин УЗУНАЕВ (КАЗИЕВ). Портрет на фоне Дагестана.....202
Евгений ЧЕКАНОВ. Мы жили во тьме при мерцающих звёздах.....208
Михаил ШАПОВАЛОВ. И поле широко, и небо высоко.....271

Приложение

Юрий КУЗНЕЦОВ. Письмо в Тихорецк.....276
КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ.....280

МИР МОЙ НЕУЮТНЫЙ

Воспоминания о Юрии КУЗНЕЦОВЕ

Составитель — Вячеслав ОГРЫЗКО
Директор издательства — Виктор КАШЛЕВ
Компьютерный набор — Татьяна ЕГОРОВА
Вёрстка — Александр ДОРОФЕЕВ
Дизайн — Александр КАШЛЕВ
Корректура — Раиса ЧИСТЯКОВА

Лицензия на издательскую деятельность
ИД № 04220 выдана 12 марта 2001 года

Подписано в печать 25.09.2007. Формат 60×90 1/16.
Печать офсетная. Бумага офс. № 1. П. л.18,0 + 1,0 вкл.
Тираж 2000 экз. Заказ № 7687.

Концерн «Литературная Россия»
127051, Москва, Цветной бульвар, 32, стр.3.
Тел.: 694-23-24

Отпечатано в ФГУП «Производственно-издательский комбинат ВИНИТИ»,
140010, г. Люберцы, Московская обл., Октябрьский пр-т, 403.
Тел.: 554-21-86.